

*Александр*  
**БЛОК**

*Русь моя,  
жизнь моя...*



# Александр Александрович Блок

## **Русь моя, жизнь моя...**

В этот том вошли многие стихотворения Александра Блока из составленного им «романа в стихах», пронзительные стихотворения о России, поэмы «Возмездие» и «Двенадцать», пьесы, проза разных жанров. Личность Александра Блока, его судьба в неразрывности жизни и литературы – вот объединяющая идея книги. Представлены также фрагменты его дневников и записных книжек, избранные письма, воспоминания современников о Блоке.

Печатаются все произведения поэта, включенные в основные российские школьные программы по литературе.

# Содержание

#1 . . . . .	0005
Автобиография . . . . .	0006
Роман в стихах . . . . .	0024
#1 . . . . .	0024
Из «Книги первой» (1898–1904) . . . . .	0026
Из «Книги второй»(1904–1908) . . . . .	0142
Из «Книги третьей» (1907–1916) . . . . .	0322
Поэмы . . . . .	0591
#1 . . . . .	0591
Возмездие . . . . .	0591
Двенадцать . . . . .	0666
Театр . . . . .	0682
#1 . . . . .	0682
Балаганчик . . . . .	0683
Незнакомка . . . . .	0708
Проза поэта . . . . .	0753
Душа писателя (заметки современника) . . . . .	0753
Искусство и газета . . . . .	0761
Интеллигенция и революция . . . . .	0774
Сограждане . . . . .	0795
Крушение гуманизма . . . . .	0801
О назначении поэта . . . . .	0844
Ни сны, ни явь . . . . .	0860
Пушкинскому дому . . . . .	0868

**Александр Блок  
Русь моя, жизнь моя...**

В коллаже на переплете использованы ре-  
продукции работ художников Константи-  
на Сомова и Константина Коровина

© Оформление. ООО «Издательство «Экс-  
мо», 2015

# Автобиография

Семья моей матери причастна к литературе и к науке.

Дед мой, Андрей Николаевич Бекетов, ботаник, был ректором Петербургского университета в его лучшие годы (я и родился в «ректорском доме»). Петербургские Высшие женские курсы, называемые «Бестужевскими» (по имени К. Н. Бестужева-Рюмина), обязаны существованием своим главным образом моему деду.

Он принадлежал к тем идеалистам чистой воды, которых наше время уже почти не знает. Собственно, нам уже непонятны своеобразные и часто анекдотические рассказы о таких дворянах-шестидесятниках, как Салтыков-Щедрин или мой дед, об их отношении к императору Александру II, о собраниях Литературного фонда, о борелевских обедах, о хорошем французском и русском языке, об учащейся молодежи конца семидесятых годов. Вся эта эпоха русской истории отошла безвозвратно, пафос ее утрачен, и самый ритм показался бы нам чрезвычайно неторопливым.

В своем сельце Шахматове (Клинского уезда, Московской губернии) дед мой выходил к мужикам на крыльцо, потряхивая носовым платком; совершенно по той же причине, по которой И. С. Тургенев, разговаривая со своими крепостными, смущенно отколупывал кусочки краски с подъезда, обещая отдать все, что ни спросят, лишь бы отвязались.

Встречая знакомого мужика, дед мой брал его за плечо и начинал свою речь словами: «Eh bien, mon petit...»[1] Иногда на том разговор и кончался. Любимыми собеседниками были памятные мне отъявленные мошенники и плуты: старый *Jacob Fidèle*[2], который разграбил у нас половину хозяйственной утвари, и разбойник Федор Куранов (по прозвищу *Куран*), у которого было, говорят, на душе убийство; лицо у него было всегда сине-багровое – от водки, а иногда – в крови; он погиб в «кулачном бою». Оба были действительно люди умные и очень симпатичные; я, как и дед мой, любил их, и они оба до самой смерти своей чувствовали ко мне симпатию.

Однажды дед мой, видя, что мужик несет из лесу на плече березку, сказал ему: «Ты

устал, дай я тебе помогу». При этом ему и в голову не пришло то очевидное обстоятельство, что березка срублена в нашем лесу.

Мои собственные воспоминания о дедe – очень хорошие; мы часами бродили с ним по лугам, болотам и дебрям; иногда делали десятки верст, заблудившись в лесу; выкапывали с корнями травы и злаки для ботанической коллекции; при этом он называл растения и, определяя их, учил меня начаткам ботаники, так что я помню и теперь много ботанических названий. Помню, как мы радовались, когда нашли особенный цветок ранней грушевки, вида, неизвестного московской флоре, и мельчайший низкорослый папоротник; этот папоротник я до сих пор каждый год ищу на той самой горе, но так и не нахожу, – очевидно, он засеялся случайно и потом выродился.

Все это относится к глухим временам, которые наступили после событий 1 марта 1881 года. Дед мой продолжал читать курс ботаники в Петербургском университете до самой болезни своей; летом 1897 года его разбил паралич, он прожил еще пять лет без языка, его



возили в кресле. Он скончался 1 июля 1902 года в Шахматове. Хоронить его привезли в Петербург; среди встречавших тело на станции был Дмитрий Иванович Менделеев.

Дмитрий Иванович играл очень большую роль в бекетовской семье. И дед и бабушка моя были с ним дружны. Менделеев и дед мой, вскоре после освобождения крестьян, ездили вместе в Московскую губернию и купили в Клинском уезде два имения – по соседству: менделеевское Боблово лежит в семи верстах от Шахматова, я был там в детстве, а в юности стал бывать там часто. Старшая дочь Дмитрия Ивановича Менделеева от второго брака – Любовь Дмитриевна – стала моей невестой. В 1903 году мы обвенчались с ней в церкви села Тараканова, которое находится между Шахматовым и Бобловым.

Жена деда, моя бабушка, Елизавета Григорьевна, – дочь известного путешественника и исследователя Средней Азии Григория Силыча Корелина. Она всю жизнь работала над компиляциями и переводами научных и художественных произведений; список ее трудов громаден; последние годы она делала до

200 печатных листов в год; она была очень начитанна и владела несколькими языками; ее мировоззрение было удивительно живое и своеобразное, стиль – образный, язык – точный и смелый, обличавший казачью породу. Некоторые из ее многочисленных переводов остаются и до сих пор лучшими.

Переводные стихи ее печатались в «Современнике», под псевдонимом «Е. Б.», и в «Английских поэтах» Гербея, без имени. Ею переведены *многие* сочинения Бокля, Брэма, Дарвина, Гексли, Мура (поэма «ЛаллаРук»), Бичер-Стоу, Гольдсмита, Стэнли, Теккерея, Диккенса, В. Скотта, Брэт-Гарта, Жорж-Занд, Бальзака, В. Гюго, Флобера, Мопассана, Руссо, Лесажа. Этот список авторов – далеко не полный. Оплата труда была всегда ничтожна. Теперь эти *сотни тысяч* томов разошлись в дешевых изданиях, а знакомый с антикварными ценами знает, как дороги уже теперь хотя бы так называемые «144 тома» (изд. Г. Пантелеева), в которых помещены многие переводы Е. Г. Бекетовой и ее дочерей. Характерная страница в истории русского просвещения.

Отвлеченное и «утонченное» удавалось ба-

бушке моей меньше, ее язык был слишком лапидарен, в нем было много бытового. Характер на редкость отчетливый соединялся в ней с мыслью ясной, как летние деревенские утра, в которые она до свету садилась работать. Долгие годы я помню смутно, как помнится все детское, ее голос, пальцы, на которых с необыкновенной быстротой вырастают яркие шерстяные цветы, пестрые лоскутные одеяла, сшитые из никому не нужных и тщательно собираемых лоскутков, – и во всем этом – какое-то невозвратное здоровье и веселье, ушедшее с нею из нашей семьи. Она умела радоваться просто солнцу, просто хорошей погоде, даже в самые последние годы, когда ее мучили болезни и доктора, известные и неизвестные, проделывавшие над ней мучительные и бессмысленные эксперименты. Все это не убивало ее неукротимой жизненности.

Эти жизненность и живучесть проникали и в литературные вкусы; при всей тонкости художественного понимания она говорила, что «тайный советник Гете написал вторую часть «Фауста», чтобы удивить глубокомысленных немцев». Также ненавидела она нрав-

ственные проповеди Толстого. Все это вязалось с пламенной романтикой, переходящей иногда в старинную сентиментальность. Она любила музыку и поэзию, писала мне полушутливые стихи, в которых звучали, однако, временами грустные ноты:

*Так, бодрствуя в часы ночные  
И внука юного любя,  
Старуха-бабка не впервые  
Слагала стансы для тебя.*

Она мастерски читала вслух сцены Слепцова и Островского, пестрые рассказы Чехова. Одной из последних ее работ был перевод двух рассказов Чехова на французский язык (для «Revue des deux Mondes»). Чехов прислал ей милую благодарственную записку.

К сожалению, бабушка моя так и не написала своих воспоминаний. У меня хранится только короткий план ее записок; она знала лично многих наших писателей, встречалась с Гоголем, братьями Достоевскими, Ап. Григорьевым, Толстым, Полонским, Майковым. Я берегу тот экземпляр английского романа, который собственноручно дал ей для перевода Ф. М. Достоевский. Перевод этот печатался во

«Времени».

Бабушка моя скончалась ровно через три месяца после деда – 1 октября 1902 года.

От дедов унаследовали любовь к литературе и незапятнанное понятие о ее высоком значении их дочери – моя мать и ее две сестры. Все три переводили с иностранных языков. Известностью пользовалась старшая – Екатерина Андреевна (по мужу – Краснова). Ей принадлежат изданные уже после ее смерти (4 мая 1892 года) две самостоятельных книги «Рассказов» и «Стихотворений» (последняя книга удостоена почетного отзыва Академии наук). Оригинальная повесть ее «Не судьба» печаталась в «Вестнике Европы». Переводила она с французского (Монтескье, Бернарден де Сен-Пьер), испанского (Эспронседа, Бэкёр, Перес Гальдос, статья о Пардо Басан), переделывала английские повести для детей (Стивенсон, Хаггарт; издано у Суворина в «Дешевой библиотеке»).

Моя мать, Александра Андреевна (по второму мужу – Кублицкая-Пиоттух), переводила и переводит с французского – стихами и прозой (Бальзак, В. Гюго, Флобер, Зола, Мюссе,

Эркман-Шатриан, Додэ, Боделэр, Верлэн, Ришпэн). В молодости писала стихи, но печатала – только детские.

Мария Андреевна Бекетова переводила и переводит с польского (Сенкевич и мн. др.), немецкого (Гофман), французского (Бальзак, Мюссе). Ей принадлежат популярные переводки (Жюль Верн, Сильвио Пеллико), биографии (Андерсен), монографии для народа (Голландия, История Англии и др.). «Кармозина» Мюссе была не так давно представлена в театре для рабочих в ее переводе.

В семье отца литература играла небольшую роль. Дед мой – лютеранин, потомок врача царя Алексея Михайловича, выходца из Мекленбурга (прародитель – лейб-хирург Иван Блок был при Павле I возведен в российское дворянство). Женат был мой дед на дочери новгородского губернатора – Ариадне Александровне Черкасовой.

Отец мой, Александр Львович Блок, был профессором Варшавского университета по кафедре государственного права; он скончался 1 декабря 1909 года. Специальная ученость далеко не исчерпывает его деятельности, рав-

но как и его стремлений, может быть, менее научных, чем художественных. Судьба его исполнена сложных противоречий, довольно необычна и мрачна. За всю жизнь свою он напечатал лишь две небольшие книги (не считая литографированных лекций) и последние двадцать лет трудился над сочинением, посвященным классификации наук. Выдающийся музыкант, знаток изящной литературы и тонкий стилист, – отец мой считал себя учеником Флобера. Последнее и было главной причиной того, что он написал так мало и не завершил главного труда жизни: свои непрестанно развивавшиеся идеи он не сумел вместить в те сжатые формы, которых искал; в этом искании сжатых форм было что-то судорожное и страшное, как во всем душевном и физическом облике его. Я встречался с ним мало, но помню его кривно.

Детство мое прошло в семье матери. Здесь именно любили и понимали *слово*; в семье господствовали, в общем, старинные понятия о литературных ценностях и идеалах. Говоря вульгарно, по-верлэновски, преобладание имела здесь *éloquence*[3]; одной только матери

моей свойственны были постоянный мятеж и беспокойство о новом, и мои стремления к *musique*[4] находили поддержку у нее. Впрочем, никто в семье меня никогда не преследовал, все только любили и баловали. Милой же старинной *éloquence* обязан я до гроба тем, что литература началась для меня не с Верлена и не с декадентства вообще.

Первым вдохновителем моим был Жуковский. С раннего детства я помню постоянно набегавшие на меня лирические волны, еле связанные еще с чьим-либо именем. Запомнилось разве имя Полонского и первое впечатление от его строф:

*Снится мне: я свеж и молод,  
Я влюблен. Мечты кипят.  
От зари роскошный холод  
Проникает в сад.*

«Жизненных опытов» не было долго. Смутно помню я большие петербургские квартиры с массой людей, с няней, игрушками и елками – и благоуханную глушь нашей маленькой усадьбы. Лишь около 15 лет родились первые определенные мечтания о любви, и рядом – приступы отчаянья и иронии, кото-



рые нашли себе исход через много лет, – в первом моем драматическом опыте («Балаганчик», лирические сцены).

«Сочинять» я стал чуть ли не с пяти лет. Гораздо позже мы с двоюродными и троюродными братьями основали журнал «Вестник», в одном экземпляре; там я был редактором и деятельным сотрудником три года.

Серьезное писание началось, когда мне было около 18 лет. Года три-четыре я показывал свои писания только матери и тетке. Все это были – лирические стихи, и ко времени выхода первой моей книги «Стихов о Прекрасной Даме» их накопилось до 800, не считая отроческих. В книгу из них вошло лишь около 100. После я печатал и до сих пор печатаю кое-что из старого в журналах и газетах.

Семейные традиции и моя замкнутая жизнь способствовали тому, что ни строки так называемой «новой поэзии» я не знал до первых курсов университета. Здесь, в связи с острыми мистическими и романическими переживаниями, всем существом моим овладела поэзия Владимира Соловьева. До сих пор мистика, которой был насыщен воздух по-

следних лет старого и первых лет нового века, была мне непонятна; меня тревожили знаки, которые я видел в природе, но все это я считал «субъективным» и бережно оберегал от всех. Внешним образом готовился я тогда в актеры, с упоением декламировал Майкова, Фета, Полонского, Апухтина, играл на любительских спектаклях, в доме моей будущей невесты, Гамлета, Чацкого, Скупого рыцаря и... водевили. Трезвые и здоровые люди, которые меня тогда окружали, кажется, уберегли меня тогда от заразы мистического шарлатанства, которое через несколько лет после того стало модным в некоторых литературных кругах. К счастью и к несчастью вместе, «мода» такая пришла, как всегда бывает, именно тогда, когда все внутренне определилось; когда стихии, бушевавшие под землей, хлынули наружу, нашлась толпа любителей легкой мистической наживы. Впоследствии и я отдал дань этому новому кощунственному «веянью»; но все это уже выходит за пределы «автобиографии». Интересующихся могу отослать к стихам моим и к статье «О современном состоянии русского символизма» (жур-

нал «Аполлон» 1910 года). Теперь же возвращусь назад.

От полного незнания и неумения сообщаться с миром со мною случился анекдот, о котором я вспоминаю с удовольствием и благодарностью: как-то в дождливый осенний день (если не ошибаюсь, 1900 года) отправился я со стихами к старинному знакомому нашей семьи, Виктору Петровичу Острогорскому, теперь покойному. Он редактировал тогда «Мир божий». Не говоря, кто меня к нему направил, я с волнением дал ему два маленьких стихотворения, внушенные Сирином, Алконостом и Гамаюном В. Васнецова. Пробежав стихи, он сказал: «Как вам не стыдно, молодой человек, заниматься *этим*, когда в университете бог знает что творится!» – и выпроводил меня со свирепым добродушием. Тогда это было обидно, а теперь вспоминать об этом приятнее, чем обо многих позднейших похвалах.

После этого случая я долго никуда не сошелся, пока в 1902 году меня не направили к Б. Никольскому, редактировавшему тогда вместе с Репиным студенческий сборник.

Уже через год после этого я стал печататься «серьезно». Первыми, кто обратил внимание на мои стихи со стороны, были Михаил Сергеевич и Ольга Михайловна Соловьевы (двоюродная сестра моей матери). Первые мои вещи появились в 1903 году в журнале «Новый путь» и, почти одновременно, в альманахе «Северные цветы».

Семнадцать лет моей жизни я прожил в казармах л. – гв. Гренадерского полка (когда мне было девять лет, мать моя вышла во второй раз замуж за Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттух, который служил в полку). Окончив курс в СПб. Введенской (ныне – императора Петра Великого) гимназии, я поступил на юридический факультет Петербургского университета довольно бессознательно, и только перейдя на третий курс, понял, что совершенно чужд юридической науке. В 1901 году, исключительно важном для меня и решившем мою судьбу, я перешел на филологический факультет, курс которого и прошел, сдав государственный экзамен весной 1906 года (по славяно-русскому отделению).

Университет не сыграл в моей жизни осо-

бенно важной роли, но высшее образование дало, во всяком случае, некоторую умственную дисциплину и известные навыки, которые очень помогают мне и в историко-литературных, и в собственных моих критических опытах, и даже в художественной работе (материалы для драмы «Роза и Крест»). С годами я оцениваю все более то, что дал мне университет в лице моих уважаемых профессоров – А. И. Соболевского, И. А. Шляпкина, С. Ф. Платонова, А. И. Введенского и Ф. Ф. Зелинского. Если мне удастся собрать книгу моих работ и статей, которые разбросаны в немалом количестве по разным изданиям, но нуждаются в сильной переработке, – долею научности, которая заключена в них, буду я обязан университету.

В сущности, только после окончания «университетского» курса началась моя «самостоятельная» жизнь. Продолжая писать лирические стихотворения, которые все, с 1897 года, можно рассматривать как дневник, я именно в год окончания курса в университете написал свои первые пьесы в драматической форме; главными темами моих статей (кроме чи-

сто литературных) были и остались темы об «интеллигенции и народе», о театре и о русском символизме (*не* в смысле литературной школы только).

Каждый год моей сознательной жизни резко окрашен для меня своей особенной краской. Из событий, явлений и веяний, особенно сильно повлиявших на меня так или иначе, я должен упомянуть: встречу с Вл. Соловьевым, которого я видел только издали; знакомство с М. С. и О. М. Соловьевыми, З. Н. и Д. С. Мережковскими и с А. Белым; события 1904–1905 года; знакомство с театральной средой, которое началось в театре покойной В. Ф. Коммиссаржевской[5]; крайнее падение литературных нравов и начало «фабричной» литературы, связанное с событиями 1905 года; знакомство с творениями покойного Августа Стриндберга (первоначально – через поэта Вл. Пяста); три заграничных путешествия: я был в Италии – северной (Венеция, Равенна, Милан) и средней (Флоренция, Пиза, Перуджия и много других городов и местечек Умбрии), во Франции (на севере Бретани, в Пиренеях – в окрестностях Биаррица; несколько раз жил в Париже),

в Бельгии и Голландии; кроме того, мне приходилось почему-то каждые шесть лет моей жизни возвращаться в Bad Nauheim (Hessen-Nassau), с которым у меня связаны особенные воспоминания.

Этой весной (1915 года) мне пришлось бы возвращаться туда в четвертый раз; но в личную и низшую мистику моих поездок в Bad Nauheim вмещалась общая и высшая мистика войны.

*Июнь 1915[6]*

# Роман в стихах

**А**. Блок. 1903 г.

Александр Блок разделил свою лирику на три книги, понимаемые им как единство трилогии. Этот принцип сохранен и в настоящем издании. В него входят избранные стихотворения из «романа в стихах», представляющие разные стороны сложного образа лирического героя Блока.

В конце каждого раздела даны фрагменты из его дневников, записных книжек, письма, а также воспоминания современников о Блоке.

Стихотворения печатаются по изданию: Блок А. А. Полное собрание сочинений и писем. Т. 1–5. М., 1997–1999.

## **ПРЕДИСЛОВИЕ К СОБРАНИЮ СТИХОТВОРЕНИЙ**

Тем, кто сочувствует моей поэзии, не покажется лишним включение в эту и следующие книги полудетских или слабых по форме стихотворений; многие из них, взятые отдельно,





не имеют цены; но каждое *стихотворение* необходимо для образования главы, из нескольких глав составляется книга; каждая книга есть часть *трилогии*; всю трилогию я могу назвать «романом в стихах»: она посвящена одному кругу чувств и мыслей, которому я был предан в течение первых двенадцати лет сознательной жизни.

*Александр Блок. С.-Петербург. 9 января 1911 г.*

## **Из «Книги первой» (1898–1904)**

### **Из цикла «Ante lucem» [7] (1898–1900) «Пусть светит месяц – ночь темна...»**

*Пусть светит месяц – ночь темна.*

*Пусть жизнь приносит людям счастье —*

*В моей душе любви весна*

*Не сменит бурного ненастья.*

*Ночь распростерлась надо мной*

*И отвечает мертвым взглядом*

*На тусклый взор души больной,*

*Облитой острым, сладким ядом.*

*И тщетно, страсти затая,*

*В холодной мгле передрасветной*

Среди толпы блуждаю я  
С одной лишь думою заветной:  
Пусть светит месяц – ночь тем-  
на.

Пусть жизнь приносит людям  
счастье,  
В моей душе любви весна  
Не сменит бурного ненастья.

Январь 1898. С.-Петербург

### **Моей матери**

Друг, посмотри, как в равнине  
небесной  
Дымные тучки плывут под луной,  
Видишь, прорезал эфир бестелес-  
ный  
Свет ее бледный, бездушный, пу-  
стой?

Полно смотреть в это звездное  
море,  
Полно стремиться к холодной лу-  
не!  
Мало ли счастья в житейском  
просторе?  
Мало ли жару в сердечном огне?

Месяц холодный тебе не отве-

тит,  
Звезд отдаленных достигнуть  
нет сил...  
Холод могильный везде тебя  
встретит  
В дальней стране безотрадных  
светил...

Июль 1898

**Гамаюн, птица вещая (картина в.  
Васнецова)**

на гладях бесконечных вод,  
Закатом в пурпур облеченных,  
Она вещает и поет,  
Не в силах крыл поднять смятен-  
ных...  
Вещает иго злых татар.  
Вещает казней ряд кровавых.  
И трус, и голод, и пожар,  
Злодеев силу, гибель правых...  
Предвечным ужасом объят,  
Прекрасный лик горит любовью,  
Но вещей правдою звучат  
Уста, запекшиеся кровью!..

23 февраля 1899

**«Помнишь ли город тревожный...»**

*Помнишь ли город тревожный,  
Синюю дымку вдали?  
Этой дорогою ложной  
Молча с тобою мы шли...  
Шли мы – луна поднималась  
Выше из темных оград,  
Ложной дорога казалась —  
Я не вернулся назад.*

*Наша любовь обманулась,  
Или стезя увлекла —  
Только во мне шевельнулась  
Синяя города мгла...  
Помнишь ли город тревожный,  
Синюю дымку вдали?  
Этой дорогою ложной  
Мы безрассудно пошли...*

*23 августа 1899*

**«Шли мы стезею лазурною...»**

*Шли мы стезею лазурною,  
Только расстались давно...  
В ночь непроглядную, бурную  
Вдруг распахнулось окно...  
Ты ли, виденье неясное?  
Сердце остыло едва...*

Чую дыхание страстное,  
Прежние слышу слова...  
Ветер уносит стенания,  
Слезы мешают с дождем...  
Хочешь обнять на прощание?  
Прошлое вспомнить вдвоем?  
Мимо, виденье лазурное!  
Сердце сжимает тоской  
В ночь непроглядную, бурную  
Ветер, да образ былой!

28 февраля 1900

**«Поэт в изгнаньи и в сомненьи...»**

Поэт в изгнаньи и в сомненьи  
На перепутьи двух дорог.  
Ночные гаснут впечатленья,  
Восход и бледен и далек.

Все нет в прошедшем указанья,  
Чего желать, куда идти?  
И он в сомненьи и в изгнаньи  
Остановился на пути.

Но уж в очах горят надежды,  
Едва доступные уму,  
Что день проснется, вскроет  
вежды,  
И даль привидится ему.

31 марта 1900

**«В часы вечернего тумана...»**

*В часы вечернего тумана  
Слетает в вихре и огне  
Крылатый ангел от страниц Ко-  
рана  
На душу мертвенную мне.*

*Ум полон томного бессилья,  
Душа летит, летит...  
Вокруг шумят бесчисленные кры-  
лья,  
И песня тайная звенит.*

3 июня 1900

**«Аграфы догмата»[8]**

*Я видел мрак дневной и свет ноч-  
ной.  
Я видел ужас вечного сомненья.  
И Господа с растерзанной душой  
В дыму безверья и смятенья.*

*То был рассвет великого рожде-  
нья,  
Когда миров нечисленный хаос  
Исчезнул в бесконечности муче-  
нья. —*

*И все таинственно роптало и несло.*

*Тяжелый огонь окутал мирозда-  
нье,  
И гром остановил стремящие со-  
зданья.  
Немая грань внедрилась до конца.  
Из мрака вышел разум мудреца,  
И в горней высоте – без страха и  
усилья —  
Мерцающих идей ему взыграли  
крылья.*

*22 августа 1900*

**«Твой образ чудится невольно...»**

*Твой образ чудится невольно  
Среди знакомых пошлых лиц.  
Порой легко, порою больно  
Перед Тобой не падать ниц.*

*В моем забвеньи без печали  
Я не могу забыть порой,  
Как неутешно тосковали  
Мои созвездья над Тобой.*

*Ты не жила в моем волненьи,  
Но в том родном для нас краю —*



*И в одиноком поклоненьи  
Познал я истинность Твою.*

*22 сентября 1900*

**«Отрекись от любимых творений...»**

*Отрекись от любимых творений,  
От людей и общений в миру,  
Отрекись от мирских возделений,  
Думай день и молись ввечеру.*

*Если дух твой горит беспокойно,  
Отгоняй вдохновения прочь.  
Лишь единая мудрость достойна  
Перейти в неизбежную ночь.*

*На земле не узнаешь награды.  
Духом ясный пред Божьим лицом,  
Догорай, покидая лампаду,  
Одиноким и верным огнем.*

*1 ноября 1900*

**Из цикла «Стихи о прекрасной даме»  
(1901–1902)**

**«Ветер принес издалека...»**

*Ветер принес издалека  
Песни весенней намек,*

*Где-то светло и глубоко  
Неба открылся клочок.*

*В этой бездонной лазури  
В сумерках близкой весны  
Плакали зимние бури,  
Реяли звездные сны.*

*Робко, темно и глубоко  
Плакали струны мои.  
Ветер принес издалека  
Звучные песни твои.*

*29 января 1901*

**«Душа молчит. В холодном небе...»**

*Душа молчит. В холодном небе  
Все те же звезды ей горят.  
Кругом о злате иль о хлебе  
Народы шумные кричат...  
Она молчит – и внемлет крикам*

---

*И зрит далекие миры,  
Но в одиночестве двуликом  
Готовит чудные дары,*

*Дары своим богам готовит  
И, умащенная, в тиши,  
Неустающим слухом ловит*

Далекий зов другой души...  
Так – белых птиц над океаном  
Неразлученные сердца  
Звучат призывом за туманом,  
Понятным им лишь до конца.

3 февраля 1901

**«Я понял смысл твоих стремлений...»**

*Я понял смысл твоих стремлений*

---

*Тебе я заслоняю путь.  
Огонь нездешних вожделений  
Вздыхает девственную грудь.  
Моей ли жалкой, слабой речи  
Бороться с пламенем твоим  
На рубеже безвестной встречи  
С началом близким и чужим!*

*Я понял все и отхожу я.  
Благословен грядущий день.  
Ты, в алом сумраке ликуя,  
Ночную миновала тень.  
Но риза девственная зрима,  
Мой день с тобою проведен...  
Пускай душа неисцелима —  
Благословен прошедший сон.*

26 февраля 1901

## **Моей матери**

*Чем больней душе мятежной,  
Тем ясней миры.  
Бог лазурный, чистый, нежный  
Шлет свои дары.*

*Шлет невзгоды и печали,  
Нежностью объят.  
Но чрез них в иные дали  
Проникает взгляд.*

*И больней душе мятежной,  
Но ясней миры.  
Это Бог лазурный, нежный,  
Шлет свои дары.*

*8 марта 1901*

### **«Все бытие и сущее согласно...»**

*Все бытие и сущее согласно  
В великой, непрестанной тишине.  
Смотри туда участно, безучастно, —  
Мне все равно – вселенная во мне.  
Я чувствую, и верую, и знаю,  
Сочувствием провидца не прельстишь.  
Я сам в себе с избытком заклю-*

чаю  
Все те огни, какими ты горюшь.  
Но больше нет ни слабости, ни  
силы,  
Прошедшее, грядущее – во мне.  
Все бытие и сущее застыло  
В великой, неизменной тишине.

Я здесь в конце, исполненный про-  
зренья,  
Я перешел граничную черту.  
Я только жду условного виденья,  
Чтоб отлететь в иную пустоту.

17 мая 1901

**«Кто-то шепчет и смеется...»**

Кто-то шепчет и смеется  
Сквозь лазоревый туман.  
Только мне в тиши взгрустнется

—  
Снова смех из милых стран!

Снова шепот – и в шептаньи  
Чья-то ласка, как во сне,  
В чьем-то женственном дыханьи,  
Видно, вечно радость мне!

Пошепчи, посмейся, милый,

*Милый образ, нежный сон;  
Ты нездешней, видно, силой  
Наделен и окрылен.*

*20 мая 1901*

**«Небесное умом не измеримо...»**

*Небесное умом не измеримо,  
Лазурное сокрыто от умов.  
Лишь изредка приносят серафимы  
Священный сон избранникам миров.*

*И мнилась мне Российская Венера,  
Тяжелою туникой повита,  
Бесстрастна в чистоте, нерадостна без меры,  
В чертах лица – спокойная мечта.*

*Она сошла на землю не впервые,  
Но вокруг нее толпятся в первый раз  
Богатыри не те, и витязи иные...  
И странен блеск ее глубоких глаз...*

*29 мая 1901. С. Шахматово*

**«Предчувствую Тебя. Года проходят**

## **МИМО...»**

*И тяжкий сон житейского сознания  
Ты отряхнешь, тоскуя и любя.*

*Вл. Соловьев*

*Предчувствую Тебя. Года прохо-  
дят мимо —  
Все в облике одном предчувствую  
Тебя.*

*Весь горизонт в огне – и ясен  
нестерпимо,  
И молча жду – тоскуя и любя.*

*Весь горизонт в огне, и близко по-  
явление,  
Но страшно мне: изменишь облик  
Ты,*

*И дерзкое возбудишь подозренье,  
Сменив в конце привычные черты.*

*О, как паду – и горестно и низко,  
Не одолев смертельные мечты!*

*Как ясен горизонт! И лучезар-  
ность близко.  
Но страшно мне: изменишь облик*

Ты.

4 июня 1901. С. Шахматово

**«За туманом, за лесами...»**

За туманом, за лесами  
Загорится – пропадет,  
Еду влажными полями —  
Снова издали мелькнет.

Так блудящими огнями  
Поздней ночью, за рекой,  
Над печальными лугами  
Мы встречаемся с Тобой.

Но и ночью нет ответа,  
Ты уйдешь в речной камыш,  
Унося источник света,  
Снова издали манишь.

14 июня 1901

**«Какому Богу служишь ты?...»**

Какому Богу служишь ты?  
Родны ль тебе в твоём паренье  
Передрассветное волнение,  
Передзакатные мечты?  
Иль ты, сливаясь со звездой,  
Сама богиня – и с богами



*Гордишься равной красотой, —  
И равнодушными очами  
Глядишь с нездешней высоты  
На пламенеющие тени  
Земных молитв и поклонений  
Тебе – царица чистоты?*

*20 июня 1901*

**«Внемля зову жизни смутной...»**

*Внемля зову жизни смутной,  
Тайно плещущей во мне,  
Мысли ложной и минутной  
Не отдамся и во сне.  
Жду волны – волны попутной  
К лучезарной глубине.*

*Чуть слезу, склонив колени,  
Взором кроток, сердцем тих,  
Уплывающие тени  
Суетливых дел мирских  
Средь видений, сновидений,  
Голосов миров иных.*

*3 июля 1901*

**«Входите все. Во внутренних покоях...»**

*С. Соловьеву*

*Входите все. Во внутренних поко-  
ях  
Завета нет, хоть тайна здесь ле-  
жит.  
Старинных книг на древних ана-  
лоях  
Смущает вас оцепеневший вид.*

*Здесь в них жива святая тайна  
Бога,  
И этим древностям истленья  
нет.  
Вы, гордые, что создали так мно-  
го,  
Внушитель ваш и зодчий – здеш-  
ний свет.*

*Напрасно вы исторгнули безбож-  
но  
Крикливые хуленья на Творца.  
Вы все, рабы свободы невозмож-  
ной,  
Смутитесь здесь пред тайной без  
конца.*

*14 июля 1901*

**«Ты прошла голубыми путями...»**

*Ты прошла голубыми путями,*

За тобою клубится туман.  
Вечереющий сумрак над нами  
Обратился в желанный обман.  
Над твоей голубою дорогой  
Протянулась зловещая мгла.  
Но с глубокою верою в Бога  
Мне и темная церковь светла.

16 июля 1901

**«Сумерки, сумерки вешние...»**

Дождешься ль вечерней порой  
Опять и желанья, и лодки,  
Весла и огня за рекой?

Фет

Сумерки, сумерки вешние,  
Хладные волны у ног,  
В сердце – надежды нездешние,  
Волны бегут на песок.

Отзвуки, песня далекая,  
Но различить – не могу.  
Плачет душа одинокая  
Там, на другом берегу,

Тайна ль моя совершается,  
Ты ли зовешь вдалеке?  
Лодка ныряет, качается,

*Что-то бежит по реке.*

*В сердце – надежды нездешние,  
Кто-то навстречу – бегу...  
Отблески, сумерки вешние,  
Клики на том берегу.*

*16 августа 1907*

**«Встану я в утро туманное...»**

*Встану я в утро туманное,  
Солнце ударит в лицо.  
Ты ли, подруга желанная,  
Всходишь ко мне на крыльцо?*

*Настежь ворота тяжелые!  
Ветром пахнуло в окно!  
Песни такие веселые  
Не раздавались давно!*

*С ними и в утро туманное  
Солнце и ветер в лицо!  
С ними подруга желанная  
Всходит ко мне на крыльцо!*

*3 октября 1901*

**«Ранний час. В пути незрима...»**

*Ранний час. В пути незрима*

Разгорается мечта.  
Плещут крылья серафима,  
Высь прозрачна, даль чиста.

Из лазурного чертога  
Время тайне снизойти.  
Белый, белый Ангел Бога  
Сеет розы на пути.

Жду в пленительном волнении —  
Тайна плачущей жены  
Разомкнет золотые звенья,  
Вскроет крылий белизны.

4 октября 1901

**«Ты уходишь от земной юдоли...»**

Ты уходишь от земной юдоли,  
Сердца лучшего любовь тебе  
несут.  
Страшных снов не жди от новой  
воли, —  
Хоры ангелов, не смертных, при-  
падут.

Припадут и снимут власяницы —  
Символ здешних непомерных бед.  
Я, в тоске, покину на границе  
Твой нездешний, твой небесный

след.

*Покидай бессилье мирозданья,  
Твой покой теперь ненарушим.  
Предо мною – грань богопознания,  
Неизбежный сумрак, черный дым.*

6 октября 1901

**«Снова ближе вечерние тени...»**

*Снова ближе вечерние тени,  
Ясный день догорает вдали.  
Снова сонмы нездешних видений  
Всколыхнулись – плывут – подо-  
шли.*

*Что же ты на великую встречу  
Не вскрываешь свои глубины?  
Или чуешь иного предтечу  
Несомненной и близкой весны?*

*Чуть во мраке светильник зави-  
жу,  
Поднимусь и, не глядя, лечу.  
Ты ж и в сумраке, милая, ближе  
К неподвижному жизни ключу.*

14 октября 1901

**«Хранила я среди младых созвучий...»**

Хранила я среди младых созвучий  
Задумчивый и нежный образ дня.  
Вот дунул вихрь, поднялся прах  
летучий,  
И солнца нет, и сумрак вокруг ме-  
ня.

Но в келье – май, и я живу, незри-  
ма,  
Одна, в цветах, и жду другой вес-  
ны.  
Идите прочь – я чую серафима,  
Мне чужды здесь земные ваши  
сны.

Идите прочь, скитальцы, дети,  
боги!  
Я расцвету еще в последний день.  
Мои мечты – священные чертоги,  
Моя любовь – немеющая тень.

17 октября 1901

### **«Сгущался мрак церковного порога...»**

Сгущался мрак церковного порога  
В дни свадеб, в дни рождений, по-  
хорон;  
А там – вилась широкая дорога.  
И путник шел, закатом озарен.

Там не было конца свободной да-  
ли,  
Но здесь, в тени, не виделось ни  
зги;  
И каждый раз прохожего встреча-  
ли  
Из сумрака ответные шаги.

Церковный свод давал размерным  
звоном  
Всем путникам напутственный  
ответ;  
И в глубине, над сумрачным амво-  
ном,  
Остерегающий струился свет.

И, проходя в смеющиеся дали,  
Здесь путник ждал, задумчив и  
смущен,  
Чтоб меркнул свет, чтоб звуки  
замирали...  
И дале шел, закатом озарен.

4 января 1902

### **«Ты – Божий день. Мои мечты...»**

Ты – Божий день. Мои мечты —  
Орлы, кричащие в лазури.  
Под гневом светлой красоты



Они всечасно в вихре бури.

Стрела пронзает их сердца,  
Они летят в паденьи диком...  
Но и в паденьи – нет конца  
Хвалам, и клетоту, и крикам!

21 февраля 1902

**«Там – в улице стоял какой-то дом...»**

Там – в улице стоял какой-то  
дом,  
И лестница крутая в тьму води-  
ла.  
Там открывалась дверь, звеня  
стеклом,  
Свет выбегал, – и снова тьма бро-  
дила.

Там в сумерках белел дверной на-  
вес  
Под вывеской «Цветы», прикреп-  
лен болтом.  
Там гул шагов терялся и исчез  
На лестнице – при свете лампы  
желтом.

Там наверху окно смотрело вниз,  
Завешанное неподвижной што-

рой,  
И, словно лоб наморщенный, кар-  
низ  
Гримасу придавал стене – и взо-  
ры...

Там в сумерках дрожал в окошках  
свет,  
И было пенье, музыка и танцы.  
А с улицы – ни слов, ни звуков нет,  
—  
И только стекла выступали  
глянцы.

По лестнице над сумрачным дво-  
ром  
Мелькала тень, и лампа чуть све-  
тила.  
Вдруг открывалась дверь, звеня  
стеклом,  
Свет выбежал, и снова тьма бро-  
дила.

7 мая 1902

**«Мы встречались с тобой на закате...»**

Мы встречались с тобой на зака-  
те.  
Ты веслом рассекала залив.

*Я любил твоё белое платье,  
Утонченность мечты разлюбив.*

*Были странны безмолвные встре-  
чи.*

*Впереди – на песчаной косе  
Загорались вечерние свечи.  
Кто-то думал о бледной красе.*

*Приближений, сближений, сгора-  
ний —*

*Не приемлет лазурная тишь...  
Мы встречались в вечернем ту-  
мане,  
Где у берега рябь и камыш.*

*Ни тоски, ни любви, ни обиды,  
Все померкло, прошло, отошло...  
Белый стан, голоса панихиды  
И твоё золотое весло.*

*13 мая 1902*

### **«Без Меня б твои сны улетали...»**

*Без Меня б твои сны улетали  
В безжеланно-туманную высь,  
Ты вспомни вечерние дали,  
В тихий терем, дитя, постучись.*

*Я живу над зубчатой землею,  
Вечерею в Моем терему.  
Приходи, Я тебя успокою,  
Милый, милый, тебя обниму.*

*Отошла Я в снега без возврата,  
Но, холодные вихри крутя,  
На черте огневого заката  
Начертала Я Имя, дитя...*

*Август 1902*

### **Экклесиаст**

*Благословляя свет и тень  
И веселясь игрою лирной,  
Смотри туда – в хаос безмирный,  
Куда склоняется твой день.*

*Цела серебряная цепь,  
Твои наполнены кувшины,*

*Миндаль цветет на дне долины,  
И влажным зноем дышит степь.*

*Идешь ты к дому на горах,  
Полдневным солнцем залитая;  
Идешь – повязка золотая  
В смолистых тонет волосах.*

*Зачахли каперса цветы,  
И вот кузнечик тяжелеет,  
И на дороге ужас веет,  
И помрачились высоты.*

*Молоть устали жернова.  
Бегут испуганные стражи,  
И всех объемлет призрак вражий,  
И долу гнутся деревья.*

*Все диким страхом смятено.  
Столпились в кучу люди, звери.  
И тщетно замыкают двери  
Досель смотревшие в окно.*

*24 сентября 1902*

**«Она стройна и высока...»**

*Она стройна и высока,  
Всегда надменна и сурова,  
Я каждый день издалика  
Следил за ней, на все готовый.*

*Я знал часы, когда сойдет  
Она – и с нею отблеск шаткий.  
И, как злодей, за поворот  
Бежал за ней, играя в прятки.*

*Мелькали желтые огни*

*И электрические свечи.  
И он встречал ее в тени,  
А я следил и пел их встречи.*

*Когда, внезапно смущены,  
Они предчувствовали что-то,*

*Меня скрывали в глубины  
Слепые темные ворота.*

*И я, невидимый для всех,  
Следил мужчины профиль грубый,  
Ее серебристо-черный мех  
И что-то шепчущие губы.*

*27 сентября 1902*

**«При жолтом свете веселились...»**

*При жолтом свете веселились,  
Всю ночь у стен сжимался круг,  
Ряды танцующих двоились,  
И мнился неотступный друг.*

*Желанье поднимало груди,  
На лицах отражался зной.  
Я проходил с мечтой о чуде,  
Томимый похотью чужой...*

*Казалось, там, за дымкой пыли,*

*В толпе скрываясь, кто-то жил,  
И очи странные следили,  
И голос пел и говорил...*

*Сентябрь 1902*

### **«Явился он на стройном бале...»**

*Явился он на стройном бале  
В блестяще сомкнутом кругу.  
Огни зловещие мигали,  
И взор описывал дугу.*

*Всю ночь кружились в шумном  
танце,  
Всю ночь у стен сжимался круг.  
И на заре – в оконном глянце  
Бесшумный появился друг.*

*Он встал, и поднял взор совиный,  
И смотрит – пристальный –  
один,*

*Куда за бледной Коломбиной  
Бежал звенящий Арлекин.*

*А там – в углу – под образами,  
В толпе, мятущейся пестро,  
Вращая детскими глазами,  
Дрожит обманутый Пьеро.*

7 октября 1902

**«Вхожу я в темные храмы...»**

*Вхожу я в темные храмы,  
Совершаю бедный обряд.  
Там жду я Прекрасной Дамы  
В мерцаньи красных лампад.*

*В тени у высокой колонны  
Дрожу от скрипа дверей.  
А в лицо мне глядит, озаренный,  
Только образ, лишь сон о Ней.*

*О, я привык к этим ризам  
Величавой Вечной Жены!  
Высоко бегут по карнизам  
Улыбки, сказки и сны.*

*О, Святая, как ласковы свечи,  
Как отрадны Твои черты!  
Мне не слышны ни вздохи, ни речи,  
Но я верю: Милая – Ты.*

25 октября 1902

**«Его встречали повсюду...»**

*Его встречали повсюду  
На улицах в сонные дни.  
Он шел и нес свое чудо,*



*Спотыкаясь в морозной тени.*

*Входил в свою тихую келью,  
Зажигал последний свет,*

*Ставил лампаду веселью  
И пышный лилий букет.*

*Ему дивились со смехом,  
Говорили, что он чудак.  
Он думал о шубке с мехом  
И опять скрывался во мрак.*

*Однажды его проводили,  
Он весел и счастлив был,  
А утром в гроб уложили,  
И священник тихо служил.*

*Октябрь 1902*

**Из цикла «Распутья» (1902–1904)  
«Целый год не дрожало окно...»**

*Андрею Белому*

*Целый год не дрожало окно,  
Не звенела тяжелая дверь;  
Все забылось – забылось давно,  
И она отворилась теперь.*

Суетились, поспешно крестясь...  
Выносили серебряный гроб...  
И старуха, за ручку держась,  
Спотыкалась о снежный сугроб.

Равнодушные лица толпы,  
Любопытных соседей набег...  
И кругом протоптали тропы,  
Осквернив целомудренный снег.

Но, ложась в снеговую постель,  
Услыхал заключенный в гробу,  
Как вдали запевала метель,  
К небесам подымая трубу.

6 января 1903

**«Зимний ветер играет терновником...»**

Зимний ветер играет терновни-  
ком,  
Задувает в окне свечу.  
Ты ушла на свиданье с любовни-  
ком.  
Я один. Я прошу. Я молчу.

Ты не знаешь, кому ты молишься,  
—  
Он играет и шутит с тобой.  
О терновник холодный уколешься,

*Возвращаясь ночью домой.*

*Но, давно прислушавшись к счастью,  
У окна я тебя подожду.  
Ты ему отдаешься со страстью.  
Все равно. Я тайну блюду.*

*Все, что в сердце твоём туманится,  
Станет ясно в моей тишине.  
И, когда он с тобой расстанется,  
Ты признаешься только мне.*

*20 февраля 1903*

**«— Все ли спокойно в народе...»**

*— Все ли спокойно в народе?  
— Нет. — Император убит.  
Кто-то о новой свободе  
На площадях говорит.*

*— Все ли готовы подняться?  
— Нет. Каменеют и ждут.  
Кто-то велел дожидаться:  
Бродят и песни поют.*

*— Кто же поставлен у власти?  
— Власти не хочет народ.*

*Дремлют гражданские страсти:  
Слышно, что кто-то идет.*

*– Кто ж он, народный смири-  
тель?*

*– Темен, и зол, и свиреп:  
Инок у входа в обитель  
Видел его – и ослеп.*

*Он к неизведанным безднам  
Гонит людей, как стада...  
Посохом гонит железным...  
– Боже! Бежим от Суда!*

*3 марта 1903*

**«На Вас было черное закрытое  
платье...»**

*На Вас было черное закрытое пла-  
тье.*

*Вы никогда не поднимали глаз.*

*Только на груди, может быть,  
над Распятьем,*

*Вздыхал иногда и шевелился газ.*

*У Вас был голос серебристо-утом-  
ленный.*

*Ваша речь была таинственно про-  
ста.*

*Кто-то Сильный и Знающий, может быть,  
Влюбленный  
В Свое Создание, замкнул Вам  
уста.*

*Кто был Он – не знаю – никогда не  
узнаю,  
Но к Нему моя ревность, и страх  
мой к Нему.  
Ревную к Божеству, Кому песни  
слагаю,  
Но песни слагаю – я не знаю, Кому.*

*15 мая 1903. Петербург*

**«Возвратилась в полночь. До утра...»**

*Возвратилась в полночь. До утра  
Подходила к синим окнам зала.  
Где была? – Ушла и не сказала.  
Неужели мне пора?*

*Беспокойно я брожу по зале...  
В этих окнах есть намек.  
Эти двери мне всю ночь бросали  
Скрипы, тени, может быть,  
упрек?..*

*Завтра я уйду к себе в ту пору,*

Как она придет ко мне рыдать.  
Опусти белую штору,  
Занавешу пологом кровать.

Лягу, робкий, улыбаясь мигу,  
И один, вкусив последний хлеб,  
Загляжусь в таинственную книгу  
Совершившихся судеб.

9 октября 1903

### **Фабрика**

В соседнем доме окна жолты.  
По вечерам – по вечерам  
Скрипят задумчивые болты,  
Подходят люди к воротам.

И глухо заперты ворота,  
А на стене – а на стене  
Недвижный кто-то, черный кто-то  
Людей считает в тишине.

Я слышу все с моей вершины:  
Он медным голосом зовет  
Согнуть измученные спины  
Внизу собравшийся народ.

Они войдут и разбредутся,

*Навалят на спины кули.  
И в желтых окнах засмеются,  
Что этих нищих провели.*

*24 ноября 1903*

**«Что с тобой – не знаю и не скрою...»**

*Что с тобой – не знаю и не скрою*

---

*Ты больна прозрачной белизной.  
Милый друг, узнаешь, что с то-  
бою,  
Ты узнаешь будущей весной.*

*Ты поймешь, когда, в подушках ле-  
жа,  
Ты не сможешь запрокинуть рук.  
И тогда сойдет к тебе на ложе  
Непрерывный, заунывный звук.*

*Тень лампадки вздрогнет и встре-  
вожит,  
Кто-то, отделившись от стены,  
Подойдет – и медленно положит  
Нежный саван снежной белизны.*

*5 декабря 1903*

**«Плачет ребенок. Под лунным серпом...»**

Плачет ребенок. Под лунным серпом  
Тащится по полю путник горбатый.  
В роще хохочет над круглым горбом  
Кто-то косматый, кривой и рогатый.

В поле дорога бледна от луны.  
Бледные девушки прячутся в травы.  
Руки, как травы, бледны и нежны.  
Ветер колышет их влево и вправо.

Шепчет и клонится злак голубой.  
Пляшет горбун под луною двурогой.  
Кто-то зовет серебристой трубой.  
Кто-то бежит озаренной дорогой.

Бледные девушки встали из трав.  
Подняли руки к познанью, к молчанью.



Ухом к земле неподвижно припав,  
Внемлет горбун ожиданью, дыха-  
нью.

В роще косматый беззвучно дро-  
жит.

Месяц упал в озаренные злаки.  
Плачет ребенок. И ветер молчит.  
Близко труба. И не видно во мра-  
ке.

14 декабря 1903

### **Из газет**

Встала в сияньи. Крестила детей.  
И дети увидели радостный сон.  
Положила, до полу клонясь голо-  
вой,  
Последний земной поклон.

Коля проснулся. Радостно вздох-  
нул,  
Голубому сну еще рад наяву.  
Прокатился и замер стеклянный  
гул:  
Звенящая дверь хлопнула внизу.

Прошли часы. Приходил человек  
С оловянной бляхой на теплой

шапке.

Стучал и дожидался у двери человек.

Никто не открыл. Игнали в прятки.

Были веселые морозные Святки.

Прятали мамин красный платок.  
В платке уходила она по утрам.  
Сегодня оставила дома платок:  
Дети прятали его по углам.

Подкрались сумерки. Детские тени

Запрыгали на стене при свете фонарей.

Кто-то шел по лестнице, считая ступени.

Сосчитал. И заплакал. И постучал у дверей.

Дети прислушались. Отворили двери.

Толстая соседка принесла им щей.

Сказала: «Кушайте». Встала на колени

*И, кланяясь, как мама, крестила  
детей.*

*Мамочке не больно, розовые дет-  
ки.*

*Мамочка сама на рельсы легла.  
Доброму человеку, толстой сосед-  
ке,*

*Спасибо, спасибо. Мама не мог-  
ла...*

*Мамочке хорошо. Мама умерла.*

*27 декабря 1903*

### **Статуя**

*Лошадь влекли под уздцы на чу-  
гунный*

*Мост. Под копытом чернела вода.*

*Лошадь храпела, и воздух безлун-  
ный*

*Храп сохранял на мосту навсегда.*

*Песни воды и хрипящие звуки*

*Тут же вблизи расплывались в ха-  
ос.*

*Их раздирали незримые руки.*

*В черной воде отраженье неслоь.*

*Мерный чугуун отвечал однотононо.*

*Разность отпала. И вечность спала.*

*Черная ночь неподвижно, бездонно —*

*Лопнувший в бездну ремень увлекла.*

*Все пребывало. Движенья, страдания —*

*Не было. Лошадь храпела навек.*

*И на узде в напряженьи молчанья  
Вечно застывший висел человек.*

*28 декабря 1903*

## **«Ветер хрипит на мосту меж столбами...»**

*Ветер хрипит на мосту меж столбами,*

*Черная нить под снегами гудет.*

*Чудо ползет под моими санями,  
Чудо мне сверху поет и поет,*

*Все мне, певучее, тяжело и трудно,  
Песни твои, и снега, и костры...*

*Чудо, я сплю, я устал непробуд-*

но...

Чудо, ложись в снеговые бугры!

28 декабря 1903

**«Светлый сон, ты не обманешь...»**

Светлый сон, ты не обманешь,  
Ляжешь в утренней росе,  
Алой пылью тихо встанешь  
На закатной полосе.

Солнце небо опояшет,  
Вот и вечер – весь в огне.  
Зайчик розовый запляшет  
По цветочкам на стене.

На балконе, где алеют  
Мхи старинных балюстрад,  
Деды дремлют и лелеют  
Сны французских баррикад.

Мы внимаем ветхим дедам,  
Будто статуям из ниш:  
Сладко вспомнить за обедом  
Старый пламенный Париж,

Протянув больную руку,  
Сладко юным погрозить,  
Сладко гладить кудри внуку,

*О минувшем говорить.*

*И в алеющем закате  
На балконе подремать,  
В мягком стеганом халате  
Перебраться на кровать...*

*Скажут: «Поздно, мы устали...»  
Разойдутся на заре.  
Я с тобой останусь в зале,  
Лучик ляжет на ковре.*

*Милый сон, вечерний лучик...  
Тени бархатных ресниц...  
В золотистых перьях тучек  
Танец нежных вечерниц...*

*25 февраля 1904*

**«В час, когда пьянеют нарциссы...»**

*В час, когда пьянеют нарциссы  
И театр в закатном огне,  
В полутьме последней кулисы  
Кто-то ходит вздыхать обо  
мне...*

*Арлекин, забывший о роли?  
Ты, моя тихоокая лань?  
Ветерок, приносящий с поля*

*Дуновений легкую дань?*

*Я, пацц, у блестящей рампы  
Возникаю в открытый люк.  
Это – бездна смотрит сквозь  
лампы —  
Ненасытно-жадный паук.*

*И, пока пьянеют нарциссы,  
Я кривляюсь, крутятся и звеня...  
Но в тени последней кулисы  
Кто-то плачет, жалея меня.*

*Нежный друг с голубым туманом,  
Убаюкан качелью снов.  
Сиротливо приникший к ранам  
Легкоперстный запах цветов.*

*26 мая 1904. С. Шахматово*

**Из ранних стихотворений, не  
включенных в «Роман в стихах»  
Летний вечер**

*Последние лучи заката  
Лежат на поле сжатой ржи.  
Дремотой розовой объята  
Трава некошенной межи.*

*Ни ветерка, ни крика птицы,  
Над рощей – красный диск луны,  
И замирает песня жницы  
Среди вечерней тишины.*

*Забудь заботы и печали,  
Умчись без цели на коне  
В туман и в луговые дали,  
Навстречу ночи и луне!*

*1898; VII. 1916*

### **После дождя**

*Сирени бледные дождем к земле  
прибиты...  
Замолкла песня соловья;  
Немолчно говор слышится сердитый  
Случайного ручья.*

*Природа ждет лучей обетованных:  
Цветы поднимут влажный лик,  
И вновь в моих садах благоуханных  
Раздастся птичий крик.*

*1 июня 1899*

### **Перед грозой**



*Закат горел в последний раз.  
Светило дня спустилось в тучи,  
И их края в прощальный час  
Горели пламенем могучим.*

*А там, в неведомой дали,  
Где небо мрачно и зловеще,  
Немые грозы с вихрем шли,  
Блестя порой зеницей вещей.*

*Земля немела и ждала,  
Прошло глухое рокотанье,  
И по деревьям пронесла  
Гроза невольное дрожанье.*

*Казалось, мир – добыча гроз,  
Зеницы вскрылись огневые,  
И ветер ночи к нам донес  
Впервые – слезы грозовые.*

*31 июля 1899*

**«О, как безумно за окном...»**

*Вы, бедные, нагие несчастливцы.  
Лир*

*О, как безумно за окном  
Ревет, бушует буря злая,  
Несутся тучи, льют дождем,*

*И ветер воеет, замирая!  
Ужасна ночь! В такую ночь  
Мне жаль людей, лишенных кро-  
ва,  
И сожаленье гонит прочь —  
В объятия холода сырого!..  
Бороться с мраком и дождем,  
Страдальцев участь разделяя...  
О, как безумно за окном  
Бушует ветер, изнывая!*

*24 августа 1899*

### **После грозы**

*Под величавые раскаты  
Далеких медленных громов  
Встает трава, грозой примята,  
И стебли гибкие цветов.*

*Последний ветер в содроганье  
Приводит влажные листья,  
Под ярким солнечным сияньем  
Блестят зеленые кусты.*

*Всеохранительная сила,  
В своем неведомом пути,  
Природу чудно вдохновила  
Вернуться к жизни и цвести.*

3 июня 1900

## Признания

1. Главная черта моего характера – *Нерешительность*
2. Качество, какое я предпочитаю в мужчине – *Ум*
3. Качество, какое я предпочитаю в женщине – *Красота*
4. Мое любимое качество – *Ум и хитрость*
5. Мой главный недостаток – *Слабость характера*
6. Мое любимое занятие – *Театр*
7. Мой идеал счастья – *Непостоянство*
8. Что было бы для меня величайшим несчастьем – *Однообразии во всем*
9. Чем я хотел бы быть – *Артистом императорских театров*

10. Место, где я хотел бы жить – *Шахматово*

11. Мой любимый цвет – *Красный*

12. Мое любимое животное – *Собака и лошадь*

13. Моя любимая птица – *Орел, аист, воробей*

14. Мои любимые писатели прозаики – иностранные – ***отсутствуют***

15. Мои любимые писатели прозаики – русские – *Гоголь, Пушкин*

16. Мои любимые поэты – иностранные – *Шекспир*

17. Мои любимые поэты – русские – *Пушкин, Гоголь, Жуковский*

18. Мои любимые художники – иностран-

ные – **отсутствуют**

19. Мои любимые художники – русские – *Шишкин, Волков, Бакалович*

20. Мои любимые композиторы – иностранные – **отсутствуют**

21. Мои любимые композиторы – русские – **отсутствуют**

22. Мои любимые герои в художественных произведениях – *Гамлет, Петроний, Тарас Бульба*

23. Мои любимые героини в художественных произведениях – *Наташа Ростова*

24. Мои любимые герои в действительной жизни – *Иоанн IV, Нерон, Александр II, Петр I*

25. Мои любимые героини в действительной жизни – *Екатерина Великая*

26. Мои любимые пища и питье – *Мороже-*

*ное и пиво*

27. Мои любимые имена – *Александр, Константин и Татьяна*

28. Что я больше всего ненавижу – *Цинизм*

29. Какие характеры в истории я всего более презираю – *Малюта Скуратов, Людовик XVI*

30. Каким военным подвигом я всего более восхищаюсь – *Леонида и 300 спартанцев*

31. Какую реформу я всего более ценю – *Отмена телесных наказаний*

32. Каким природным свойством я желал бы обладать – *Силой воли*

33. Каким образом я желал бы умереть – *На сцене от разрыва сердца*

34. Теперешнее состояние моего духа – *Хорошее и почти спокойное*

35. Ошибки, к которым я отношусь наиболее снисходительно – Те, которые человек совершает необдуманно

36. Мой девиз – Пусть чернь слепая суетится, Не нам бессильной подражать... и т. д.

А. Блок

Наугейм

21 июня (3 июля) 1807[9]

### **Из дневников Александра Блока**

Известны дневники Блока за 1901–1902, 1911, 1912, 1913, 1917–1921 годы. «Писать дневник, или по крайней мере делать время от времени заметки о самом существенном надо нам всем.

Весьма вероятно, что наше время – великое и что именно мы стоим в центре жизни, т. е. в том месте, где сходятся все духовные нити, куда доходят все звуки...», – писал Блок в дневнике 1911 года.

В настоящем томе дневники Блока печатаются по изд.: Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. М. – Л., 1963.

27 декабря 1901

Я раздвоился. И вот жду, сознающий, на опушку, а – другой – совершаю в далеких полях заветное дело. И – ужасный сон! – непостижно начинаю я, ожидающий, тосковать о том, совершающем дело, и о совершенном деле...

<...>

Хоть и не вышло, а хорошая мысль стихотворения; убийца-двойник – совершит и отпадет, а созерцателю-то, который не принимал участия в убийстве, – вся награда. Мысль-то сумасшедшая, да ведь и награда – сумасшествие, которое застынет в сладостном созерцании совершенного другим. Память о ноже будет идеальна, ибо нож был хоть и реален, но в мечтах – вот она, великая тайна...

<...>

22 марта <1902>

Когда человек примется писать что бы то ни было – письмо или статью какого угодно



содержания, – ему ничего не стоит впасть в догматизм. Догматизм есть принадлежность всех великих людей, но это другой догматизм – высший, а нам – меньшим – следует от нашего догматизма избавиться. И вот что могу сказать по этому поводу:

Догматизм, как утверждение некоторых истин, всегда потребен в виде основания (ибо надо же исходить из какого-нибудь основания). Но не лучше ли «без догмата» опираться на бездну – ответственность больше, зато – вернее. Представьте: есть двое молодых и влюбленных. Один думает так, другая – иначе, – и не только думает, а и чувствует – и делает. Но оба любят, – а можно ли, любя, стоять на своем, не верить в то, во что верит любимая или любимый? Тут-то представляется, по-видимому, два исхода: или «броситься в море любви», значит – поверить сердцем и исповедывать то же, что тот, кого любишь, – или твердо стоять на своем и ждать, пока тот, кого любишь, «прозреет» и уверует сам в то, во что ты так твердо веришь. Тот и другой выход странен, сказал бы я (деликатно). Ибо, с одной стороны, нельзя всю жизнь быть в таком очу-

мелом состоянии, чтобы не иметь ничего от себя, а все от другого, а с другой – нельзя «чертовски разумно» стоять на своем, стучать лбом в стену и ждать у моря погоды. Где же выход?

Выход – в бездне. (И все выходы в ней.) Не утверждай, не отрицай. Верь и не верь. Остальное – приложится тебе. А догматизм оставь, потому что ты – маленький человек – «инфузория», «догадавшаяся о беспредельности».

## **Из записных книжек Александра Блока**

*Естественным дополнением к дневникам были для Блока записные книжки, нередко дневник заменявшие. Александр Блок вел записные книжки с детства, первая сохранившаяся относится ко времени, когда ему было тринадцать лет. С 1901 года поэт начинает нумеровать их, собирая в своем архиве. Таким образом, к 1921 году у него оказалось 62 книжки. Однако незадолго до смерти Блок перечитал их, из многих вырезал листы, а пятнадцать книжек уничтожил.*

*Нумерация арабскими цифрами озна-*

чает порядковый номер записной книжки.

Записные книжки Блока печатаются по изд.: Блок А. Записные книжки. 1901–1920. М., 1965.

1

26 сентября <1901>

В знаменье видел я вещей сон. Что-то порвалось во времени, и ясно явилась мне она, иначе ко мне обращенная, – и раскрылось тайное. Я видел, как семья отходила, а я, проходя, внезапно остановился в дверях перед ней. Она была одна и встала навстречу и вдруг протянула руки и сказала странное слово туманно о том, что я с любовью к ней. Я же, держа в руках стихи Соловьева, подавал ей, и вдруг это уж не стихи, а мелкая немецкая книга – и я ошибся. А она все протягивала руки, и занялось сердце. И в эту секунду, на грани ясновиденья, я, конечно, проснулся. И явно должно было быть так, ибо иначе неземное познал бы и уже как бы наяву – самый сон обратился бы в состояние пророчественное.

2

**13** августа <1902>

Человек этот был не из простых. Бог при создании закутал его сердце в темные ткани; если бы они спали, он восчувствовал бы слишком ярко и не выдержал бы своей любви. Теперь его звали эгоистом. А ему мерещилось иногда.

6

**16** июля <1903>

Если у меня будет ребенок, то хуже стихов. Такой же...[10]

Люба. Любочка. Любушка.

Если Люба наконец поймет, в чем дело, ничего не будет. Мне кажется, что Любочка не поймет.

У Любочки щечки побледнели. Глазки открылись. Волоски растрепаны. Ручки исцарапала. Совсем беспомощная – слабенькая.

У Любочки пушок на личике. Золотистый. Красное вечернее солнышко его насквозь проглядывает. Пушок золотой.

Из семьи Блоков я выродился. Нежен. Романтик. Но такой же кривляка.

8

**К**онец апреля <1904>

Живем гораздо скорее окружающих. Погружаемся раньше их в фиолетовый холод дня. *Чувствовать* Ее – лишь в ранней юности и перед смертью (Сереза – также у Вл. Соловьева). Теперь побольше ума. Отказаться от некоторого. Между тем – летом утратить кое-какие памяти, укрепиться, отрезветь, многое сопоставить – прочесть и передумать. *Примирение с позитивистами?* Всякие возможности.

\* \* \*

Я слаб, бездарен, немощен. Это *все* ничего. Она может всегда появиться над зубчатой горой. Романическое.

\* \* \*

Учить стихи наизусть! Пушкина, Брюсова, Лермонтова, все, что хорошо.

*1 мая*

Опять беспокойство перед ночью. И часто.

И будто все буду знать. Но спячка днем. Работать всячески. Написать стихи – пора! пора! Хочу. Люблю ее.

## **Избранные письма Александра Блока**

*Письма Блока не только часть летописи его жизни, они представляются хорошей школой эпистолярного мастерства.*

*Все письма печатаются полностью по изд.: Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. М. – Л., 1963.*

### **Отцу**

*18 октября 1898. <Петербург>*

**М**илый папа!

Я все не мог собраться написать Вам; вообще я слаб насчет писанья. Теперь пишу и поздравляю Вас с днем Вашего рожденья.

Теперешней своей жизнью я очень доволен, особенно тем, конечно, что развязался с гимназией, которая смертельно мне надоела, а образования дала мало, разве «общее». В Университете, конечно, гораздо интереснее, а кроме того, очень сильное чувство свободы, которую я, однако, во зло не употребляю и

лекции посещаю аккуратно. Относительно будущего пока не думаю, да и рано еще мне, кажется, думать о будущем.

Из лекций меня интересует история русского права, благодаря, вероятно, Сергеевичу, который читает очень популярно, даже немного элементарно. Единственный дурно читающий профессор – Петражицкий, который отвратительно говорит по-русски и сыпет иностранными терминами, не объясняя их, хотя следовало бы ему все-таки помнить, что мы – гимназисты 8-го класса и еще не привыкли к научному языку. Георгиевский и Ефимов читают ровно и очень недурно.

Теперь я довольно часто бываю у Качаловых (по субботам), где все со мной очень мило и любезно. Близко познакомился с кухнями и постоянно провожу с ними время. Кроме того, бываю у Менделеевых, с которыми коротко познакомился летом, когда они устраивали спектакли и я очень много играл и имел даже некоторый успех. Провожу довольно много времени с моим другом Гуном, который теперь на другом факультете, постоянно гуляю по Петербургу, вообще очень весе-

ло и приятно провожу время, пишу стихи, иногда пытаюсь писать прозу, но у меня ровно ничего не выходит. Пока еще мое времяпрепровождение довольно водянисто, и писать совсем нечего.

*Ваш Саша.*

**К. М. Садовской**

*<1898. Петербург>*

**Ч**ем больше я вижу Тебя, Оксана, тем больше во мне пробуждается то чувство, которое объяснить одним словом нельзя: в нем есть и радость, и грусть, а больше всего горячей, искренней любви, и любовь эта не имеет границ и, мне кажется, никогда не кончится. Чувство это бурно и не дает мне совсем покоя, я имею потребность видеть Тебя как можно чаще, любоваться Тобой и хоть на минуту утишить ту страшную бурю, которая все время бушует у меня в душе; и мне хочется, чтобы Ты, безмятежный ангел, обвеяла меня своими крылами и разрушила сомненья моей больной души, которая стремится к Тебе только и не находит выхода. Ты скажешь, откуда взялись эти порывы у такого холодного,



безнадежного эгоиста, который заботится только о себе?! Неужели же я не знаю, что я действительно эгоист, и сознание этого часто мучает меня... Я не могу ждать дольше пятницы нового свидания: если только можешь, то приходи в четверг, я буду ждать Тебя во 2-й линии против дома; мне нужно только видеть Тебя и знать, что Ты со мной; а в пятницу прийти я не могу, меня заставляют исповедываться именно вечером. Странное совпадение! Приходи в четверг, ради бога, моя душа только к Тебе стремится, только Тебя и жаждет. Может быть, Твое письмо поможет мне избавиться от эгоизма, и этим Ты спасешь меня от большого горя в жизни; а если Ты думаешь, что экзамены и пр. будут страдать от этого, то знай, что мне прежде всего нужна жизнь, а жизнь для всякого человека самое главное, потому я и стремлюсь к Тебе и беру от Тебя все источники жизни, света и тепла. Не знаю, может быть, это свойственно моей молодости, но на меня благотворно и жизневительно действует эта роскошно распускающаяся весна и наполняет все мое существо, особенно когда Ты со мной, а мне кажется часто,

что Ты близко от меня, и я думаю,

*Не здесь ли Ты легкою тенью,  
Мой гений, мой ангел, мой друг,  
Беседуешь тихо со мною  
И тихо летаешь вокруг?  
И робким даришь вдохновеньем,  
И сладкий врачуешь недуг,  
И тихим даришь сновиденьем,  
Мой гений, мой ангел, мой друг...*

У меня в сердце постоянно звучат эти чудные строки. А мысль о Тебе действует на меня как музыка: то душа полна грусти, то внезапно замрет от бурного веселья, то жадно стремится к свету. Не правда ли, что это любовь? Будешь ли Ты еще сомневаться?

Я жду теперь Твоих писем, как неземного счастья... Жду Тебя, приходи.

**Отцу**

*8 февраля 1902. Петербург*

**Милый папа!**

У меня к Вам большая просьба: не можете ли Вы прислать мне удостоверение в том, что я – единственный сын. Дело в том,

что мне необходимо представить его к 1-му марта в присутствие по воинской повинности; там мне сказали, что в Петербурге такого удостоверения выдать не могут, потому что (очевидно) требуется засвидетельствование отца. – В нашем Университете (который 6 февраля закрыт) происходят ужасные вещи; на сходке требовали активной забастовки, и на следующий же день «свыше» прекратили занятия. Еще есть, однако, слабая надежда, но вопрос в четырех неделях, потому что Ванновский, по-видимому, приведет в исполнение все, что обещал (Вы, вероятно, знаете уже о «предварительном объявлении» и т. п.). Занятия мои шли бы в нормальных условиях своим порядком, несмотря на сравнительную трудность экзаменов. За зиму я убедился в том, что нетрудно возобновить в памяти мертвые языки, и, кроме того, почувствовал большую «близость» к философии. Теперь изучаю логику и психологию, курсы очень объемистые, но изложение Введенского великолепно. Вообще я мало где бываю и чувствую себя в некоторой отделенности от внешнего мира, совершенно, однако, есте-

ственной и свободной, находящей свое разрешение в довольно большом количестве стихов, по-прежнему, несмотря на гражданские струи, лишенных этих преимуществ. Впечатление от Университета какое-то смутное – «временные» и бессильные «организации», которые возят по головам студентов, отчего последние свирепеют уже в последней мере; практических же перспектив трудно и доискаться в этом хаосе, где нельзя даже различить точно, кто первый виноват. Вообще положение очень неопределенно и уже тем самым нежелательно и требует выяснений, которые, впрочем, надо полагать, не очень замедлят. Институты, Женские курсы и Медицинская академия очень тревожатся, как по общим, так и по личным причинам, так что и здесь обещает разыгаться очень серьезная драма.

*Ваш Сашура.*

**З. Н. Гиппиус**

*<14 июня 1902. Шахматово>*

**М**ногоуважаемая **Зинаида Николаевна.**  
Мне все хочется еще обосновать мои

соображения, которые я высказывал Вам в последний раз. Думаю, что Вы согласитесь со мной, если я буду точнее: насколько я понял Вас, Вы говорили о некотором «белом» синтезе, долженствующем сочетать и «очистить» (приблизительно): эстетику и этику, эрос и «влюбленность», язычество и «старое» христианство (и дальше – по тому же пути). Спорил же я с Вами только относительно возможной «реальности» этого сочетания, потому что мне кажется, что оно не только и до сих пор составляет «чистую возможность», но и конечные пути к нему еще вполне скрыты от нашей «логики» (в том широком смысле, в каком мы в последний раз употребляли это слово, то есть будь то логика плоти или логика духа). Вы, если я понял до конца, считаете эти пути доступными нашему логическому сознанию даже настолько, что мы можем двигаться по ним, не нарушая и (более того) – поддерживая связь с жизнью, не отталкивая преднамеренно «шумы» жизни, дабы они не заглушали Великого шороха. Мне иногда кажется, что рядом с этим более «реальным» синтезом, но еще дальше и еще желаннее его,

существует и уже теперь дает о себе знать во внутреннем откровении (подобном приближительно Плотиновскому и Соловьевскому), но отнюдь не логически, иной – и уже окончательный «апокалипсический» – синтез, именно тот, о котором сказано: «И ничего уже не будет проклятого». «И дух и невеста говорят: прииди». «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний». Кажется же мне это не на одном основании «беспредметности» (которая, впрочем, играет здесь некоторую роль), а также и на следующих основаниях: во-первых, – к тому единству мы можем деятельно стремиться, это же явится «помимо» воли. «И внезапно внидет в дом свой господь», а нам возможно только «учуять ветр с цветущих берегов». Истинный «конец» ведь и помыслить трудно. А во-вторых (и главное), всякий *сколь-нибудь реальный синтез* есть «человеческий» угол зрения. Мы видим только образ грядущего, как видим только образ божий, а не самого бога; а потому – не заключены ли мы по самой природе своей в рамки одного ожидания и *относительного* (по отношению к последнему) бездействия? Ваш от-

вет на последний пункт был бы для меня ощутительно важен даже по практическим причинам (ведь этот вопрос граничит уже с образом жизни). Сам я все еще редко и с трудом решаюсь пускаться в твердое обоснование всей «сути века», главное потому, что органически не имею в себе большей части необходимого для построений матерьяла, например – сознания общественных связей и древнехристианской этики. Еще мне ужасно важно было бы узнать Ваше разрешение некоторой частности, именно: если в понятии Эроса совсем отсутствовала «влюбленность», как Вы говорили (т. е. – «тоскованье», мечта о невозможном, Дон-Кихот, «рыцарь бедный»), то как понимать Орфея и Евридику, «платоновскую» любовь и Сапфо? (Если они могут служить возражением, то лишь условным?) Ваша формула открыла для меня такие громадные горизонты, что у меня явилась большая потребность ее проверки на частностях, которые очень могут оказаться исключениями с известной стороны, чего мне очень хочется. – Извините меня за этот ряд отвлеченных и даже, уж наконец, филологи-

ческих вопросов; очень боюсь Вам наскучить. Я живу в месте очень зеленом и очень тихом, и опять начинает чаще казаться, что на высоте решается «таинственное дело». Тут и покоится ноша мира сего. Если Вы мне напишете, буду Вам благодарен, потому что для меня очень важны Ваши ответы. Решаюсь также просить Вас и о стихах (?).

*Преданный Вам.*

**Андрею Белому**

*3 января 1903. Петербург*

**М**ногоуважаемый Борис Николаевич. Только что я прочел Вашу статью «Формы искусства» и почувствовал органическую потребность написать Вам. Статья гениальна, откровенна. Это – «песня системы», которой я давно жду. На Вас вся надежда. Но меня глубоко тревожит одно (единое) в Вашей статье. Об этом я хочу написать, но прежде всего должен оговориться. Я до отчаянья ничего не понимаю в музыке, от природы лишен всякого признака музыкального слуха, так что не могу говорить о музыке как искусстве ни с какой стороны. Таким образом, я



осужден на то, чтобы вечно поющее внутри никогда не вышло наружу и не перехватило чего бы то ни было существенного из музыки искусства. Последнее может случиться только в случае перемещения воспринимающих центров, т. е. просто безумия, сумасшествия (и то – гадательно). По всему этому я буду писать Вам о том, о чем мне писать необходимо, не с точки зрения музыки-искусства, а с точки зрения интуитивной, от голоса музыки, поющего внутри, и оттуда, откуда мне слышны окружающие меня «слова о музыке», более или менее доступные. С этой оговоркой и пишу. Есть ли Ваша статья только «формы искусства»? Конечно, нет. «Не имеем ли мы здесь намека на превращение жизни в мистерию»? Следующая фраза еще настойчивее, как настойчивы Вы всегда, как настойчивы и неотвязны Ваши духовные стихи в «Симфонии» и в статье об Лениной. И, остановившись на этом, я почувствовал целую боль, целый внутренний рвущийся крик оттого, что Вы (дай бог, чтобы это не было так!) заполнили всю жизнь «миром искусства». «Глубина музыки и *отсутствие в ней внешней дей-*

ствительности наводят на мысль о нумеральном характере музыки, объясняющей тайну движения, тайну бытия». Ведь Вы хотите слушать музыку будущего! Ведь тут вопрос последней важности, который Вы обошли в Вашей статье. Это и нужно сказать, необходимо во избежание соблазна здесь именно кричать и вопить о границах, о пределах, о том, что апокалипсическая труба не «искуссна» (Ваша 344 страница). Вы последнего слова не сказали, и оттого последние страницы – ужас и сомнение. Ведь это окраина, вьющаяся тропинка, на которой Вы исчезаете за поворотом, и последние слова слышны как-то уже издалека, под сурдинку, в сеточке, а Вас мы уже не видим. Ваше лицо уже спряталось тогда именно, когда пришлось говорить о том, последнее ли музыка или не последнее? А главное, какая это музыка там, в конце? Под «формой» ли она искусства? Ведь это в руку эстетизму, метафизикам, «Новому пути», «Миру искусства». Вы гениально достигли полпути и вдруг свернули, улыбнулись Мережковскому с его символом-соединением (συμ—βάλλω – подумаешь, что все дело в пред-

логе и глаголе! Мертвая филология, «грех, проклятие и смерть», индийский Дионис с его «символическим» атрибутом, скалящий зубы без смеха в глазах, без «созидающего» хохота Вл. Соловьева, с «разлагающим» хохотом Arlekilio – Erl-König![11]). Разве у Вагнера нет ужаса «святой плоти»? Разве не одуряюще святы Зигмунд и Зиглинда и голос птички, «запевающей» Зигфриду, «манящей», inferнальной... о, да! inferнальной! «Она влияет». Тут ведь каламбур, перевод на французский язык слова «инфлуэнца» – influence! (простите за каламбур). Главное все в том, что я глубоко верю в Вас и надеюсь на Вас, потому что Вам необходимо сменить Петербург, в котором «для красы» останется один Медный всадник на болоте, на белокаменную Москву. В прошлом году я читал Ваше письмо к Зин. Ник. Гиппиус с подписью «студент-естественник». Теперь оно, кажется, в «Новом пути», но я не видел журнала. В этом письме все белое, целый свод апокалипсической белизны. В «Формах искусства» Вы замолчали ее. Вам неизменно приходится ссылаться на Платона, на Ницше, на Вагнера, на «бессознательного»

(конечно!) Верлэна. Но ведь «музыка сфер» – мифологическая глубина, ведь это пифагорейское общество, в котором все считали друг друга равными блаженным богам (λόγῳ οὐτ ἐν ἀριθμῷ), а других (!) – τῶν μάχαρεδσι θεοτίν! [12] Ведь у них у всех последнее самоутверждение, агамемноновские замашки пастырства народов. Ведь Пифагора, как Орфея, растерзали вакханки (символически). Ваши же цитаты *единственного не языческого титана* гласят:

*«Бывшие мгновения поступью беззвучною»... и т. д. (стр. 359).*

Разве это о том? Ведь это вот что:

*Страсти волну с ее пеной кипучей  
Тщетным желаньем, дитя, не лови.*

*Вверх погляди – на недвижно могучий  
С небом сходящийся берег любви.*

Весь вопрос теперь в том, где у Вас *последняя музыка*, лучше сказать, то, что *перестанет* быть музыкой искусством, как только мы «вернемся к религиозному пониманию дей-

ствительности». Действительно ли Вы считаете нуменальной только такую музыку (уже не «искуссную»)? Не оступаетесь ли Вы на краю пропасти, где лежит граница между феноменальным и нуменальным? Прекратится ли у Вас «движение», сменится ли оно «неподвижностью солнца любви»? Есть ли эта последняя музыка – яблоня, обсыпающая монашку белыми цветами забвения (2-я Симфония, 4 часть) («Не верь мгновенному, люби и позабудь»)? Есть ли это «грустно-задумчивое»? Или это ужасный, опять манящий и зовущий компромисс (хотя бы только «льдины прибрежной пятно голубое»)? Только ли это «пророка вѣдущие сны», или это последнее откровение, которым мы обязаны Вам (снявшему покровы и полюбившему вечность)? Не все ли еще «мистический колодезь»? Я задаю бездны вопросов оттого, что мне суждено испытывать Вавилонскую блудницу и только «жить в белом», но не творить белое. От моего «греха» задаю я Вам вопросы и потому, что совсем понял, что центр может оказаться в Вас, а, конечно, не в соединяющем две бездны Мережковском и проч. И потому хочу кричать

Вам, пока не поздно. Может быть, я Вас не понял, но тут во многом Ваша недосказанность виновата, Вам *необходимо* сказать больше, вопить о границах, о том, что Изида не имеет ничего общего с Девой Радужных ворот, тем более что вся глубина, вся «субстанция» Ваших песен о системе – белая, не «бездонная», не «безобразная». Здесь, у нас, где все «гонят лени сон угрюмой», необходимо, чтобы Вы сочли число зверя, потому что Вы из стоящих «в челе» и на Вас «возлагаются надежды» («Симфония» 2-я). Ваши слова гениально прозревают, потому нам нужно их все. Пора угадать имя «Лучезарной Подруги», не уклоняйтесь и пронесите знамя, веющее и без складок. В складках могут «прятаться». От складок страшно. Скажите прямо, что «все мы изменимся скоро, во мгновение ока». К этому письму меня привели только намеки на «мигание» (подмигивающих) в статье, которая открывает столь громадное в другом, что об этом и говорить нужно особо (таков намек на обновление гнетущей нас кантовской теории познания). Нам нужно более легкое бремя, данное «бедным в дар и слабым без труда». И

будет легче, когда будет слышнее цветение  
Вашего сердца.

*Преданный Вам Ал. Блок.*

**Л. Д. Менделеевой**

*<13 июня (н. ст.) 1903. Бад-Наугейм>*

**М**оя Любовь, моя единственная. Я получил сегодня два твоих письма. Даже сказать Тебе о них ничего не могу. И вообще трудно говорить с Тобой, опять трудно на таком расстоянии, в такой непривычной обстановке. Здесь совсем животная жизнь, разленивающая и скучная. Мы встаем в 7 часов утра, ждем ванны, после ванны лежим 1 час. Так проходит время почти до Mittag'a[13] (12½). После него – шатанье по городу и парку, потом в 7 часов вечера – ужин, потом можно идти на террасу слушать музыку, а в 11 часов вечера все запирают. Все уже устроилось, наши комнаты внизу, в довольно тихом месте, все расстояния маленькие. Город я помню наизусть. Боимся знакомств, между тем сегодня утром приходили какие-то два господина и не застали нас, сказали, что придут nach Mittag [14], а мы ушли от них кататься на лодке по

озеру, сейчас вернулись и боимся их прихода. Теперь день – длинный, длиннее русского. По вечерам бывает странное и скверное чувство отчужденности и отдаленности от всего. Я скоро устрою себе заполнение дня, по возможности приятное и полезное. Вчера начал писать Тебе и бросил, так бесцветно и пусто выходило. Так и теперь выходит пусто и бесцветно. Лучшее, что есть, я вычитываю из Достоевского, но так нельзя. А немцы до такой степени буржуазно скучны на вид, что о них совсем нечего писать. Страна страшно деловая, сухая. Из роз выглядывают серые лица. Пышность деревьев и цветов и плодородие земли точно ни к чему не обязывают. Нет ни одной хорошей фигуры ни у мужчин, ни у женщин. Женские лица просто на редкость безобразны, вообще нет ни одного красивого лица, мы не встречали по крайней мере. Все коренастые и грубые, заплывшие жиром. Тому же впечатлению способствуют больные, у которых ноги еле ходят, лица бледные и распухшие. Все старики и старухи, молодых меньше. И почти никого, при первом взгляде, по-настоящему не жалко, до того бессмыслен-



ным кажется их существование.

И все-таки, если бы мы были здесь с Тобой вдвоем, просто так, не обращая внимания на леченья и лечащихся, было бы хорошо. Можно бы было почти никого не видеть и уходить в парк и за парк, на озеро и в поле. Несмотря на однообразие, было бы то преимущество, что мы бы были совсем вдвоем. Не было бы даже третьей – России. Здесь, по-моему, русский (особенно русский) совсем отделен – без земли, без языка и без людей, и даже к вилле прикреплен только минутой. Вот какое письмо! Я не люблю ни фактов, ни публицистики. И все-таки написал тебе то и другое. А все оттого, что выбился из колеи. Скоро отыщу точки устоя у Соловьева и Достоевского. Нужно «задуматься», чтобы понять хоть что-нибудь. Первые здешние думы были вялы. А немцы не «задумываются», и все остальные видимые люди тоже. На лицах нет той складки, которая даже у нас на улицах различима. Вот где истинно плоски лица, так это здесь – и по всей длине прусских железных дорог. Прости за мои письма. Я знаю, что Ты там, севернее меня и лучше меня. И помню все, но не могу

выразить, или еще не смею снова начинать выражать, оглушенный ужасно прозаической обстановкой. Здесь нужно «осмелиться» сквозь целую ватагу людей, «живущих зверинским обычаем», воззвать к богу и к Тебе. Нужно писать стихи и молиться Твоему богу. А здесь нет бога, его не видели здешние люди.

*Твой.*

**Л. Д. Менделеевой**

24 июня (н. ст.) 1903. <Бад-Наугейм>

Около нас есть маленький городок Фридберг. Я там сегодня провел уже второй день. Там две замечательных вещи: собор и дворец нашей нынешней императрицы (когда она была просто Алисой Гессенской). Собор строго готический, весь упирается в небо своими острыми верхушками. Под крышей выглядывают безобразные существа полужвери (как на Notre Dame). Окна узкие, длинные, точно растянулись в постоянном бегстве к небу и так застыли, испещренные тончайшей и сложной канвой узоров. Между двумя богинями приютилась маленькая Богородица с Младенцем, протестантски-некрасивая ста-

туя. Двери окованы так крепко, точно для того, чтобы не выпустить мирян из мрака Люте-  
ровой религии. Красота всего здания совсем  
исключает многие из евангельских текстов, а  
небо как раз серое, и ходит упрямый ветер.  
Такой страшный божий дом. Когда от него  
пойдешь по главной улице с домами, крыты-  
ми черно-красной черепицей, открывается  
вид на древний «кремль», окруженный рвом.  
Главная башня (самая высокая из окрестных)  
окружена приземистыми стенами и круглы-  
ми короткими башнями в трещинках, с окна-  
ми для всяких «лыцарских пицалей» (дрянью  
же они стреляли!). Единственный мост через  
ров; на нем, наверное, визжали ворота, часо-  
вой кричал и стучал алебардой, под своды  
въезжали неуклюжие, закупоренные в латы  
всадники, густобровые, рыжеусые, герольды в  
беретах – все пришпиленные к лошадям тя-  
жестью одежд. Потом все опять затворялось  
ржавыми ключами, и наверху загорался сто-  
рожевой огонь. – Внутри кремля (ведь он был  
один сначала, а позже подбежал к нему пест-  
ренький городок) – все те же башни с бойни-  
цами, толща стен, дворец новейшей построй-

ки. Латинские надписи на воротах, на фонтане, кое-где гербы, памятник какому-то, очевидно, недавнему придворному музыканту или композитору – ничего очень интересного. Сквозь маленькую дверку можно пройти в королевский (или герцогский) сад. Там-то я и застрял. Сад небольшой и разбит совсем особенно – вверху и внизу. Кругом – верхняя дорожка на высоте стенных зубцов, а в середине – глубокая лощина с дорожками и старыми деревьями, увитыми плющом. Сначала идешь, будто крадешься, по узкой дорожке вдоль стены, там темно и холодно понурым розам и георгинам. Потом – поворот – и внезапный вид на огромную Гессенскую равнину, на обилие земных соков и культурных ухищрений немцев. Под стеной (весь сад на стенах) бежит железная дорога. Дальше – все оттенки дали – от ярко-зеленого до туманно-синего, на горизонтах – горы. У самого края стены – выступы и беседки из деревьев, и последняя, как венец сада, угрюмая, высокая, почти ужасная, выстроенная из толстых неочищенных древесных стволов – серых и узловатых, точно умерших только тогда, ко-

гда уже образовалась из них стена. И в беседке – такие же громадные кресла и стол, на которых подобало бы сидеть треххаршинному сюзерену с толстоногим позолоченным кубком.

Это не все еще. Главное, меня поразила и как-то уколола одна аллея из стриженных лип, образующих длинную, сплошь замкнутую сверху галерею. И среди лета – настоящая осень, вся аллея шумит от желтого листа под ногой. С одного боку – обрыв в среднюю ложину, плющ завил стволы сплошь. С другого – мелькает вид на равнину, но чаще кажется, что все кончается сейчас же за обрывом стены, заросшей кустами. Кое-где ютятся холеные холодные розы, опять розы и георгины, усталые от ветра и здешней осени. Если выбрать минуту полного одиночества и взглянуть вдоль аллеи (она прямая, французского типа), – все ждешь узорного пажа, который бежит шаловливо, вприпрыжку, и напрасно разыскивает «ее и его» – местную владелицу замка и заезжего остроумного рыцаря (остроумного, когда ему удалось наконец стащить доспехи). Где они? Не разберешь, не поймет и

тот, кто знает сад, кто сам провел здесь ночь с возлюбленной. Такой уют, несмотря на угрюмость стен, весь сад пропащий (оттого, что там можно пропасть и, надеюсь, не раз пропадали легкомысленно-нарядные пары. А старый граф качал только головой, а поделаться ничего не мог, – да и не хотел). И на долю пажей кое-что перепало, наверное (хоть бы поцелуй короткий и томный, чтобы зажать рот красивому мальчишке), и «наперсницам» бросали кошельки. Все было просто и страстно-интимно, потому что за стеной кончалась жизнь – и начиналась только в следующем таком же замке, непременно вокруг башни, не переходя за границу стен, на равнину. Как заскрипят ворота и гости уедут, – все опять тихо. Все думают: владелец, его дочь и вино в подвалах – каждый заветно и без огласки. – Когда сам ходишь там, все это приходит в голову непосредственно, ждешь подслушать древнюю клятву в верности, застрявшую в рыхлой стене, ждешь увидеть на дорожке розу, такую же сырую от росы и свежую, как она была, когда упала с квадратного выреза толстого негнущегося платья. Хоть давнишнее, а

живое. А главное, я представил себе, как Ты идешь со мной рядом и как мы могли бы прожить на стене в саду целое лето, отделившись от всех. Потому я и заметил все это, что представил Тебя Одну со мной. Там хорошо, наверное, в горячую ночь после знойного дня. Мы бы вышли оттуда одичалые и сильные – после такого лета. Но это так потому, что я был там, а не в другом месте. Думаю, что мы и при других условиях можем одичать. Хочешь одичать? Я страстно хочу, хочу, чтобы было поменьше мыслей и ума – и никого, кроме нас.

Я писал Тебе на этих днях все отвратительные письма. Ты сердишься, негодуешь, досадуешь – не знаю. Но знаю, что я готов похищать Тебя, чтобы быть с Тобой вдвоем. Это преследует меня и кружится, кружится, до головокружения, до полета. Теперь – одни, одни, одни, почаще, побольше, подольше, потом – все будет видно. Дивная Ты, красавица, Ты у меня стащила рассудок, бросила его со стены, вот и останься со мной вдвоем.

*Твой.*

**С. М. Соловьеву**

*20 декабря 1903. Петербург*

## Милый Сережа.

К тебе и стихам твоим я чувствую глубокую нежность. Люба необыкновенно точно представляет, как ты читаешь «Королевну». Настолько близко, что мне стало «чуть-чуть страшно», как говорится в Писании («Симфония» 1-я героическая). В эту минуту я вдруг опять вспомнил все прошлогоднее с новой силой. Очень и слишком часто приходят в голову эти дни, что было бы теперь, как было бы, если бы все осталось по-старому.

*Долго, долго по балкону  
Я хожу в вечерней мгле.  
Ночь ползет по небосклону  
И спускается к земле.*

Все перемены жизни, и мои лично, и твои, и наши, и те, и другие, и еще, и еще!.. все обвили меня белой пеленой, обязали к чему-то. Все, что было, отрезало пути к отступлению в детство жизни. И это прекрасно, и к лучшему. Прежде когда-то мне удавалось прожить твою строфу:

*Тревога жизни отзвучала  
И замирает далеко.*



*Змеиной страсти злое жало  
В душе уснуло глубоко.*

Теперь я почти поручусь, что это когда-то, стоящее рядом, навсегда остановилось в воспоминании только, и я бессилён понять такую близкую минуту. Тем более, мне издали поется это каждый день теперь. И рядом с этим, например, Врубель, который меня затягивает и пугает реально, особенно когда вспомнишь, что с ним теперь.

Еще одна разгадка твоих стихов: они требуют отдельного «настроения». Кроме того, часто требуют твоего голоса. Они не гибки или, выражаясь чисто современным декадентским языком, не изысканны. То же самое в стихах Владимира Соловьева: они требуют любви, а не любовь – их. Когда им отдашь любовь, они заполнят годы жизни и ответят во сто раз больше, чем в них сказано. Может быть, заполнят и целую жизнь. Твои стихи (хотя далеко не все) тоже необходимо полюбить через кого-нибудь: иногда – через твой голос, через однозвучность и скандированье, а иногда через собственную мысль или собственный образ, перехваченный по дороге.

Тогда «Королевна» говорит во сто раз больше, чем сказано словами. Также – «Мы шли в последней темноте» и «Золотой качался колос». Эти три – самые любимые мной из последних. «Дымка прозрачного пара» еще под сомнением, там ужасно портит чередование настоящего и прошедшего времени (даже perfectum и imperfectum), – и еще кое-что, что я тебе говорил, особенно – «Брат положил в тихой ласке».

«Королевну» (я для краткости) я читал на днях Семенову (автору драмы и стихов в «Новом пути») и Смирнову (постоянному сотруднику «Нового пути», оба – студенты и поэты). Они отнеслись равнодушно. По этому поводу мне приходит в голову нечто о прерафаэлитстве (ибо ты к нему в последнее время, кажется, близишься, в противоположность мне, удаляющемуся); «Королевну» я нахожу в больш. степени прерафаэлитской. Оно не может быть забыто теперь, но оно не к лицу нашему времени. Лицо искажено судорогой, приходит постоянное желание разглаживать его морщины, но они непременно опять соберутся. Это чересчур просто сказано у меня, но

я не чувствую надобности усложнять, потому что это действительно просто до угнетения. Потому же особенно ясно, что теперь именно труднее всего рассказать другому свой самый светлый сон (это отчасти говорит Гиппиус в предисловии к «Собранию стихов»). Чтобы его поняли, нужно, чтобы любили, а так как все заняты своим делом, – то своевременнее (более ли *вечно* – не знаю) действовать кинжалом, как Брюсов, как Врубель.

Скоро для поэзии наступят средние века. Поэты будут прекрасны и горды, вернутся к самому обаятельному источнику чистой поэзии, снижут нити из всех жемчугов – морского дна, и города, и ожерелья девушек каждой страны. Мне кажется возможным такое возрождение стиха, что все старые жанры от народного до придворного, от фабричной песни до серенады, – воскреснут. Но при этом повторится и кочевая жизнь с оружием в руках и под руками, стилеты под бархатными плащиками, целая жизнь пажы, или трубадура, или крестового рыцаря, или дуэньи, или «дамы сердца» – всех в целостности и полной индивидуальности – *на всю жизнь*. Это как реакция на

место богословия, с одной стороны, вздыхающей усталости – с другой. Сологуб и сквозь усталость увидал звезду Маир, реку Лигой, землю Ойле. Что же мы-то, желающие жизни? Я лично хочу, сойдя с астрологической башни, выйти потом из розового куста и спуститься в ров непременно в лунную, голубую траву, пока не появился в зеркале кто-нибудь сквозь простыню. Трудно будет с моими «восковыми чертами», но тем не менее попробую. А пока я болен (простудился) и сижу дома. У мамы – головные боли, у дяди Франца – флюс. О Любе не говорю, чтобы не сглазить. Пожалуйста, напиши о себе.

У меня к тебе одна нескромная просьба. Скажи, пожалуйста, живет ли у тебя кто-нибудь? Дело в том, что у меня тайное желание ночевать у тебя, когда мы будем в Москве. Люба должна остановиться у своих родственников, которые очень милы, но тем не менее мне бы очень хотелось самому не стеснять их и быть в отношении к ним не слишком в зависимости, чтобы осталось больше времени на мистическую Москву. Предупреждаю тебя, что: 1) ты прежде всего *должен* совершенно

обдуманно и искренно сообщить мне, помещаю я тебе или нет; 2) что мы не наверное поедем в Москву; 3) что, если поедем, рассчитаем так, чтобы, проведя дней десять, быть в Москве в день 16 января, притом лучше, чтобы этот день оказался одним из последних дней пребывания в Москве; 4) что я могу остановиться у Любиных родственников, которые даже приглашают меня, и обращаюсь к тебе скорее по собственному капризу.

Напиши, мой милый, целую тебя и обнимаю крепко. Все мы тебя любим.

*Твой Ал. Блок.*

Вот два последних стихотворения.

Пришли мне твои последние стихи.

## **Из воспоминаний об Александре Блоке М. А. Бекетова**

**С**о стороны матери Александр Александрович Блок – чисто русский. Мать его – дочь профессора Петербургского университета, известного ректора и поборника высшего женского образования Андрея Николаевича Бекетова, который был женат на Елизавете Григорьевне Карелиной, дочери Григория Силыча

Карелина, чрезвычайно талантливом и энергичном исследователе Средней Азии.

<...>

Отец мой Андрей Николаевич был самый живой, разносторонний и яркий из братьев Бекетовых. В ранней молодости он увлекался фурьеризмом, одно время серьезно занимался философией, изучая Платона, был далеко не чужд литературе, уже в старости зачитывался Толстым и Тургеневым, второй частью Гетева Фауста. В общественной деятельности он проявил большую энергию и страстность. Время его ректорства оставило очень яркий след в истории Петербургского университета. Особенно многим обязаны ему студенты, в организацию которых он внес совершенно новые элементы. Ни один ректор ни до, ни после него не был так близок с молодежью.

<...>

...наша мать была чрезвычайно способная музыкантша. Страстно любя музыку, она самоучкой выучилась играть на фортепиано и бойко исполняла трудные сонаты Бетховена и пьесы Шопена, причем исполнение ее отличалось выразительностью и отчетливостью.

В нашей семье наклонности и вкусы матери преобладали. Отец не передал склонности к естественным наукам ни одной из своих четырех дочерей. Все мы предпочитали искусство и литературу, но унаследовали от отца большую любовь к природе.

Мать воспитала в нас уважение к труду и стойкость в перенесении невзгод и физических страданий. Но вместе с этим передала и романтику, которой окрашивала все явления жизни. Можно смело сказать, что мы родились и выросли в атмосфере романтизма.

Общим свойством моих родителей было пренебрежение к земным благам и уважение к духовным ценностям. Бедность, которую испытали они в первые годы своего брака, переносили они легко и весело. Ложный стыд и тщеславие были им чужды. Пошлость, скука и общепринятая шаблонность совершенно отсутствовали в атмосфере нашего дома.

Таков был дух той семьи, в которой воспитывался поэтический дар Александра Блока.

<...>

Семья Блоков не имела на поэта непосредственного влияния, но он, несомненно, уна-

следовал от нее некоторые черты. <...> Отец поэта был талантливейший пианист с серьезными вкусами. Его любимцами были Бетховен и Шуман. <...> ... исполнение Александра Львовича отличалось точностью, свободой, силой. Но главное его обаяние заключалось в какой-то стихийно-демонической страстности; получалось впечатление вдохновенного порыва, стремительного полета, не передаваемого словами. Музыкальность отца, по-видимому, претворилась в сыне особым образом. Она сказалась в необычайной музыкальности его стиха и в разнообразии ритмов.

Наружностью поэт походил на Блоков. Больше всего на деда Льва Александровича. На отца он похож был только сложением и общим складом лица. <...> Так же, как и мать, был он (отец Блока. – *Сост.*) brunet с серо-зелеными глазами и тонкими чертами лица; черные, сросшиеся брови, продолговатое, бледное лицо, необыкновенно яркие губы и тяжелый взгляд придавали его лицу мрачное выражение. Походка и все движения были резки и порывисты. Короткий смех и легкое заикание сообщали какой-то особый харак-



тер его странному, нервному облику. Так же, как и сын, он отличался большой физической силой и крепким здоровьем. Это был человек с большим и своеобразным отвлеченным умом и тонкими литературными вкусами. Его любимцами были Гете, Шекспир и Флобер. Из русских писателей он особенно любил Достоевского и Лермонтова. К «Демону» у него было особенное отношение. Он исключительно ценил не только поэму Лермонтова, но и оперу Рубинштейна, которую знал наизусть и беспрестанно играл в собственном своем переложении.

<...>

Сын унаследовал от отца сильный темперамент, глубину чувств, некоторые стороны ума. Но характер его был иного склада: в нем преобладали светлые черты матери и деда Бекетова, совершенно несвойственные отцу: доброта, детская доверчивость, щедрость, невинный юмор. Мрачный, демонический облик Александра Львовича вместе с присущим ему обаянием в общем верно очерчен в поэме «Возмездие». Я должна оговорить только то, что касается художественного вымысла: ро-

ман между отцом и матерью происходил не совсем так, как изобразил его поэт, и самый облик отца несколько идеализирован. Но III глава есть точное воспроизведение действительности.

<...>

...в нашей бекетовской семье подрастала третья дочь Ася (Александра Андреевна) – будущая мать поэта. В семье ее все любили. Была она добрая, ласковая и необыкновенно веселая девочка. Ее проказы и шалости оживляли весь дом и смешили нас, сестер, до упаду. Но все это уживалось с капризным, причудливым характером, что объяснялось ее нервностью и крайней впечатлительностью. В натуре ее замечались странности, которые проявились в четырнадцатилетнем возрасте при одном, казалось бы, незначительном случае ее жизни, неожиданно обнаружив какие-то подсознательные глубины ее своеобразной и сложной натуры.

Однажды, прекрасным августовским вечером, она вместе с теткой и сестрами отправилась прокатиться по Неве на ялике. И мимо этого ялика проплыл утопленник. Его несло

течением. Вид его тела, намокшей розовой рубахи и слипшихся волос произвел на девочку потрясающее впечатление: она едва дошла до дому, и тут на нее напала такая слабость, что она буквально не могла держаться на ногах: приходилось водить ее под руки, поднимать со стула. Матери не было в городе. Ее заменяла тетка, которая сердилась на Асю, принимая ее поведение за шалость или притворство. Но девочке было не до шуток: весь ее организм был охвачен каким-то странным недугом. Дня три она не могла ни есть, ни спать, смотрела перед собой неподвижным взглядом и молчала. Весь мир приобрел для нее особую окраску, все потеряло смысл, как бы перестало существовать. Это не было чувство страха или жалости, а какой-то бессознательный, мистический ужас перед трагедией жизни и неотвратимостью рока. Если б она могла в то время осознать и оформить свои ощущения, она выразила бы их одним вопросом: «Если так, зачем жить?»

Такова была эта веселая девочка, самая ребячливая и беззаботная из своих сестер. Детского в ней было очень много, и долго остава-

лась она еще совершенным ребенком, но случая с утопленником никогда не забывала.

<...>

«Александр Блок. Биографический очерк»  
(печатается по изд.: Бекетова М. А.  
Воспоминания об Александре Блоке.  
М.: Правда, 1990. С. 22, 23, 25–26, 27, 28, 29).

**М. А. Бекетова**

<...>

С семи лет, еще при няне Соне, Саша начал увлекаться писанием. Он сочинял коротенькие рассказы, стихи, ребусы и т. д. Из этого материала он составлял то альбомы, то журналы, ограничиваясь одним номером, а иногда только его началом.

<...>

К сожалению, дат нигде нет. Все эти ранние попытки писать обнаруживают только великую нежность Саши к матери, а также его пристрастие к кораблям и кошкам. Но интересно то, что Саша уже тогда любил сочинять и писал в разном роде, подражая различным образцам.

Заключая первый период Сашиной жизни, скажу еще несколько слов об его характере.

Саша был вообще своеобразный ребенок. Одной из его главных особенностей, обнаружившихся уже к семи годам, была какая-то особая замкнутость. Он никогда не говорил про себя в третьем лице, как делают многие дети, вообще не любил рассказывать и разговоров не вел иначе как в играх, да и то выбирал всегда роли, не требующие многословия.

<...>

При всей своей замкнутости, маленький Саша отличался необыкновенным прямодушием: он никогда не лгал и был совершенно лишен хитрости и лукавства. Все эти качества были в нем врожденные, на него и не приходилось влиять в этом смысле. Кроме того, он был гордый ребенок. Его очень трудно было заставить просить прощения; выпрашивать что-нибудь, подольщаться, как делают многие дети, он не любил. <...> Но изменить его склонности, повлиять на него, воспротивиться его желанию или нежеланию было почти невозможно. Он не поддавался никакой ломке: слишком сильна была его индивидуальность, слишком глубоки его пристрастия и антипатии. Если ему что-нибудь претило,

это было непреодолимо, если его к чему-нибудь влекло, это было неудержимо. Таким остался он до конца, а когда сама жизнь начала ломать его, он не выдержал этой ломки. Делать то, что ему несвойственно, было для него не только трудно или неприятно, но прямо губительно. Это свойство унаследовал он от матери. Она тоже *не могла* безнаказанно делать то, что ей не было свойственно.

<...>

Не меньше собак Саша любил лошадей. Он рано выучился ездить верхом, красиво сидел на лошади и ловко и смело ездил. При всей своей любви к лошадям он умел их заставлять себя слушаться. Тот белый конь, который упоминается в его лирических стихах и поэме «Возмездие», был высокая, статная лошадь с несомненными признаками заводской крови; его звали Мальчик. Саша уезжал верхом иногда на целые дни и в этих поездках исколесил все окрестности Шахматова на далекое пространство. Во время скучной жизни на Пинских болотах его лучшим удовольствием было по целым часам ездить верхом, совершая длинные одинокие прогулки. У него

была прекрасная, но далеко не смиренная лошадь, которую он особенно любил именно за ее способность злиться.

Конечно, он прекрасно знал всех зверей Зоологического сада. Цирковые слоны, тюлени и бегемоты из «Аквариума» тоже были его любимцами. Он рассказывал о них с большой симпатией и очень талантливо их представлял. Любил он и червей и лягушек. В Шахматове был такой случай. В одно жаркое лето развелось очень много червей, которых не выносила Сашина мать. Однажды утром, когда мы пили чай под липами, на скамейке оказались две толстейшие гусеницы: одна ярко-розовая, другая зеленая. Сашина мать, содрогаясь от отвращения, просила Сашу убрать их. «Какие отвратительные!» – говорила она, отворачиваясь от гусениц. Саша взял их в руки и отнес как можно дальше, но сначала заметил примирительным и сочувственным тоном: «А они думают, что они очень красивые».

К птицам Саша был вообще равнодушнее, больше всего любил журавлей. Но зато кур он прямо-таки ненавидел за буржуазный харак-

тер и движения, и жестоко гонял их из цветников, пуская им вслед иногда даже камни.

<...>

## **Мать Александра Блока (*Влияние матери на сына*)**

<...>

По натуре своей она была прежде всего мать, ее отношение к обоим мужьям, за которых она выходила по склонности, было гораздо холоднее. Сын был ее исключительной, самой глубокой и сильной привязанностью. На нем сосредоточилась вся ее нежность, а с годами любовь эта все углублялась. Этому способствовала, во-первых, врожденная склонность сестры моей к материнству, она еще девочкой мечтала о детях, а во-вторых, исключительное положение, в которое она попала, когда ей пришлось поневоле расстаться с мужем, оберегая сына от проявлений его жестокого характера. В двадцать лет, в ту самую пору, когда властно проявляются страсти женщины, при очень горячем темпераменте — она осталась одна с ребенком без мужа. А муж, молодой, привлекательный и страстно влюбленный, всеми силами противился ее



решению, искал встреч с ней и умолял ее вернуться к нему. Много слез стоили ей эти сцены с Александром Львовичем, но то, что она устояла перед этим искушением и не ушла к мужу, показывает, насколько сын был ей дороже его. И вот на глазах ее растет этот сын, наполняя гордостью и радостью ее материнское сердце. Из прелестного, своеобразного ребенка превращается он в очаровательного юношу-поэта, и вся жизнь его проходит под знаком поэзии. Мать находила в сыне все то, чего не хватало ей в окружающей жизни. Так понятно, что чувство ее к нему все росло и крепло.

<...>

Кроме своей великой любви, Александра Андреевна вложила в сына черты своей натуры. Мать и сын были во многом сходны. Повышенная впечатлительность, нежность, страстность, крайняя нервность, склонность к мистицизму и к философскому углублению жизненных явлений – все это черты, присущие им обоим. К общим чертам матери и сына прибавлю щедрость, искренность, склонность к беспощадному анализу и исканию

правды и, наконец, ту детскую веселость, которую Александр Александрович проявлял иногда даже в последний год своей жизни, а мать его утратила годам к тридцати пяти, когда начались первые приступы ее сердечной болезни. В детстве и юности она была самым веселым и жизнерадостным созданием, какое только можно себе представить, но и ей свойственны были те капризы и неровности характера, которые проявились потом у сына. После рождения Саши, когда она отдохнула в родной семье от тяжелых впечатлений разлуки с мужем и зажила эта рана, – хотя и болезненная, но не очень глубокая, – она опять расцвела и из той печальной и робкой женщины, которой стала она за два года жизни с мужем, опять превратилась в веселое и жизнерадостное существо, напоминавшее скорее молодую девушку, чем женщину и мать, испытавшую столько горя.

<...>

Вообще ее живость и остроумие оживляли всякое общество. Саша был не так экспансивен, как мать. В этом была между ними существенная разница. У нее была непреодолимая

потребность высказываться, он же таил свои мысли и чувства в себе или же изливал их в стихах.

Связь между ними была очень сильна. Доказательством этому служат те груды писем к матери, которые доставляют мне столь драгоценный материал. Эту связь поддерживала и общность натур, и близость матери к сыну. До девяти лет он жил всегда в одной комнате с нею. Важно было и то, что Саша рос без отца. Наша семья помогала его матери в заботах о нем, но воспитывала она его сама, как хотела. Я уже говорила, что воспитывать Сашу было очень трудно. Сестра моя делала, что могла. Педагогические приемы были ей чужды. К самим педагогам относилась она очень скептически, считая их в большинстве случаев педантами и тупицами. Она говорила не раз, что воспитывает человека только известная атмосфера, а не дисциплинарные приемы и нравоучения. Когда Саша был еще мальчиком, она подпала под влияние сестры Софьи Андреевны, женщины очень цельной, с твердым характером и принципами и самыми определенными взглядами на жизнь. В это

время Александра Андреевна старалась воспитывать Сашу, влияя на его характер и поведение обычными приемами, но чем дальше, тем больше убеждалась в том, что к Саше эти приемы неприменимы. Сделать из него благонаправленного мальчика было невозможно. Он был хороший мальчик, даже очень хороший, но уж никак не благонаправленный. Он никогда не обижал младших братьев даже в пустяках, не затевал никаких злостных шалостей, не лгал, не наушничал, никогда не был груб, но капризы, непослушание, безудержность были ему очень свойственны.

<...> Душа ее рвалась к интересам сына. Она была его первым цензором еще в эпоху издания «Постника». Он доверял ее вкусу, а мать поощряла его к писанию и делала ему дельные замечания, на которые он всегда обращал внимание. Она сразу почуяла в нем поэта и была настолько близка к новым веяниям в литературе, что могла понимать его стихи, как очень немногие. Если бы не ее поощрение и живой интерес к его творчеству, он был бы очень одинок, так как в то время его поэзия казалась большинству очень стран-

ной и непонятной. Его обвиняли, как водится, и в ломанье, и в желании быть во что бы то ни стало оригинальным и т. д. А он никогда не был самоуверен. Как же важно было для него поощрение матери, мнением которой он дорожил, относясь к ней с уважением и доверием!

<...>

Впоследствии сын советовался с матерью и при составлении своих сборников. Иногда ей удавалось уговорить его не поддаваться минутному настроению и не выбрасывать те или другие ценные стихи или сохранить какие-нибудь особенно любимые ею строфы, которые он собирался выкинуть или изменить; в других случаях она же браковала его стихи, находя их слабыми или указывая на недостатки отдельных строк и выражений.

Что же сказать еще об их отношениях? Для нее он рано сделался мудрым наставником, который учил ее жизни и произносил иногда беспощадные, но верные приговоры. Она же была его лучшим и первым другом до той поры, когда он женился на сильной и крупной женщине, значение которой в его жизни бы-

ло громадно. Мать никогда не мешала сыну в его начинаниях. Он поступил на юридический факультет вопреки ее желанию. Она только поддержала его, когда он задумал перейти на филологический факультет, и уговорила кончить университетский курс (в чем тогда он не видел смысла) каким-то простым аргументом. Она никогда не требовала от него блестящих отметок первого ученика и вообще не донимала его излишним материнским самолюбием, а в таком важном деле, как женитьба, была всецело на его стороне. Она сразу приняла в свое сердце его невесту, а потом полюбила его жену, как и всех, кого он любил. Она относилась к Любви Дмитриевне совершенно особенно: смотря на нее глазами сына, бесконечно восхищалась ее наружностью, голосом, словечками и была о ней высокого мнения. Несмотря на это, отношения их не имели сердечного характера. После смерти Александра Александровича они стали ближе. Для тоскующей матери было великой отрадой говорить с невесткой о сыне, тем более что Любовь Дмитриевна имела свойство успокаивать ее нервную тревогу

немногими словами, взглядом или улыбкой.

Александра Андреевна пережила сына на полтора года. <...>

*«Александр Блок и его мать»*

*(печатается по изд.: Александр Блок  
в воспоминаниях современников:*

*В 2 т. Т. 1. М.: Художественная литерату-  
ра,*

*1980. С. 44, 45, 60–63, 68, 69).*

### **Андрей Белый**

**А.** А. – это здоровый цвет лица, крепость и статность всей фигуры: он имел в себе нечто от военного, а может быть, и от «добротного молодца». Упругость и твердая сдержанность всех движений несколько контрастировали с застенчиво улыбающимся лицом, чуть-чуть склоненным ко мне, и большими, прекрасными голубыми глазами. Лицо это показалось мне уже знакомым, где-то виданным. Так первое впечатление от облика А. А. вызвало в душе вопрос: «Где я видел его?» Казалось бы, я должен ответить себе: «Да, конечно, я его духовно видел в стихах, в нашей с ним переписке...» Но именно этого-то и не было: образ, возникающий из стихов, ассоции-

ровался во мне с другим образом: я почему-то духовно видел А. А. не таким: маленького роста, с болезненным, бледно-белым, большим, тяжелым лицом, с большим туловищем, небольшими тяжелыми ногами, в сюртуке, не гармонировавшем с его движениями, очень молчаливым и не улыбающимся, с плотно сжатыми губами и с пристальными небольшими синими глазами: и, разумеется, я видел А. А. с гладкими, будто прилизанными волосами, зачесанными назад. Не то чтобы я думал, что он такой. Нет, – просто этот образ вставал как невольная внешняя ассоциация, сопровождавшая все мысли мои о Блоке. А эта курчавая шапка густых, чуть-чуть рыжеватого оттенка волос, этот большой интеллектуальный лоб, улыбающиеся так открыто и так приветливо губы, и глаза, глядящие с детской доверчивостью не вдаль, а вблизи и несколько сконфуженно, рост, статность – все не соответствовало Блоку, жившему в воображении, Блоку, с которым я обменялся уже рядом писем на интимнейшие темы... <...>

Признаюсь – впечатление внешнего обли-



ка, не соответствовавшего «фиктивному» облику, меня застало врасплох. Нечто даже подобное разочарованию поймал я в своей душе и оттого еще больше переконфузился и быстро принялся приветствовать гостя и его супругу, несколько суетясь, путаясь в движениях, заговаривая зубы собственному своему впечатлению, которое было тотчас же замечено А. А., – оттого он стал ласково любезным, но, как мне кажется, тоже внутренне смутился. Произошла какая-то заминка в первой нашей с ним встрече, в передней. И с этой заминкой мы прошли в гостиную. <...>

Помнится, меня поразила та чуткость, с которой А. А. воспринял неуловимое впечатление, им во мне оставленное, то есть смесь радости, смущенности, некоторой настороженности, любопытства ко всей его личности, вплоть до движения его рук, до движения кончиков его улыбающегося рта, до морщинок около смеющихся глаз его, с мороза покрасневшего и слегка обветренного лица. Это неуловимое настроение с неуловимой быстротой передалось и ему, отчего вся его статная, крупная фигура, с уверенными и

несколько сдерживаемыми движениями приобрела какую-то мешковатость. Он как-то внутренне затоптался на месте и, в свою очередь, с выжидательно-любопытной улыбкой точно ждал от меня, я не знаю чего, слов ли, жестов ли, полной ли непринужденности или разрешения моего взволнованного, несколько взвинченного настроения, вызванного нашей встречей.

<...>

Помню я этот морозный январский день, и лучи солнца, падавшие в гостиную, и эту солнцем освещенную, слегка склоненную набок голову, и эти голубые, большие, не то недоумевающие, не то испытующие, но добрые, добрые глаза, и локти рук, упирающиеся в старое кресло, и слегка дрожавшую правую руку, зажавшую папиросу, и голубоватые дымные струйки.

<...>

*«Воспоминания об Александре Александровиче Блоке»*

*(печатается по изд.: Александр Блок в воспоминаниях современников: Т. 1. С. 232–233).*

## Андрей Белый

Александр Александрович есть единственно «вечный» из русских поэтов текущего века, соединивший стихию поэзии нашего национального дня с мировой эпохой, преобразивший утонченность непропетого трепета тем, исключительно углубленных в звук, внятней России, раздольней, как ветер, явивший по-новому Душу России...

<...>

Нам, его близко знававшим, стоял он прекрасной загадкой то близкий, то дальний (прекрасный – всегда). Мы не знали, кто больше, – поэт национальный, иль чуткий, единственный человек, заслоняемый порфиroy поэтической славы, как... тенью, из складок которой порой выступали черты благородного, всепонимающего, нового и прекрасного человека: kalos k'agathos – так и хочется определить сочетание доброты, красоты и правдивости, штриховавшей суровостью мягкий облик души его, не выносящей риторики, аффектации, позы, «поэзии», фальши и прочих «бум-бумов», столь свойственных проповедникам, поэтическим «мэтрам» и прочим «вели-

ким»; всечеловечное, чуткое и глубокое сердце его отражало эпоху, которую нес он в себе и которую не разложишь на «социологию», «мистику», «философию» или «стилистику»; не объяснишь это сердце, которое, отображая Россию, так билось грядущим, всечеловеческим; и не мирясь с суррогатами истинно-нового, не мирясь с суррогатами вечно-сущего в данном вокруг, – разорвалось: Александр Александрович, не сказав суррогатам того и другого «да будет» – задохся; «трагедия творчества» не пощадила его; мы его потеряли, как... Пушкина; он, как и Пушкин, искал себе смерти: и мы не могли уберечь это сердце; как и всегда, бережем мы лишь память, а не живую, кипящую творчеством бьющую жизнь...

<...>

...потом читал Блок; поразила манера, с которой читал он; сперва не понравилась (после ее оценил); мне казалось: – не музыкально звучали анапесты; голосом точно стирал он певучую музыку собственных строчек, – деловитым, придушенным несколько, трезвым, невыразительным голосом; несколько в

нос он читал и порою проглатывал окончание слова (я думаю: для А. А. характерны нечеткие рифмы «*границ*» и «*царицу*», в произношении А. А. окончания «ый», просто «ы» прозвучали бы ровно одинаково; а созвучья «*обманом – туманные*» – сошли бы за рифму); не чувствовалось повышения и понижения голоса, разницы в паузах; будто тяжелый, закованный в латы, ступал по стопам; и лицо становилось у А. А., как голос, тяжелым, застылым; острился теперь большой нос, изгибались губы из брошенной тени; глаза помутнели, как будто бы в них проливалось олово; тяжким металлом окованный, точно броней, так он выглядел в чтении.

<...>

*«Воспоминания о Блоке»*

*(печатается по изд.: Белый Андрей.*

*Воспоминания о Блоке. М.: Республика, 1995. С. 16–17, 70).*

## Из «Книги второй»(1904–1908)

### Вступление

*Ты в поля отошла без возврата.  
Да святится Имя Твое!  
Снова красные копыя заката  
Протянули ко мне острие.*

*Лишь к Твоей золотой свирели  
В черный день устами прильну.  
Если все мольбы отзвенели,  
Угнетенный, в поле усну.*

*Ты пройдешь в золотой порфире  
—  
Уж не мне глаза разомкнуть.  
Дай вздохнуть в этом сонном ми-  
ре,  
Целовать излученный путь...*

*О, исторгни ржавую душу!  
Со святыми меня упокой,  
Ты, Держащая море и сушу  
Неподвижно тонкой Рукой!*

*1905. Страстная Суббота*

## Из цикла «Пузыри земли» (1904–1908)

## Болотные чертенятки

А. М. Ремизову

Я прогнал тебя кнутом  
В полдень сквозь кусты,  
Чтоб дождаться здесь вдвоем  
Тихой пустоты.

Вот – сидим с тобой на мху  
Посреди болот.  
Третий – месяц наверху —  
Искавил свой рот.

Я, как ты, дитя дубрав,  
Лик мой так же стерт.  
Тише вод и ниже трав —  
Захудалый черт.

На дурацком колпаке  
Бубенец разлук.  
За плечами – вдалеке —  
Сеть речных излук...

И сидим мы, дурачки, —  
Нежить, немочь вод.  
Зеленеют колпачки  
Задом наперед.

Зачумленный сон воды,  
Ржавчина волны...  
Мы – забытые следы  
Чьей-то глубины...

Январь 1905

## **Твари весенние**

Из альбома «Kindisch»[15]

З. Н. Гиппиус

Золотисты лица купальниц.  
Их стебель влажен.  
Это вышли молчальницы  
Поступью важной  
В лесные душистые скважины.

Там, где проталины,  
Молчать повелено,  
И весной непомерной взлелеяны  
Поседельх туманов развалины.

Окрестности мхами завалены.  
Волосы ночи натянуты туго на  
срубы  
И пни.  
Мы в листве и в тени

Издали начинаем вникать в от-



даленные трубы.  
Приближаются новые дни.  
Но пока мы одни,  
И молчаливо открыты бескров-  
ные губы.

Чуда! о, чуда!  
Тихонько дым  
Поднимается с пруда...  
Мы еще помолчим.

Утро сонной тропею пустило  
стрелу,  
Но одна – на руке, опрокинутой  
ввысь,  
Ладонью в смолистую мглу —  
Светляка подняла... Оглянись:  
Где ты скроешь зеленого света  
ночную иглу?

Нет, светись,  
Светлячок, молчаливой понят-  
ный!  
Кусочек света,  
Клочочек рассвета...

Будет вам день беззакатный!  
С ночью вы не радели —

Вот и все ушло...  
Ночку вы не жалели —  
И становится слишком светло.  
Будете маяться, каяться,  
И кусаться, и лаяться,  
Вы, зеленые, крепкие, малые,  
Твари милые, небывалые.

Туман клубится, проносится  
По седым прудам.  
Скоро каждый чертик запросится  
Ко Святым Местам.

19 февраля 1905

### **БОЛОТНЫЙ ПОПИК**

На весенней проталинке  
За вечерней молитвою – малень-  
кий  
Попик болотный виднеется.

Ветхая ряска над кочкой  
Чернеется  
Чуть заметною точкой.

И в безбурности зорь краснова-  
тых  
Не видать чертенят бесноватых,  
Но вечерняя прелесть

Увила вокруг него свои тонкие ручки.

Предзакатные звуки,  
Легкий шелест.

Тихонько он молится,  
Улыбается, клонится,  
Приподняв свою шляпу.

И лягушке хромой, ковыляющей,  
Травой исцеляющей  
Перевяжет болящую лапу.  
Перекрестит и пустит гулять:  
«Вот, ступай в родимую гать».

Душа моя рада  
Всякому гаду  
И всякому зверю  
И о всякой вере».

И тихонько молится,  
Приподняв свою шляпу,  
За стебель, что клонится,

За больную звериную лапу,  
И за римского папу. —

Не бойся пучины тряской —

Спасет тебя черная ряска.

17 апреля 1905. Пасха

**«На весеннем пути в теремок...»**

На весеннем пути в теремок  
Перелетный вспорхнул ветерок,  
Прозвенел золотой голосок.

Постояла она у крыльца,  
Поискала дверного кольца  
И поднять не посмела лица.

И ушла в синеватую даль,  
Где дымилась весенняя таль,  
Где кружилась над лесом печаль.

Там – в березовом дальнем кругу

—  
Старикашка сгибал из березы ду-  
гу  
И заметил ее на лугу.

Закричал и запрыгал на пне:  
– Ты, красавица, верно – ко мне!  
Стосковалась в своей тишине!

За корявые пальцы взялась,  
С бородою зеленой сплелась

*И с туманом лесным поднялась.*

*Так тоскуют они об одном,  
Так летают они вечером,  
Так венчалась весна с колдуном.*

*24 апреля 1905*

**«Полюби эту вечность болот...»**

*Полюби эту вечность болот:  
Никогда не иссякнет их мощь.  
Этот знак, что сгорел, – не  
умрет.*

*Этот куст – без истления – тощ.*

*Эти ржавые кочки и пни  
Знают твой отдыхающий плен.  
Неизменно предвечны они, —  
Ты пред Вечностью полон измен.*

*Одинокая участь светла.  
Безначальная доля свята.  
Это Вечность Сама снизошла  
И навеки замкнула уста.*

*3 июня 1905*

**«Белый конь чуть ступает усталой  
НОГОЙ...»**

Белый конь чуть ступает уста-  
лой ногой,  
Где бескрайняя зыбь залегла.  
Мне болотная схима – желанный  
покой,  
Будь ночлегом, зеленая мгла!

Алой ленты Твоей надо мной по-  
лоса,  
Бьется в ноги коня змеевик,  
На горе безмятежно поют голо-  
са,  
Все о том, как закат Твой велик.

Закатилась Ты с мертвым Твоим  
женихом,  
С палачом раскаленной земли.  
Но сквозь ели прощальный Твой  
луч мне знаком,  
Тишина Твоя дремлет вдали.

Я с Тобой – навсегда, не уйду нико-  
гда,  
И осеннюю волю отдам.  
В этих впадинах тихая дремлет  
вода,  
Запирая ворота безумным клю-  
чам.

*О, Владычица дней! алой лентой  
Твоей  
Окружила Ты бледно-лазоревый  
свод!  
Знаю, ведаю ласку Подруги моей  
—  
Старину озаренных болот.  
3 июня 1905. Новоселки*

### **Пляски осенние**

*Волновать меня снова и снова —  
В этом тайная воля твоя,  
Радость ждет сокровенного сло-  
ва,  
И уж ткань золотая готова,  
Чтоб душа засмеялась моя.*

*Улыбается осень сквозь слезы,  
В небеса улетает мольба,  
И за кружесом тонкой березы  
Золотая запела труба.*

*Так волнуют прозрачные звуки,  
Будто милый твой голос звенит,  
Но молчишь ты, поднявшая руки,  
Устремившая руки в зенит.*

*И округлые руки трепещут,*

*С белых плеч ниспадают струи,  
За тобой в хороводах расплещут  
Осенницы одежды свои.*

*Осененная реющей влагой,  
Распустила ты пряди волос.  
Хороводов твоих по оврагу  
Золотое кольцо развилось.*

*Очарованный музыкой влаги,  
Не могу я ни петь, ни плясать,  
И не могут луга и овраги  
Под стопою твоей не сгорать.*

*С нами, к нам – легкокрылая мла-  
дость,  
Нам воздушная участь дана...  
И откуда приходит к нам Ра-  
дость,  
И откуда плывет Тишина?*

*Тишина умирающих знаков —  
Это светлая в мире пора:  
Сон, заветных исполненный зна-  
ков,  
Что сегодня пройдет, как вчера,  
Что полеты времен и желаний —*



*Только всплески девических рук —  
На земле, на зеленой поляне,  
Неразлучный и радостный круг.*

*И безбурное солнце не будет  
Нарушать и гневить Тишину,  
И лесная трава не забудет,  
Никогда не забудет весну.*

*И снежинки по склонам оврага  
Заметут, заровняют края,  
Там, где им заповедала влага,  
Там, где пляска, где воля твоя.*

*1 октября 1905*

**Из цикла «Разные стихотворения»  
(1904–1908)**

**«Фиолетовый запад гнетет...»**

*Фиолетовый запад гнетет,  
Как пожатые десницы свинцовой.  
Мы летим неизменно вперед —  
Исполнители воли суровой.*

*Нас немного. Все в дымных пла-  
щах.  
Брызжут искры и блещут кольчу-  
ги.  
Поднимаем на севере прах,*

*Оставляем лазурность на юге.*

*Ставим троны иным временам*  
—

*Кто воссядет на темные троны?  
Каждый душу разбил пополам  
И поставил двойные законы.*

*Никому неизвестен конец.  
И смятение сменяет веселье.  
Нам открылось в гаданьи: мерт-  
вец  
Впереди рассекает ущелье.*

*14 мая 1904*

### **Моей матери (Помнишь думы?)**

*Помнишь думы? Они улетели.  
Отцвели завитки гиацинта.  
Мы провидели светлые цели  
В отдаленных краях лабиринта.*

*Нам казалось: мы кратко блуж-  
дали.  
Нет, мы прожили долгие жизни...  
Возвратились – и нас не узнали,  
И не встретили в милой отчизне.*

*И никто не спросил о Планете,*

Где мы близились к юности вечной...

Пусть погибнут безумные дети  
За стезей ослепительно млечной!

Но в бесцельном, быть может,  
круженьи

Были мы, как избранные, нищи.  
И теперь возвратились в сомне-  
нии

В дорогое, родное жилище...

Так. Не жди изменений бесцель-  
ных.

Не смущайся забвеньем. Не числи.  
Пусть к тебе – о краях запредель-  
ных

Не придут и спокойные мысли.

Но, прекрасному прошлому радо,

—  
Пусть о будущем сердце не пла-  
чет.

Тихо ведаю: будет награда:  
Ослепительный Всадник приска-  
чет.

4 декабря 1904

## **Балаганчик**

*Вот открыт балаганчик  
Для веселых и славных детей,  
Смотрят девочка и мальчик  
На дам, королей и чертей.  
И звучит эта адская музыка,  
Завывает унылый смычок.  
Страшный черт ухватил карапу-  
зика,  
И стекает клюквенный сок.*

*Июль 1905*

## **Моей матери («Тихо. И будет все тише...»)**

*Тихо. И будет все тише.  
Флаг бесполезный опущен.  
Только флюгарка на крыше  
Сладко поет о грядущем.*

*Ветром в полнебе раскинут,  
Дымом и солнцем взволнован,  
Бедный петух очарован,  
В синюю глубь опрокинут.*

*В круге окна слухового  
Лик мой, как нимбом, украшен.  
Профиль лица воскового*

*Правилен, прост и нестрашен.*

*Смолы пахучие жарки,  
Дали извечно туманны...  
Сладки мне песни флюгарки:  
Пой, петушок оловянный!*

*Июль 1905*

**«Старость мертвая бродит вокруг...»**

*Старость мертвая бродит во-  
круг,  
В зеленях утонула дорожка.  
Я пилю наверху полукруг —  
Я пилю слуховое окошко.*

*Чую дали – и капли смолы  
Проступают в сосновые жилки.  
Прорываются визги пилы,  
И летят золотые опилки.*

*Вот последний свистящий раскол  
—*

*И дощечка летит в неизвест-  
ность...  
В остром запахе тающих смол  
Подо мной распахнулась окрест-  
ность...*

*Все закатное небо – в дремѣ,  
Удлиняются дольные тени,  
И на розовой гаснет корме  
Уплывающий кормицик весенний...*

*Вот – мы с ним уплываем во  
тьму,  
И корабль исчезает летучий...  
Вот и кормицик – звездою падучей*

*—  
До свиданья!.. летит за корму...*

*Июль 1905*

**«В туманах, над сверканьем рос...»**

*В туманах, над сверканьем рос,  
Безжалостный, святой и мудрый,  
Я в старом парке дедов рос,  
И солнце золотило кудри.*

*Не погасал лесной пожар,  
Но, гарью солнечной влекомый,  
Стрелой бросался я в угар,  
Целуя воздух незнакомый.*

*И проходили сонмы лиц,  
Всегда чужих и вечно взрослых,  
Но я любил взлетанье птиц,  
И лодку, и на лодке весла.*

Я уплывал один в затон  
Бездонной заводи и мутной,  
Где утлый остров окружен  
Стеною ельника уютной.

И там в развесистую ель  
Я доску клал и с нею реял,  
И таяла моя качель,  
И сонный ветер тихо веял.

И было, как на Рождестве,  
Когда игра давалась даром,  
А жизнь всходила синим паром  
К сусально-звездной синеве.

Июль 1905

### **Осенняя воля**

Выхожу я в путь, открытый взорам,  
Ветер гнет упругие кусты,  
Битый камень лег по косогорам,  
Желтой глины скудные пласты.

Разгулялась осень в мокрых долах,  
Обнажила кладбища земли,  
Но густых рябин в проезжих селах  
Красный цвет зареет издали.

Вот оно, мое веселье, пляшет  
И звенит, звенит, в кустах про-  
пав!  
И вдали, вдали призывно машет  
Твой узорный, твой цветной ру-  
кав.

Кто взманил меня на путь знако-  
мый,  
Усмехнулся мне в окно тюрьмы?  
Или каменным путем влекомый  
Нищий, распеваящий псалмы?

Нет, иду я в путь никем не зва-  
ный,  
И земля да будет мне легка!  
Буду слушать голос Руси пьяной,  
Отдыхать под крышей кабака.

Запою ли про свою удачу,  
Как я молодость сгубил в хме-  
лю...  
Над печалью нив твоих заплачу,  
Твой простор навеки люблю...

Много нас – свободных, юных,  
статных  
Умирает, не любя...



*Приюти ты в даях необъятных!  
Как и жить и плакать без тебя!*

*Июль 1905. Рогачевское шоссе*

**«Там, в ночной завывающей стуже...»**

*Девушка пела в церковном хоре  
О всех усталых в чужом краю,  
О всех кораблях, ушедших в море,  
О всех забывших радость свою.*

*Так пел ее голос, летящий в купол,  
И луч сиял на белом плече,  
И каждый из мрака смотрел и  
слушал,  
Как белое платье пело в луче.*

*И всем казалось, что радость бу-  
дет,  
Что в тихой заводи все корабли,  
Что на чужбине усталые люди  
Светлую жизнь себе обрели.*

*И голос был сладок, и луч был то-  
нок,  
И только высоко, у Царских Врат,  
Причастный Тайнам, – плакал ре-  
бенок  
О том, что никто не придет на-*

зад.

Август 1905

**«Там, в ночной завывающей стуже...»**

*Там, в ночной завывающей стуже,  
В поле звезд отыскал я кольцо.  
Вот лицо возникает из кружев,  
Возникает из кружев лицо.*

*Вот плывут ее вьюжные трели,  
Звезды светлые шлейфом влача,  
И взлетающий бубен метели,  
Бубенцами призывно брэнча.*

*С легким треском рассыпался ве-  
ер, —  
Ах, что значит – не пить и не  
есть!  
Но в глазах, обращенных на север,  
Мне холодному – жгучая весть...*

*И над мигом свивая покровы,  
Вся окутана звездами вьюг,  
Уплываешь ты в сумрак снеговой,  
Мой от века загаданный друг.*

Август 1905

**«В голубой далекой спаленке...»**

*В голубой далекой спальне  
Твой ребенок опочил.  
Тихо вылез карлик маленький  
И часы остановил.*

*Все, как было. Только странная  
Воцарилась тишина.  
И в окне твоём – туманная  
Только улица страшна.*

*Словно что-то недосказано,  
Что всегда звучит, всегда...  
Нить какая-то развязана,  
Сочетавшая года.*

*И прошла ты, сонно-белая,  
Вдоль по комнатам одна.  
Опустила, вся несмелая,  
Штору синего окна.*

*И потом, едва заметная,  
Тонкий полог подняла.  
И, как время, безрассветная,  
Шевелясь, поникла мгла.*

*Стало тихо в дальней спальне —  
Синий сумрак и покой,  
Оттого что карлик маленький*

*Держит маятник рукой.*

*4 октября 1905*

**«Вот Он – Христос – в цепях и розах...»**

*Евгению Иванову*

*Вот Он – Христос – в цепях и розах*

*—*

*За решеткой моей тюрьмы.  
Вот Агнец Кроткий в белых ризах  
Пришел и смотрит в окно тюрьмы.*

*В простом окладе синего неба  
Его икона смотрит в окно.  
Убогий художник создал небо.  
Но Лик и синее небо – одно.*

*Единый, Светлый, немного грустный —*

*За Ним восходит хлебный злак,  
На пригорке лежит огород капустный,  
И березки и елки бегут в овраг.*

*И все так близко и так далеко,  
Что, стоя рядом, достичь нельзя,  
И не постигнешь синего Ока,*

*Пока не станешь сам, как стезя...*

*Пока такой же нищий не будешь,  
Не ляжешь, истоптан, в глухой  
овраг,  
Обо всем не забудешь, и всего не  
разлюбишь,  
И не поблекнешь, как мертвый  
злак.*

*10 октября 1905*

**«Так. Неизменно все, как было...»**

*Так. Неизменно все, как было.  
Я в старом ласковом бреду.  
Ты для меня остановила  
Времен живую череду.*

*И я пришел, плющом венчанный,  
Как в юности, – к истокам рек.  
И над водой, за мглой туманной,  
—  
Мне улыбнулся тот же берег.*

*И те же явственные звуки  
Меня зовут из камыша.  
И те же матовые руки  
Провидит вещая душа.*

*Как будто время позабыло  
И ничего не унесло,  
И неизменным сохранило  
Певучей юности русло.*

*И так же вечен я и мирен,  
Как был давно, в годину сна.  
И тяжким золотом кумирен  
Моя душа убелена.*

*10 октября 1905*

### **«Прискакала дикой степью...»**

*Прискакала дикой степью  
На вспененном скакуне.  
«Долго ль будешь лязгать цепью?  
Выходи плясать ко мне!»*

*Рукавом в окно мне машет,  
Красным криком зажжена,  
Так и манит, так и пляшет,  
И ласкает скакуна.*

*«А, не хочешь! Ну, так с Богом!»  
Пыль клубами завилась...  
По тропам и по дорогам  
В чистом поле понеслась...*

*Не меня ты любишь, Млада,*

*Дикой вольности сестра!  
Любишь краденые клады,  
Полуночный свист костра!*

*И в степях, среди тумана,  
Ты страшна своей красотой —  
Разметавшейся у стана  
Рыжей спутанной косой!*

*31 октября 1905*

### **Сказка о петухе и старушке**

*Петуха упустила старушка,  
Золотого, как день, петуха!  
Не сама отворилась клетушка,  
Долго ль в зимнюю ночь до греха!*

*И на белом узорном крылечке  
Промелькнул золотой гребешок...  
А старуха спускается с печки,  
Все не может найти посошок...*

*Вот – ударило светом в оконце,  
Загорелся старушечий глаз...  
На дворе – словно яркое солнце,  
Деревенька стоит напоказ.*

*Эх, какая беда приключилась,  
Впопыхах не нащупать клюки...*

Ишь, проклятая, где завалилась!..  
А у страха глаза велики:

Вон стоит он в углу, озаренный,  
Из-под шапки таращит глаза...  
А на улице снежной и сонной  
Суматоха, возня, голоса...

Прибежали к старухину дому,  
Захватили ведро, кто не глуп...  
А уж в кучке золы – незнакомый  
Робко съежился маленький  
труп...

Долго, бабушка, верно, искала,  
Не сыскала ты свой посошок...  
Петушка своего потеряла,  
Ан, нашел тебя сам петушок!

Зимний ветер гуляет и свищет,  
Все играет с торчащей трубой...  
Мертвый глаз будто все еще  
ищет,  
Где пропал петушок... золотой.

А над кучкой золы разметенной,  
Где гулял и клевал петушок,  
То погаснет, то вспыхнет червон-



ный

Золотой, удалой гребешок.

11 января 1906

**«Милый брат! Завечерело...»**

*Милый брат! Завечерело.  
Чуть слышны колокола.  
Над равниной побелело —  
Сонноокая прошла.*

*Проплыла она – и стала,  
Незаметная, близка.  
И опять нам, как бывало,  
Ноша тяжкая легка.*

*Меж двумя стенами бора  
Редкий падает снежок.  
Перед нами – семафора  
Зеленеет огонек.*

*Небо – в зареве лиловом,  
Свет лиловый на снегах,  
Словно мы – в пространстве но-  
вом,  
Словно – в новых временах.*

*Одиноко вскрикнет птица,  
Отряхнув крылами ель,*

*И засыплет нам ресницы  
Белоснежная метель...*

*Издали – локомотива  
Поступь тяжкая слышна...  
Скоро Финского залива  
Нам откроется страна.*

*Ты поймешь, как в этом море  
Облегчается душа,  
И какие гаснут зори  
За грядою камыша.*

*Возвратясь, уютно ляжем  
Перед печкой на ковре  
И тихонько перескажем  
Все, что видели, сестре...*

*Кончим. Тихо встанет с кресел,  
Молчалива и строга.  
Скажет каждому: «Будь весел.  
За окном лежат снега».*

*13 января 1906*

### **Вербочки**

*Мальчики да девочки  
Свечечки да вербочки  
Понесли домой.*

Огонечки теплятся,  
Прохожие крестятся,  
И пахнет весной.

Ветерок удаленький,  
Дождик, дождик маленький,  
Не задуй огня!

В Воскресенье Вербное  
Завтра встану первая  
Для святого дня.

1—10 февраля 1906

### **Иванова ночь**

Мы выйдем в сад с тобою, скром-  
ной,  
И будем странствовать одни.  
Ты будешь за травую темной  
Искать купальские огни.

Я буду ждать с глубокой верой  
Чудес, желаемых тобой:  
Пусть вспыхнет папоротник се-  
рый  
Под встрепенувшейся рукой.

Ночь полыхнет зеленым светом,

---

*Ведь с нею вместе вспыхнешь ты,  
Упоена в волшебстве этом  
Двойной отравой красоты!*

*Я буду ждать, любуясь втайне,  
Ночных желаний не будя.  
Твоих девичьих очертаний —  
Не бойся – не спугну, дитя!*

*Но, если ночь, встряхнув ветвями,  
Захочет в небе изнемочь,  
Я загляну в тебя глазами  
Туманными, как эта ночь.*

*И будет миг, когда ты снидешь  
Еще в иные небеса.  
И в новых небесах увидишь  
Лишь две звезды – мои глаза.*

*Миг! В этом небе глаз упорных  
Ты вся отражена – смотри!  
И под навес ветвей узорных  
Проникло таинство зари.*

*12 февраля 1906*

**Сольвейг**

*Сергею Городецкому*

*Сольвейг прибегает на лыжах.  
Ибсен. Пер Гюнт*

*Сольвейг! Ты прибежала на лы-  
жах ко мне,  
Улыбнулась пришедшей весне!*

*Жил я в бедной и темной избушке  
моей  
Много дней, меж камней, без ог-  
ней.*

*Но веселый, зеленый твой глаз  
мне блеснул —  
Я топор широко размахнул!*

*Я смеюсь и крушу вековую сосну,  
Я встречаю невесту – весну!*

*Пусть над новой избой  
Будет свод голубой —  
Полно соснам скрывать синеву!*

*Это небо – твое!  
Это небо – мое!  
Пусть недаром я гордым слыву!*

*Жил в лесу, как во сне,*

*Пел молитвы сосне,  
Надо мной распростершей красу.*

*Ты пришла – и светло,  
Зимний сон разнесло,  
И весна загудела в лесу!*

*Слышишь звонкий топор? Видишь  
радостный взор,  
На тебя устремленный в упор?*

*Слышишь песню мою? Я крушу и  
пою  
Про весеннюю Сольвейг мою!*

*Под моим топором, распевая хва-  
лы,  
Раскачнулись в лазури стволы!*

*Голос твой – он звончей песен ста-  
рой сосны!  
Сольвейг! Песня зеленой весны!*

*20 февраля 1906*

**«Прошли года, но ты – все та же...»**

*Я знал ее еще тогда,  
В те баснословные года.  
Тютчев*

*Прошли года, но ты – все та же:  
Строга, прекрасна и ясна;  
Лишь волосы немного глаже,  
И в них сверкает седина.*

*А я – склонен над грудой книжной,  
Высокий, сгорбленный старик, —  
С одною думой непостижной  
Смотрю на твой спокойный лик.*

*Да. Нас года не изменили.  
Живем и дышим, как тогда,  
И, вспоминая, сохранили  
Те баснословные года...*

*Их светлый пепел – в длинной ур-  
не.  
Наш светлый дух – в лазурной  
мгле.  
И все чудесней, все лазурней —  
Дышать прошедшим на земле.*

*30 мая 1906*

### **«Шлейф, забрызганный звездами...»**

*Шлейф, забрызганный звездами,  
Синий, синий, синий взор.  
Меж землей и небесами  
Вихрем поднятый костер.*

Жизнь и смерть в круженьи вечном,  
Вся – в шелках тугих —  
Ты – путям открыта млечным,  
Скрыта в тучах грозových.

Пали душные туманы.  
Гасни, гасни, свет, пролейся,  
мгла...  
Ты – рукою узкой, белой, странной  
Факел-кубок в руки мне дала.

Кубок-факел брошу в купол синий  
—  
Расплеснется млечный путь.  
Ты одна взойдешь над всей пустыней  
Шлейф кометы развернуть.

Дай серебряных коснуться складок,  
Равнодушным сердцем знать,  
Как мой путь страдальный сладок,  
Как легко и ясно умирать.

Сентябрь 1906

**Русь**



Ты и во сне необычайна.  
Твоей одежды не коснусь.  
Дремлю – и за дремотой тайна,  
И в тайне – ты почишь, Русь.

Русь, опоясана реками  
И дебрями окружена,  
С болотами и журавлями,  
И с мутным взором колдуна,

Где разноликие народы  
Из края в край, из дола в дол  
Ведут ночные хороводы  
Под заревом горящих сел.

Где ведуны с ворожеями  
Чаруют злаки на полях,  
И ведьмы тешатся с чертями  
В дорожных снеговых столбах.

Где буйно заметает вьюга  
До крыши – утлое жильё,  
И девушка на злого друга  
Под снегом точит лезвие.

Где все пути и все распутья  
Живой клюкой измождены,  
И вихрь, свистящий в голых пру-

тъях,  
Поет преданья старины...

Так – я узнал в моей дремоте  
Страны родимой нищету,  
И в лоскутах ее лохмотий  
Души скрываю наготу.

Тропу печальную, ночную  
Я до погоста протоптал,  
И там, на кладбище ночуя,  
Подолгу песни распевал.

И сам не понял, не измерил,  
Кому я песни посвятил,  
В какого Бога страстно верил,  
Какую девушку любил.

Живую душу укачала,  
Русь, на своих просторах, ты,  
И вот, она не запятнала  
Первоначальной чистоты.

Дремлю – и за дремотой тайна,  
И в тайне поживает Русь,  
Она и в снах необычайна.  
Ее одежды не коснусь.

24 сентября 1906

## Тишина цветет

*Здесь тишина цветет и движет  
Тяжелым кораблем души,  
И ветер, пес послушный, лижет  
Чуть пригнутые камыши.*

*Здесь в заводь праздную желанье  
Свои приводит корабли.  
И сладко тихое незнанье  
О дальних ропотах земли.*

*Здесь легким образам и думам  
Я отдаю стихи мои,  
И томным их встречают шумом  
Реки согласные струи.*

*И, томно опустив ресницы,  
Вы, девушки, в стихах прочли,  
Как от страницы до страницы  
Вдаль потянули журавли.*

*И каждый звук был вам намеком  
И несказанным – каждый стих.  
И вы любили на широком  
Просторе легких рифм моих.*

*И каждая навек узнала  
И не забудет никогда,*

Как обнимала, целовала,  
Как пела тихая вода.

Октябрь 1906

**«Ты можешь по траве зеленой...»**

Ты можешь по траве зеленой  
Всю церковь обойти,  
И сесть на паперти замшѐной,  
И кружево плести.

Ты можешь опустить ресницы,  
Когда я прохожу,  
Поправить кофточку из ситца,  
Когда я погляжу.

Твои глаза еще невинны,  
Как цветик голубой,  
И эти косы слишком длинны  
Для шляпки городской.

Но ты гуляешь с красным бан-  
том  
И семечки лущишь,  
Телеграфисту с желтым кантом  
Букетики даришь.

И потому – ты будешь рада  
Сквозь мокрую траву

Прийти в туман чужого сада,  
Когда я позову.

Октябрь 1906

**«Ищу огней – огней попутных...»**

*Ищу огней – огней попутных  
В твой черный, ведовской предел.  
Меж темных заводей и мутных  
Огромный месяц покраснел.*

*Его двойник плывет над лесом  
И скоро станет золотым.  
Тогда – простор болотным бесам,  
И водяным, и лесовым.*

*Вертлявый бес верхушкой ели  
Проткнет небесный золотой,  
И долго будут петь свирели,  
И стадо звякать за рекой...*

*И дальше путь, и месяц выше,  
И звезды меркнут в серебре.  
И тихо озарились крыши  
В ночной деревне, на горе.*

*Иду, и холодеют росы,  
И серебрятся о тебе,  
Все о тебе, расплетшей косы*

*Для друга тайного, в избе.*

*Дай мне пахучих, душистых зелий  
И ядом сладким заморочь,  
Чтоб, раз вкусив твоих веселий,  
Навеки помнить эту ночь.*

*Октябрь 1906*

**«О жизни, догоревшей в хоре...»**

*О жизни, догоревшей в хоре  
На темном клиросе Твоем.  
О Деве с тайной в светлом взоре  
Над осиянным алтарем.*

*О томных девушках у двери,  
Где вечный сумрак и хвала.  
О дальней Мэри, светлой Мэри,  
В чьих взорах – свет, в чьих косах –  
мгла.*

*Ты дремлешь, Боже, на иконе,  
В дыму камильниц голубых.  
Я пред тобою, на амвоне,  
Я – сумрак улиц городских.*

*Со мной весна в твой храм всту-  
пила,  
Она со мной обручена.*

*Я – голубой, как дым кадила,  
Она – туманная весна.*

*И мы под сводом веем, веем,  
Мы стелемся над алтарем,  
Мы над народом чары деем  
И Мэри светлую поем.*

*И девушки у темной двери,  
На всех ступенях алтаря —  
Как засветлевшая от Мэри  
Передзакатная заря.*

*И чей-то душный, тонкий волос  
Скользит и веет вокруг лица,  
И на амвоне женский голос  
Поет о Мэри без конца.*

*О розах над ее иконой,  
Где вечный сумрак и хвала,  
О деве дальней, благосклонной,  
В чьих взорах – свет, в чьих косах –  
мгла.*

*Ноябрь 1906*

### **Балаган**

*Ну, старая кляча, пойдём ломать сво-  
его Шекспира.*

*Над черной слякотью дороги  
Не поднимается туман.  
Везут, побряхтывая, дроги  
Мой полинялый балаган.*

*Лицо дневное Арлекина  
Еще бледней, чем лик Пьеро.  
И в угол прячет Коломбина  
Лохмотья, сшитые пестро...*

*Тащитесь, траурные клячи!  
Актеры, правьте ремесло,  
Чтобы от истины ходячей  
Всем стало больно и светло!*

*В тайник души проникла плесень,  
Но надо плакать, петь, идти.  
Чтоб в рай моих заморских песен  
Открылись торные пути.*

*Ноябрь 1906*

### **Усталость**

*Кому назначен темный жребий,  
Над тем не властен хоровод.  
Он, как звезда, утонет в небе,  
И новая звезда взойдет.*



*И краток путь средь долгой ночи,  
Друзья, близка ночная твердь!  
И даже рифмы нет короче  
Глухой, крылатой рифмы:  
смерть.*

*И есть ланит живая алость,  
Печаль свиданий и разлук...  
Но есть паденье, и усталость,  
И торжество предсмертных мук.*

*14 февраля 1907*

**«Зачатый в ночь, я в ночь рожден...»**

*Зачатый в ночь, я в ночь рожден,  
И вскрикнул я, прозрев:  
Так тяжек матери был стон,  
Так черен ночи зев.*

*Когда же сумрак поредел,  
Унылый день повлек  
Клубок однообразных дел,  
Безрадостный клубок.*

*Что быть должно – то быть долж-  
но,  
Так пела с детских лет  
Шарманка в низкое окно,  
И вот – я стал поэт.*

Влюбленность расцвела в кудрях  
И в ранней грусти глаз.  
И был я в розовых цепях  
У женщин много раз.

И все, как быть должно, пошло:  
Любовь, стихи, тоска:  
Все приняла в свое русло  
Спокойная река.

Как ночь слепа, так я был слеп,  
И думал жить слепой...  
Но раз открыли темный склеп,  
Сказали: Бог с тобой.

В ту ночь был белый ледоход,  
Разлив осенних вод.  
Я думал: «Вот, река идет».  
И я пошел вперед.

В ту ночь река во мгле была,  
И в ночь и в темноту  
Та – незнакомая – пришла  
И встала на мосту.

Она была – живой костер  
Из снега и вина.  
Кто раз взглянул в желанный

взор,  
Тот знает, кто она.

И тихо за руку взяла  
И глянула в лицо.  
И маску белую дала  
И светлое кольцо.

«Довольно жить, оставь слова,  
Я, как метель, звонка,  
Иною жизнью жива,  
Иным огнем ярка».

Она зовет. Она манит.  
В снегах земля и твердь.  
Что́ мне поет? Что́ мне звенит?  
Иная жизнь? Глухая смерть?

12 апреля 1907

**«С каждой весной пути мои круче...»**

С каждой весной пути мои круче,  
Мертвенней сумрак очей.  
С каждой весной ясней и певучей  
Таинства белых ночей.

Месяц ладью опрокинул в послед-  
ней  
Бледной могиле, – и вот

Стертые лица и пьяные бредни...  
Карты... Цыганка поет.

Смехом волнуемый черным и  
громким,  
Был у нас пламенный лик.  
Свет набежал. Промелькнули по-  
темки.  
Вот он: бесстрастен и дик.

Видишь, и мне наступила на гор-  
ло,  
Душит красавица ночь...  
Краски последние смыла и стер-  
ла...  
Что ж? Если можешь, пророчь...

Ласки мои неумелы и грубы,  
Ты же – нежнее, чем май.  
Что же? Целуй в помертвелые гу-  
бы.  
Пояс печальный снимай.

7 мая 1907

### **Девушке**

Ты перед ним, что стебель гиб-  
кий,  
Он пред тобой, что лютый зверь.

*Не соблазняй его улыбкой,  
Молчи, когда стучится в дверь.*

*А если он ворвется силой,  
За дверь стань и стереги:  
Успеешь – в горнице немилрой  
Сухие стены подожги.*

*А если близок час позорный,  
Ты повернись лицом к углу,  
Свяжи узлом платок свой черный  
И в черный узел спрячь иглу.*

*И пусть игла твоя вонзится  
В ладони грубые, когда  
В его руках ты будешь биться,  
Крича от боли и стыда...*

*И пусть в угаре страсти грубой  
Он не запомнит, сгоряча,  
Твои оттиснутые зубы  
Глубоким шрамом вдоль плеча!*

*6 июня 1907*

**«Она пришла с заката...»**

*Она пришла с заката.  
Был плащ ее заколот  
Цветком нездешних стран.*

*Звала меня куда-то  
В бесцельный зимний холод  
И в северный туман.*

*И был костер в полночи.  
И пламя языками  
Лизало небеса.*

*Сияли ярко очи,  
И черными змеями  
Распуталась коса.*

*И змеи окрутили  
Мой ум, и дух высокий  
Распяли на кресте.*

*И в вихре снежной пыли  
Я верен черноокой  
Змеиной красоте.*

*8 ноября 1907*

**«Я миновал закат багряный...»**

*Я миновал закат багряный,  
Ряды строений миновал,*

*Вступил в обманы и туманы, —  
Огнями мне сверкнул вокзал...*

*Я сдавлен давкой человечьей,  
Едва не оттеснен назад...  
И вот – ее глаза и плечи,  
И черных перьев водопад...*

*Проходит в час определенный,  
За нею – карлик, шлейф влача...  
И я смотрю вослед, влюбленный,  
Как пленный раб – на палача...*

*Она проходит – и не взглянет,  
Пренебрежением казня...  
И только карлик не устанет  
Глядеть с усмешкой на меня.*

*Февраль 1908*

**«Твое лицо мне так знакомо...»**

*Твое лицо мне так знакомо,  
Как будто ты жила со мной.  
В гостях, на улице и дома  
Я вижу тонкий профиль твой.  
Твои шаги звенят за мною,  
Куда я ни войду, ты там.  
Не ты ли легкою стопою  
За мною ходишь по ночам?  
Не ты ль проскальзываешь мимо,  
Едва лишь в двери загляну,  
Полувоздушна и незрима,*

Подобна виденному сну?  
Я часто думаю, не ты ли  
Среди погоста, за гумном,  
Сидела, молча, на могиле  
В платочке ситцевом своем?  
Я приближался – ты сидела,  
Я подошел – ты отошла,  
Спустилась к речке и запела...

На голос твой колокола  
Откликнулись вечерним звоном...  
И плакал я, и робко ждал...  
Но за вечерним перезвоном  
Твой милый голос затихал...  
Еще мгновенье – нет ответа,  
Платок мелькает за рекой...  
Но знаю горестно, что где-то  
Еще увидимся с тобой.

7 августа 1908

**Из цикла «Город» (1904–1908)**  
**Последний день**

Ранним утром, когда люди лени-  
лись шевелиться,  
Серый сон предчувствуя послед-  
них дней зимы,  
Пробудились в комнате мужчина  
и блудница,



Медленно очнулись среди угарной  
тьмы.

Утро копошилось. Безднадежно до-  
горели свечи,  
Опльвиший огарок маячил в  
опльвиших глазах.  
За холодным окном дрожали  
женские плечи,  
Мужчина перед зеркалом расче-  
сывал пробор в волосах.

Но серое утро уже не обмануло:  
Сегодня была она, как смерть,  
бледна,  
Еще вечером у фонаря ее лицо  
блеснуло,  
В этой самой комнате была  
влюблена.

Сегодня безобразно повисли склад-  
ки рубашки,  
На всем был серый постылый на-  
лет.  
Углами торчала мебель, валя-  
лись окурки, бумажки,  
Всех ужасней в комнате был крас-  
ный комод.

И вдруг влетели звуки. Вербя, раз-  
дувшая почки,  
Раскачнулась под ветром, осыпая  
снег.  
В церкви ударил колокол. Распах-  
нулись форточки,  
И внизу стал слышен торопливый  
бег.

Люди суетливо выбегали за воро-  
та  
(Улицу скрывал дощатый забор).  
Мальчишки, женщины, дворники  
заметили что-то,  
Махали руками, чертя незнако-  
мый узор.

Бился колокол. Гудели крики, лай  
и ржанье.  
Там, на грязной улице, где люди  
собрались,  
Женщина-блудница – от ложа  
пьяного желанья —  
На коленях, в рубашке, поднимала  
руки ввысь...

Высоко – над домами – в тумане  
снежной бури,

На месте полуденных туч и полу-  
нощных звезд,  
Розовым зигзагом в разверстой  
лазури  
Тонкая рука распластала тонкий  
крест.

3 февраля 1904

**Петр**

Евг. Иванову

Он спит, пока закат румян.  
И сонно розовеют латы.  
И с тихим свистом сквозь туман  
Глядится Змей, копытом сжа-  
тый.

Сойдут глухие вечера,  
Змей расклубится над домами.  
В руке протянутой Петра  
Запляшет факельное пламя.

Зажгутся нити фонарей,  
Блеснут витрины и тротуары.  
В мерцаньи тусклых площадей  
Потянутся рядами пары.

Плащами всех укроет мгла,

*Потонет взгляд в манящем  
взгляде.*

*Пускай невинность из угла  
Протяжно молит о пощаде!*

*Там, на скале, веселый царь  
Взмахнул зловонное кадило,  
И ризой городская гарь  
Фонарь манящий облачила!*

*Бегите все на зов! на лов!  
На перекрестки улиц лунных!  
Весь город полон голосов  
Мужских – крикливых, женских –  
струнных!*

*Он будет город свой беречь,  
И, заалев перед денницей,  
В руке простертой вспыхнет меч  
Над затихающей столицей.*

*22 февраля 1904*

**«Вечность бросила в город...»**

*Вечность бросила в город  
Оловянный закат.  
Край небесный распорот,  
Переулки гудят.*

Все бессилье гаданья  
У меня на плечах.  
В окнах фабрик – преданья  
О разгульных ночах.

Оловянные кровли —  
Всем безумным приют.  
В этот город торговли  
Небеса не сойдут.

Этот воздух так гулок,  
Так заманчив обман.  
Уводи, переулок,  
В дымно-сизый туман...

26 июня 1904

### **«Город в красные пределы...»**

Город в красные пределы  
Мертвый лик свой обратил,  
Серо-каменное тело  
Кровью солнца окатил.

Стены фабрик, стекла окон,  
Грязно-рыжее пальто,  
Развевающийся локон —  
Все закатом залито.

Блещут искристые гривы

*Золотых, как жар, коней,  
Мчатся бешеные дива  
Жадных облачных грудей,*

*Красный дворник плещет ведра  
С пьяно-алою водой,  
Пляшут огненные бедра  
Проститутки площадной,*

*И на башне колокольной  
В гулкий пляс и медный зык  
Кажет колокол раздольный  
Окровавленный язык.*

*28 июня 1904*

**«В кабаках, в переулках, в извивах...»**

*В кабаках, в переулках, в извивах,  
В электрическом сне наяву  
Я искал бесконечно красивых  
И бессмертно влюбленных в мол-  
ву.*

*Были улицы пьяны от криков.  
Были солнца в сверканьи витрин.  
Красота этих женственных ли-  
ков!  
Эти гордые взоры мужчин!*

*Это были цари – не скитальцы!  
Я спросил старика у стены:  
«Ты украсил их тонкие пальцы  
Жемчугами несметной цены?»*

*Ты им дал разноцветные шубки?  
Ты зажег их снопами лучей?  
Ты раскрасил пунцовые губки,  
Синеватые дуги бровей?»*

*Но старик ничего не ответил,  
Отходя за толпою мечтать.  
Я остался, таинственно светел,  
Эту музыку блеска впивать...*

*А они проходили все мимо,  
Смутно каждая в сердце тая,  
Чтоб навеки, ни с кем не сравни-  
мой,  
Отлететь в голубые края.*

*И мелькала за парюю пара...  
Ждал я Светлого Ангела к нам,  
Чтобы здесь, в ликованьи тро-  
туара,  
Он одну приобщиц небесам...*

*А вверху – на уступе опасном —*

*Тихо съезжившись, карлик приник,  
И казался нам знаменем красным  
Распластавшийся в небе язык.*

*Декабрь 1904*

### **Песенка**

*Она поет в печной трубе.  
Ее веселый голос тонок.  
Мгла опочила на тебе.  
За дверью плачет твой ребенок.*

*Весна! весна! Как воздух пуст!  
Как вечер непомерно скуден!  
Вон – тощей вербы голый куст —  
Унылый призрак долгих буден.*

*Вот вечер кутает окно  
Сплошными белыми тенями.  
Мое лицо освещено  
Твоими страшными глазами.*

*Но не боюсь смотреть в упор,  
В душе – бездумность и беспеч-  
ность!  
Там – вихрем разметен костер,  
Но искры улетели в вечность...*

*Глаза горят, как две свечи.*



*О чем она тоскует звонко?  
Пойдем. Не то пронзят ребенка  
Безумных глаз твоих мечи.*

*9 апреля 1905*

**«Я вам поведал неземное...»**

*Я вам поведал неземное.  
Я все сковал в воздушной мгле.  
В ладье – топор. В мечте – герои.  
Так я причаливал к земле.*

*Скамья ладьи красна от крови  
Моей растерзанной мечты,  
Но в каждом доме, в каждом кро-  
ве  
Ищу отважной красоты.*

*Я вижу: ваши девы слепы,  
У юношей безогнен взор.  
Назад! Во мглу! В глухие склепы!  
Вам нужен бич, а не топор!*

*И скоро я расстанусь с вами,  
И вы увидите меня  
Вон там, за дымными горами,  
Летящим в облаке огня!*

*16 апреля 1905*

## Невидимка

Веселье в ночном кабаке.  
Над городом синяя дымка.  
Под красной зарей вдалеке  
Гуляет в полях Невидимка.

Танцует над топью болот,  
Кольцом окружающих дома,  
Протяжно зовет и поет  
На голос, на голос знакомый.

Вам сладко вздыхать о любви,  
Слепые, продажные твари?  
Кто небо запачкал в крови?  
Кто вывесил красный фонарик?

И воеет, как брошенный пес,  
Мяучит, как сладкая кошка,  
Пучки вечеряющих роз  
Швыряет блудницам в окошко...

И ломится в черный притон  
Ватага веселых и пьяных,  
И каждый во мглу увлечен  
Толпой проституток румяных...

В тени гробовой фонари,  
Смолкает над городом грохот...

*На красной полоске зари  
Беззвучный качается хохот...*

*Вечерняя надпись пьяна  
Над дверью отворенной в лавку.  
Вмешалась в безумную давку  
С расплеснутой чашей вина  
На Звере Багряном – Жена.*

*16 апреля 1905*

### **МИТИНГ**

*Он говорил умно и резко,  
И тусклые зрачки  
Метали прямо и без блеска  
Слепые огоньки.*

*А снизу устремлялись взоры  
От многих тысяч глаз,  
И он не чувствовал, что скоро  
Пробьет последний час.*

*Его движенья были верны,  
И голос был суров,  
И борода качалась мерно  
В такт запыленных слов.*

*И серый, как ночные своды,  
Он знал всему предел.*

Цепями тягостной свободы  
Уверенно гремел.

Но те, внизу, не понимали  
Ни чисел, ни имен,  
И знаком долга и печали  
Никто не заклеял.

И тихий ропот поднял руку,  
И дрогнули огни.  
Пронесся шум, подобный звуку  
Упавшей головни.

Как будто свет из мрака брызнул,  
Как будто был намек...  
Толпа проснулась. Дико взвизгнул  
Пронзительный свисток.

И в звоны стекол перебитых  
Ворвался стон глухой,  
И человек упал на плиты  
С разбитой головой.

Не знаю, кто ударом камня  
Убил его в толпе,  
И струйка крови, помню ясно,  
Осталась на столбе.

Еще свистки ломали воздух,  
И крик еще стоял,  
А он уж лег на вечный отдых  
У входа в шумный зал...

Но огонек блеснул у входа...  
Другие огоньки...  
И звонко брякнули у свода  
Взведенные курки.

И промелькнуло в беглом свете,  
Как человек лежал,  
И как солдат ружье над мерт-  
вым  
Наперевес держал.

Черты лица бледней казались  
От черной бороды,  
Солдаты, молча, собирались  
И строились в ряды.

И в тишине, внезапно вставшей,  
Был светел круг лица,  
Был тихий Ангел пролетающий,  
И радость – без конца.

И были строги и спокойны  
Открытые зрачки,

*Над ними вытянулись стройно  
Блестящие штывы.*

*Как будто, спрятанный у входа  
За черной пастью дул,  
Ночным дыханием свободы  
Уверенно вздохнул.*

*10 октября 1905*

**«Вися над городом всемирным...»**

*Вися над городом всемирным,  
В пыли прошедшей заточен,  
Еще монарха в утре лирном  
Самодержавный клонит сон.*

*И предок царственно-чугунный  
Все так же бредит на змее,  
И голос черни многострунный  
Еще не властен на Неве.*

*Уже на домах веют флаги,  
Готовы новые птенцы,  
Но тихи струи невской влаги,  
И слепы темные дворцы.*

*И, если лик свободы явлен,  
То прежде явлен лик змеи,  
И ни один сустав не сдавлен*

Сверкнувших колец чешуи.

18 октября 1905

**«Твое лицо бледней, чем было...»**

*Твое лицо бледней, чем было  
В тот день, когда я подал знак,  
Когда, замедлив, торопила  
Ты легкий, предвечерний шаг.*

*Вот я стою, всему покорный,  
У немерцающей стены.  
Что сердце? Свиток чудотвор-  
ный,  
Где страсть и горе сочтены!*

*Поверь, мы оба небо знали:  
Звездой кровавой ты текла,  
Я измерял твой путь в печали,  
Когда ты падать начала.*

*Мы знали знаньем несказанным  
Одну и ту же высоту  
И вместе пали за туманом,  
Чертя уклонную черту.*

*Но я нашел тебя и встретил  
В неосвященных воротах,  
И этот взор – не меньше светел,*

*Чем был в туманных высотах!*

*Комета! Я прочел в светилах  
Всю повесть раннюю твою,  
И лживый блеск созвездий милых  
Под черным шелком узнаю!*

*Ты путь свершаешь предо мною,  
Уходишь в тени, как тогда,  
И то же небо за тобою,  
И шлейф влачишь, как та звезда!*

*Не медли, в темных тѐнях кро-  
ясь,  
Не бойся вспомнить и взглянуть.  
Серебряный твой узкий пояс —  
Сужденный магу млечный путь.*

*Март 1906*

### **Незнакомка**

*По вечерам над ресторанами  
Горячий воздух дик и глух,  
И правит окриками пьяными  
Весенний и тлетворный дух.*

*Вдали, над пылью переулочной,  
Над скукой загородных дач,  
Чуть золотится крендель булоч-*



ной,  
И раздаётся детский плач.

И каждый вечер, за шлагбаумами,  
Заламывая котелки,  
Среди канав гуляют с дамами  
Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины,  
И раздаётся женский визг,  
А в небе, ко всему приученный,  
Бессмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг единствен-  
ный  
В моем стакане отражен  
И влагой терпкой и таинствен-  
ной,  
Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков  
Лакеи сонные торчат,  
И пьяницы с глазами кроликов  
«In vino veritas!» кричат.

И каждый вечер, в час назначен-  
ный  
(Иль это только снится мне?),

*Девичий стан, шелками схвачен-  
ный,  
В туманном движется окне.*

*И медленно, пройдя меж пьяны-  
ми,  
Всегда без спутников, одна,  
Дыша духами и туманами,  
Она садится у окна.*

*И веют древними поверьями  
Ее упругие шелка,  
И шляпа с траурными перьями,  
И в кольцах узкая рука.*

*И странной близостью закован-  
ный  
Смотрю за темную вуаль,  
И вижу берег очарованный  
И очарованную даль.*

*Глухие тайны мне поручены,  
Мне чье-то солнце вручено,  
И все души моей излучины  
Пронзило терпкое вино.*

*И перья страуса склоненные  
В моем качаются мозгу,*

*И очи синие бездонные  
Цветут на дальнем берегу.*

*В моей душе лежит сокровище,  
И ключ поручен только мне!  
Ты, право, пьяное чудовище!  
Я знаю: истина в вине.*

*24 апреля 1906. Озерки*

**«Там дамы щеголяют модами...»**

*Там дамы щеголяют модами,  
Там всякий лицеист остер —  
Над скукой дач, над огородами,  
Над пылью солнечных озер.*

*Туда манит перстами алыми  
И дачников волнует зря  
Над запыленными вокзалами  
Недостижимая заря.*

*Там, где скучаю так мучительно,  
Ко мне приходит иногда  
Она – бесстыдно упоительна  
И унизительно горда.*

*За толстыми пивными кружка-  
ми,  
За сном привычной суеты*

Сквозит вуаль, покрытый мушкетерами,  
Глаза и мелкие черты.

Чего же жду я, очарованный  
Моей счастливою звездой,  
И оглушенный и взволнованный  
Вином, зарею и тобой?

Вздыхая древними поверьями,  
Шелками черными шумна,  
Под шлемом с траурными перьями  
И ты вином оглушена?

Средь этой пошлости таинственной,  
Скажи, что́ делать мне с тобой  
—  
Недостижимой и единственной,  
Как вечер дымно-голубой?

28 апреля 1911

### **«Передвечернею порою...»**

Передвечернею порою  
Сходил я в сумерки с горы,  
И вот передо мной – за мглою —  
Черты печальные сестры.

Она идет неслышным шагом,  
За нею шевелится мгла,  
И по долинам, по оврагам  
Вздыхают груди без числа.

«Сестра, откуда в дождь и холод  
Идешь с печальной толпой,  
Кого бичами выгнал голод  
В могилы жизни кочевой?»

Вот подошла, остановилась  
И факел подняла во мгле,  
И тихим светом озарилось  
Все, что незримо на земле.

И там, в канавах придорожных,  
Я, содрогаясь, разглядел  
Черты мучений невозможных  
И корчи ослабевших тел.

И вновь опущен факел душный,  
И, улыбаясь мне, прошла —  
Такой же дымной и воздушной,  
Как окружающая мгла.

Но я запомнил эти лица  
И тишину пустых орбит,  
И обреченных вереница

*Передо мной всегда стоит.*

*Сентябрь 1906*

### **Холодный день**

*Мы встретились с тобою в храме  
И жили в радостном саду,  
Но вот зловонными дворами  
Пошли к проклятью и труду.*

*Мы миновали все ворота  
И в каждом видели окне,  
Как тяжело лежит работа  
На каждой согнутой спине.*

*И вот пошли туда, где будем  
Мы жить под низким потолком,  
Где прокляли друг друга люди,  
Убитые своим трудом.*

*Стараясь не запачкать платья,  
Ты шла меж спящих на полу;  
Но самый сон их был проклятье,  
Вон там – в заплеванном углу...*

*Ты обернулась, заглянула  
Доверчиво в мои глаза...  
И на щеке моей блеснула,  
Скатилась пьяная слеза.*

Нет! Счастье – праздная забота,  
Ведь молодость давно прошла.  
Нам скоротает век работа,  
Мне – молоток, тебе – игла.

Сиди, да шей, смотри в окошко,  
Людей повсюду гонит труд,  
А те, кому трудней немножко,  
Те песни длинные поют.

Я близ тебя работать стану,  
Авось, ты не припомнишь мне,  
Что я увидел дно стакана,  
Топя отчаянье в вине.

Сентябрь 1906

### **Окна во двор**

Одна мне осталась надежда:  
Смотреться в колодезь двора.  
Светает. Белеет одежда  
В рассеянном свете утра.

Я слышу – старинные речи  
Проснулись глубоко на дне.  
Вон теплятся желтые свечи,  
Забывшие в чьем-то окне.

Голодная кошка прижалась

У желоба утренних крыш.  
Заплакать – одно мне осталось,  
И слушать, как мирно ты спишь.

Ты спишь, а на улице тихо,  
И я умираю с тоски,

И злое, голодное Лихо  
Упорно стучится в виски...

Эй, малый, взгляни мне в оконце!..  
Да нет, не заглянешь – пройдешь.  
Совсем я на зимнее солнце,  
На глупое солнце похож.

Октябрь 1906

## **Пожар**

Понеслись, блеснули в очи  
Огневые языки,  
Золотые брызги ночи,  
Городские мотыльки.

Зданье дымом затянуло,  
Толпы темные текут...  
Но вдали несутся гулы,  
Светы новые бегут...

Крики брошены горстями



Золотых монет.  
Над вспененными конями  
Факел стелет красный свет.

И, крутя живые спицы,  
Мчатся вихрем колесницы,  
Впереди – скакун с трубой  
Над испуганной толпой.

Скок по камню тяжело звонок,  
Голос хриплой меди тонок,  
Расплеснулась, широка,  
Гулкой улицы река.

На блистательные шлемы  
Каплет снежная роса...  
Дети ночи черной – где мы?..  
Чьи взывают голоса?..

Нет, опять погаснут зданья,  
Нет, опять он обманул, —  
Отдаленного восстанья  
Надвигающийся гул...

Декабрь 1906

### **Клеопатра**

Открыт паноптикум печальный  
Один, другой и третий год.

Толпою пьяной и нахальной  
Спешим... В гробу царица ждет.

Она лежит в гробу стеклянном,  
И не мертва и не жива,  
А люди шепчут неустанно  
О ней бесстыдные слова.

Она раскинулась лениво —  
Навек забыть, навек уснуть...  
Змея легко, неторопливо  
Ей жалит восковую грудь...

Я сам, позорный и продажный,  
С кругами синими у глаз,  
Пришел взглянуть на профиль  
важный,  
На воск, открытый напоказ...

Тебя рассматривает каждый,  
Но, если б гроб твой не был пуст,  
Я услышал бы не однажды  
Надменный вздох истлевших уст:

«Кадите мне. Цветы рассыпьте.  
Я в незапамятных веках  
Была царицею в Египте.  
Теперь — я воск. Я тлен. Я прах».

*«Царица! Я пленен тобою!  
Я был в Египте лишь рабом,  
А ныне суждено судьбою  
Мне быть поэтом и царем!*

*Ты видишь ли теперь из гроба,  
Что Русь, как Рим, пьяна тобой?  
Что я и Цезарь – будем оба  
В веках равны перед судьбой?»*

*Замолк. Смотрю. Она не слышит.  
Но грудь колышется едва  
И за прозрачной тканью дышит...  
И слышу тихие слова:*

*«Тогда я исторгала грозы,  
Теперь исторгну жгучей всех  
У пьяного поэта – слезы,  
У пьяной проститутки – смех».*

*16 декабря 1907*

**Из цикла «Снежная маска» (1907)  
Снежное вино**

*И вновь, сверкнув из чаши винной,  
Ты поселила в сердце страх  
Своей улыбкою невинной  
В тяжелозмейных волосах.*

*Я опрокинут в темных струях  
И вновь вдыхаю, не любя,  
Забывший сон о поцелуях,  
О снежных вьюгах вокруг тебя.*

*И ты смеешься дивным смехом,  
Змеишься в чаше золотой,  
И над твоим собольим мехом  
Гуляет ветер голубой.*

*И как, глядясь в живые струи,  
Не увидать себя в венце?  
Твои не вспомнить поцелуи  
На запрокинутом лице?*

*29 декабря 1906*

### **Второе крещение**

*Открыли дверь мою метели,  
Застыла горница моя,  
И в новой снеговой купели  
Крещен вторым крещеньем я.*

*И в новый мир вступаю, знаю,  
Что люди есть, и есть дела.  
Что путь открыт наверно к раю  
Всем, кто идет путями зла.*

*Я так устал от ласк подруги*

На застывающей земле.  
И драгоценный камень вьюги  
Сверкает льдиной на челе.

И гордость нового крещенья  
Мне сердце обратила в лед.  
Ты мне сулишь еще мгновенья?  
Пророчишь, что весна придет?

Но посмотри, как сердце радо!  
Заграждена снегами твердь.  
Весны не будет, и не надо:  
Крещеньем третьим будет –  
Смерть.

3 января 1907

## **Влюбленность**

и опять твой сладкий сумрак,  
влюбленность.  
И опять: «Навеки. Опустит глаза  
твои».  
И дней туманность, и ночная бес-  
сонность,  
И вдали, в волнах, вдали – проле-  
тевшие ладьи.

И чему-то над равнинами снеж-  
ными

Улыбнувшаяся задумчиво заря.  
И ты, осенившая крылами бело-  
снежными  
На вечный покой отходящего ца-  
ря.

Ангел, гневно брови изламываю-  
щий,  
Два луча – два меча скрестил в  
вышине.  
Но в гневах стали звенящей и па-  
дающей  
Твоя улыбка струится во мне.

4 января 1907

### **В углу дивана**

Но в камине дозвенели  
Угольки.

За окошком догорели  
Огоньки.

И на вьюжном море тонут  
Корабли.

И над южным морем стонут  
Журавли.

*Верь мне, в этом мире солнца  
Больше нет.*

*Верь лишь мне, ночное сердце,  
Я – поэт!*

*Я, какие хочешь, сказки  
Расскажу*

*И, какие хочешь, маски  
Приведу.*

*И пройдут любые тени  
При огне,*

*Странных очерки видений  
На стене.*

*И любой колени склонит  
Пред тобой...*

*И любой цветок уронит  
Голубой...*

*9 января 1907*

### **На снежном костре**

*И взвился костер высокий  
Над распятым на кресте.*

Равнодушны, снежнооки,  
Ходят ночи в высоте.

Молодые ходят ночи,  
Сестры-пряхи снежных зим,  
И глядят, открывши очи,  
Завивают белый дым.

И крылатыми очами  
Нежно смотрит высота.  
Вейся, легкий, вейся, пламень,  
Увивайся вокруг креста!

В снежной маске, рыцарь милый,  
В снежной маске ты гори!  
Я ль не пела, не любила,  
Поцелуев не дарила  
От зари и до зари?

Будь и ты моей любовью,  
Милый рыцарь, я стройна,  
Милый рыцарь, снежной кровью  
Я была тебе верна.

Я была верна три ночи,  
Завивалась и звала,  
Я дала глядеть мне в очи,  
Крылья легкие дала...



Так гори, и яр и светел,  
Я же – легкою рукой  
Размету твой легкий пепел  
По равнине снеговой.

13 января 1907

**Из цикла «Фаина» (1906–1908)**

**«Я в дольний мир вошла, как в ложу...»**

*Н. Н. В.*

*Я в дольний мир вошла, как в ложу.*

*Театр взволнованный погас.  
И я одна лишь мрак тревожу  
Живым огнем крылатых глаз.*

*Они поют из темной ложи:  
«Найди. Люби. Возьми. Умчи».  
И все, кто властен и ничтожен,  
Опустят предо мной мечи.*

*И все придут, как волны в море,  
Как за грозой идет гроза.  
Пылайте, траурные зори,  
Мои крылатые глаза!*

*Взор мой – факел, к высям кинут,  
Словно в небо опрокинут*

Кубок темного вина!  
Тонкий стан мой шелком схвачен.  
Темный жребий вам назначен,  
Люди! Я стройна!

Я – звезда мечтаний нежных,  
И в венце метелей снежных  
Я плыву, скользя...  
В серебре метелей кроюсь,  
Ты горюшь, мой узкий пояс —  
Млечная стезя!

1 января 1907

**«Ушла. Но гиацинты ждали...»**

Ушла. Но гиацинты ждали,  
И день не разбудил окна,  
И в легких складках женской ша-  
ли  
Цвела ночная тишина.

В косых лучах вечерней пыли,  
Я знаю, ты придешь опять  
Благоуханьем нильских лилий  
Меня пленять и опьянять.

Мне слабость этих рук знакома,  
И эта шепчущая речь,  
И стройной талии истома,

*И матовость покатых плеч.*

*Но в имени твоём – безмерность,  
И рыжий сумрак глаз твоих  
Таит змеиную неверность  
И ночь преданий грозových.*

*И, миру дольнему подвластна,  
Меж всех – не знаешь ты одна,  
Каким раденьям ты причастна,  
Какою верой крещена.*

*Войди, своей не зная воли,  
И, добрая, в глаза взгляни,  
И темным взором острой боли  
Живое сердце полосни.*

*Вползи ко мне змеей ползучей,  
В глухую полночь оглуши,  
Устами томными замучай,  
Косою черной задуши.*

*31 марта 1907*

## **Осенняя любовь**

### **1**

*Когда в листве сырой и ржавой  
Рябины заалет гроздь,  
Когда палач рукой костлявой*

*Вобьет в ладонь последний гвоздь,*

*Когда над рябью рек свинцовой,  
В сырой и серой высоте,*

*Пред ликом родины суровой  
Я закачаюсь на кресте, —*

*Тогда – просторно и далеко  
Смотрю сквозь кровь предсмерт-  
ных слез,  
И вижу: по реке широкой  
Ко мне плывет в челне Христос.*

*В глазах – такие же надежды,  
И то же рубище на нем.  
И жалко смотрит из одежды  
Ладонь, пробитая гвоздем.*

*Христос! Родной простор печален!  
Изнемогаю на кресте!  
И челн твой – будет ли причален  
К моей распятой высоте?*

## **2**

*И вот уже ветром разбиты, убиты*

Кусты облетелой ракиты.

И прахом дорожным  
Угрюмая старость легла на лани-  
тах.

Но в темных орбитах  
Взглянули, сверкнули глаза невоз-  
можным.

И радость, и слава —  
Все в этом сияньи бездонном  
И дальнем.

Но смятые травы  
Печальны,  
И листья крутятся в лесу обна-  
женном...

И снится, и снится, и снится:  
Бывалое солнце!  
Тебя мне все жальче и жальче...

О, глупое сердце,  
Смеющийся мальчик,  
Когда перестанешь ты биться?

### 3

Под ветром холодные плечи

Твои обнимать так отрадно:  
Ты думаешь – нежная ласка,  
Я знаю – восторг мятежа!

И теплятся очи, как свечи  
Ночные, и слушаю жадно —  
Шевелится страшная сказка,  
И звездная дышит межа...

О, в этот сияющий вечер  
Ты будешь все так же прекрасна,  
И, верная темному раю,  
Ты будешь мне светлой звездой!

Я знаю, что холоден ветер,  
Я верю, что осень бесстрастна!  
Но в темном плаще не узнают,  
Что ты пировала со мной!..

И мчимся в осенние дали,  
И слушаем дальние трубы,  
И мерим ночные дороги,  
Холодные выси мои...

Часы торжества миновали —  
Мои опьяненные губы  
Целуют в предсмертной тревоге  
Холодные губы твои.

3 октября 1907

**«В те ночи светлые, пустые...»**

*В те ночи светлые, пустые,  
Когда в Неву глядят мосты,  
Они встречались, как чужие,  
Забыв, что есть простое ты.*

*И каждый был красив и молод,  
Но, окрыляясь пустотой,  
Она таила странный холод  
Под одичалой красотой.*

*И, сердцем вечно строгим мера,  
Он не умел, не мог любить.  
Она любила только зверя  
В нем раздражить – и укротить.*

*И чуждый – чуждой жал он руки,  
И север сам, спеша помочь  
Красивой нежности и скуке,  
В день превращал живую ночь.*

*Так, в светлоте ночной пустыни,  
В объятья ночи не спеша,  
Гляделась в купол бледно-синий  
Их обреченная душа.*

10 октября 1907

## Снежная дева

*Она пришла из дикой дали —  
Ночная дочь иных времен.  
Ее родные не встречали,  
Не просиял ей небосклон.*

*Но сфинкса с выщербленным ли-  
цом  
Над исполинскою Невой  
Она встречала легким вскриком  
Под бурей ночи снеговой.*

*Бывало, вьюга ей осыплет  
Звездами плечи, грудь и стан, —  
Все снится ей родной Египет  
Сквозь тусклый северный туман.*

*И город мой железно-серый,  
Где ветер, дождь, и зыбь, и мгла,  
С какой-то непонятной верой  
Она, как царство, приняла.*

*Ей стали нравиться громады,  
Уснувшие в ночной глуши,  
И в окнах тихие лампы  
Слились с мечтой ее души.*

*Она узнала зыбь и дымы,*



Огни, и мраки, и дома —  
Весь город мой непостижимый —  
Непостижимая сама.

Она дарит мне перстень вьюги  
За то, что плащ мой полон звезд,  
За то, что я в стальной кольчуге,  
И на кольчуге – строгий крест.

Она глядит мне прямо в очи,  
Хваля неробкого врага.  
С полей ее холодной ночи  
В мой дух врываются снега.

Но сердце Снежной Девы немо  
И никогда не примет меч,  
Чтобы ремень стального шлема  
Рукою страстною рассечь.

И я, как вождь враждебной рати,  
Всегда закованный в броню,  
Мечту торжественных объятий  
В священном трепете храню.

17 октября 1907

## **Заклятие огнем и мраком**

За все, за все тебя благодарю я:  
За тайные мучения страстей,

За горечь слез, отраву поцелуя,  
За месть врагов и клевету друзей;  
За жар души, растраченный в пусты-  
не.

Лермонтов

1

О, весна без конца и без краю —  
Без конца и без краю мечта!  
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!  
И приветствую звоном щита!

Принимаю тебя, неудача,  
И удача, тебе мой привет!  
В заколдованной области плача,  
В тайне смеха – позорного нет!

Принимаю бессонные споры,  
Утро в завесах темных окна,  
Чтоб мои воспаленные взоры  
Раздражала, пьянила весна!

Принимаю пустынные веси  
И колодцы земных городов!  
Осветленный простор поднебесий  
И томления рабских трудов!

И встречаю тебя у порога —

С буйным ветром в змеиных  
кудрах,  
С неразгаданным именем Бога  
На холодных и сжатых губах...

Перед этой враждующей встречей  
Никогда я не брошу щита...  
Никогда не откроешь ты плечи...  
Но над нами – хмельная мечта!

И смотрю, и вражду измеряю,  
Ненавидя, кляня и любя:  
За мученья, за гибель – я знаю —  
Все равно: принимаю тебя!

24 октября 1907

## 2

Приваливший мир, как звонкий дар,  
Как злата горсть, я стал богат.  
Смотрю: растет, шумит пожар  
—  
Глаза твои горят.

Как стало жутко и светло!  
Весь город – яркий сноп огня,  
Река – прозрачное стекло  
И только – нет меня...

Я здесь, в углу. Я там, распят.  
Я пригвожден к стене – смотри!  
Горят глаза твои, горят,  
Как черных две зари!

Я буду здесь. Мы все сгорим:  
Весь город мой, река, и я...  
Крести крещеньем огневым  
О, милая моя!

26 октября 1907

### 3

Я неверную встретил у входа:  
Уронила платок – и одна.  
Никого. Только ночь и свобода.  
Только жутко стоит тишина.

Говорил ей несвязные речи.  
Открывал ей все тайны с людьми,  
Никому не поведал о встрече,  
Чтоб она прошептала: возьми...

Но она ускользящей птицей  
Полетела в ненастье и мрак,  
Где взвился огневой багряницей  
Засыпающий праздничный флаг.

И у светлого дома, тревожно,

*Я остался вдвоем с темнотой.  
Невозможное было возможно,  
Но возможное – было мечтой.*

*23 октября 1907*

**4**

*Перехожу от казни к казни  
Широкой полосой огня.  
Ты только невозможным драз-  
нишь,  
Немыслимым томишь меня...*

*И я, как темный раб, не смею  
В огне и мраке потонуть.  
Я только робкой тенью вею,  
Не смея в небо заглянуть...*

*Как ветер, ты целуешь жадно,  
Как осень, шлейфом шелестя,  
Храня в темнице безотрадной,  
Меня, как бедное дитя.*

*Рабом безумным и покорным  
До времени таюсь и жду  
Под этим взором, слишком чер-  
ным  
В моем пылающем бреду.*

Лишь утром смею покидать я  
Твое высокое крыльцо,  
А ночью тонет в складках пла-  
тья  
Мое безумное лицо...

Лишь утром воронам бросаю  
Свой хмель, свой сон, свою меч-  
ту...  
А ночью снова – знаю, знаю  
Твою земную красоту!

Что быть бесстрастным? Что –  
крылатым?  
Сто раз бичуй и укори,  
Чтоб только быть на миг про-  
клятым  
С тобой – в огне ночной зари!  
Октябрь 1907

## 5

Пойми же, я спутал, я спутал  
Страницы и строки стихов,  
Плащом твои плечи окутал,  
Остался с тобою без слов...

Пойми, в этом сумраке – магом  
Стою над тобою и жду

Под бьющимся праздничным фла-  
гом,  
На страже, под ветром, в бреду...

И ветер поет и пророчит  
Мне в будущем – сон голубой...  
Он хочет смеяться, он хочет,  
Чтоб ты веселилась со мной!

И розы, осенние розы  
Мне снятся на каждом шагу  
Сквозь мглу, и огни, и морозы,  
На белом, на легком снегу!

О будущем ветер не скажет,  
Не скажет осенний цветок,  
Что милая тихо развяжет  
Свой шелковый, черный платок...

Что только звенящая снится  
И душу палящая тень...  
Что сердце – летящая птица...  
Что в сердце – щемящая лень...

21 октября 1907

## 6

В бесконечной дали коридоров  
Не она ли там пляшет вдали?

Не меня ль этой музыкой споров  
От нее в этот час отвели?

Ничего вы не скажете, люди,  
Не поймете, что темен мой  
храм.  
Трепетанья, вздыхания груди  
Воспаленным открыты глазам.

Сердце – легкая птица забвений  
В золотой пролетающий час:  
То она, в опьяненьи кружений,  
Пляской тризну справляет о вас.

Никого ей не надо из скромных,  
Ей не ум и не глупость нужны,  
И не любит наверное темных,  
Прислоненных, как я, у стены...

Сердце, взвейся, как легкая птица,  
Полети ты, любовь разбуди,  
Истоми ты истомой ресницы,  
К бледно-смуглым плечам припа-  
ди!

Сердце бьется, как птица томит-  
ся —  
То вдали закружилась она —



*В легком танце, летящая птица,  
Никому, ничему не верна...*

*23 октября 1907*

**7**

*По улицам метель метет,  
Свивается, шатается.  
Мне кто-то руку подает  
И кто-то улыбается.*

*Ведет – и вижу: глубина,  
Гранитом темным сжатая.  
Течет она, поет она,  
Зовет она, проклятая.*

*Я подхожу и отхожу,  
И замер в смутном трепете:  
Вот только перейду межю —  
И буду в струйном лепете.*

*И шепчет он – не отогнать  
(И воля уничтожена):  
«Пойми: уменьем умирать  
Душа облагорожена.*

*Пойми, пойми, ты одинок,  
Как сладки тайны холода...  
Взгляни, взгляни в холодный ток,*

*Где все навеки молодо...»*

*Бегу. Пусти, проклятый, прочь!  
Не мучь ты, не испытывай!  
Уйду я в поле, в снег и в ночь,  
Забьюсь под куст ракитовый!*

*Там воля всех вольнее воль  
Не приневолит вольного,  
И болей всех больнее боль  
Вернет с пути окольного!*

*26 октября 1907*

## **8**

*О, что мне закатный румянец,  
Что злые тревоги разлук?  
Все в мире – кружащийся танец  
И встречи трепещущих рук!*

*Я бледные вижу ланиты,  
Я поступь лебязью ловлю,  
Я слушаю говор открытый,  
Я тонкое имя люблю!*

*И новые сны, залетая,  
Тревожат в усталом пути...  
А все пелена снеговая  
Не может меня занести...*

Неситесь, кружитесь, томите,  
Снежинки – холодная весть...  
Души моей тонкие нити,  
Порвитесь, развейтесь, сгорите...

Ты, холод, мой холод, мой зимний,  
В душе моей – страстное есть...  
Стань, сердце, вздыхающий схим-  
ник,  
Умрите, умрите, вы, гимны...

Вновь летит, летит, летит,  
Звенит, и снег крутит, крутит,  
Налетает вихрь  
Снежных искр...

Ты виденьем, в пляске нежной,  
Посреди подруг  
Обошла равниной снежной  
Быстротечный  
Бесконечный круг...

Слышу говор твой открытый,  
Вижу бледные ланиты,  
В ясный взор гляжу...

Все, что не скажу,  
Передам одной улыбкой...

Счастье, счастье! С нами ночь!  
Ты опять тропкою зыбкой  
Улетаешь прочь...  
Заметая, запевая,  
Стан твой гибкий  
Вихрем туча снеговая  
Обдала,  
Отняла...

И опять метель, метель  
Вьет, поет, кружит...  
Все – виденья, все – измены...  
В снежном кубке, полном пены,  
Хмель  
Звенит...  
Заверти, замчи,  
Сердце, замолчи,  
Замети девичий след —  
Смерти нет!

В темном поле  
Бродит свет!  
Горькой доле —  
Много лет...

И вот опять, опять в возвратный  
Пустилась пляс...  
Метель поет. Твой голос – внят-

ный.  
Ты понеслась  
Опять по кругу,  
Земному другу  
Сверкнув на миг...

Какой это танец? Каким это светом  
Ты дразнишь и манишь?  
В кружении этом  
Когда ты устанешь?  
Чьи песни? И звуки?  
Чего я боюсь?  
Щемящие звуки  
И – вольная Русь?..

И словно мечтанье, и словно кру-  
женье,  
Земля убегает, скрывается  
твердь,  
И словно безумье, и словно муче-  
нье,  
Забвенье и удаль, смятенье и  
смерть, —  
Ты мчишься! Ты мчишься!  
Ты бросила руки  
Вперед...  
И песня встает...

И странным сияньем сияют чер-  
ты...

Удалая пляска!

О, песня! О, удадь! О, гибель! О,  
маска...

Гармоника – ты?

1 ноября 1907

## 9

Гармоника, гармоника!

Эй, пой, визжи и жги!

Эй, желтенькие лютики,

Весенние цветки!

Там с посвистом, да с присви-  
стом

Гуляют до зари,

Кусточки тихим шелестом

Кивают мне: смотри.

Смотрю я – руки вскинула,

В широкий пляс пошла,

Цветами всех осыпала

И в песне изошла...

Неверная, лукавая,

Коварная, – пляши!

И будь навек отравою

*Растраченной души!*

*С ума сойду, сойду с ума,  
Безумствуя, люблю,  
Что вся ты – ночь, и вся ты –  
тьма,  
И вся ты – во хмелю...*

*Что душу отняла мою,  
Отравой извела,  
Что о тебе, тебе пою,  
И песням нет числа!..*

*9 ноября 1907*

## **10**

*Работай, работай, работай:  
Ты будешь с уродским горбом  
За долгой и честной работой,  
За долгим и честным трудом.*

*Под праздник – другим будет  
сладко,  
Другой твои песни поет,  
С другими лихая солдатка  
Пойдет, подбочась, в хоровод.*

*Ты знай про себя, что не хуже  
Другого плясал бы – вон как!*

Что мог бы стянуть и потуже  
Свой золотом шитый кушак!

Что ростом и станом ты вышел  
Статнее и краше других,  
Что та молодлица – повыше  
Других молодиц, удалых!

В ней сила играющей крови,  
Хоть смуглые щеки бледны,  
Тонки ее черные брови,  
И строгие речи хмельны...

Ах, сладко, как сладко, так слад-  
ко  
Работать, пока рассветет,  
И знать, что лихая солдатка  
Ушла за село, в хоровод!

26 октября 1907

## 11

И я опять затих у ног —  
У ног давно и тайно милой,  
Заносит вьюга на порог  
Пожар метели белокрылой

Но имя тонкое твое  
Твердит мне дивно, больно, слад-



ко...

И целовать твой шлейф украдкой,  
Когда метель поет, поет...

В хмельной и злой своей темнице  
Заночевало, сердце, ты,  
И тихие твои ресницы  
Смежили снежные цветы.

Как будто, на середине бега,  
Я под метелью изнемог,  
И предо мной возник из снега  
Холодный, неживой цветок...

И с тайной грустью, с грустью  
нежной,  
Как снег спадает с лепестка,  
Живое имя Девы Снежной  
Еще слетает с языка...

8 ноября 1907

### **Инок**

Никто не скажет: я безумен.  
Поклон мой низок, лик мой строг.  
Не позовет меня игумен  
В ночи на строгий свой порог.

Я грустным братьям – брат при-  
мерный,  
И рясу черную несу,  
Когда с утра, походкой верной  
Сметаю с бледных трав росу.

И, подходя ко всем иконам,  
Как строгий и смиренный брат,  
Творю поклон я за поклоном  
И за обрядами обряд.

И кто поймет, и кто узнает,  
Что ты сказала мне: молчи...  
Что воск души блаженной тает  
На ярое пламени свечи...

Что никаких молитв не надо,  
Когда ты ходишь по реке  
За монастырскою оградой  
В своем монашеском платке.

Что вот – меня цветистым хме-  
лем  
Безумно захлестнула ты,  
И потерял я счет неделям  
Моей преступной красоты.

6 ноября 1907

## Песня Фаины

Когда гляжу в глаза твои  
Глазами узкими змеи  
И руку жму, любя,

Эй, берегись! Я вся – змея!  
Смотри: я миг была твоя,  
И бросила тебя!

Ты мне постыл! Иди же прочь!  
С другим я буду эту ночь!  
Ищи свою жену!

Ступай, она разгонит грусть,  
Ласкает пусть, целует пусть,  
Ступай – бичом хлестну!

Попробуй кто, приходи в мой сад,  
Взгляни в моей черный, узкий  
взгляд,  
Сгоришь в моем саду!

Я вся – весна! Я вся – в огне!  
Не подходи и ты ко мне,  
Кого люблю и жду!

Кто стар и сед и в цвете лет,  
Кто больше звонких даст монет,

*Приди на звонкий клич!*

*Над красотой, над сединой,  
Над вашей глупой головой —  
Свисти, мой тонкий бич!*

*Декабрь 1907*

**«Всю жизнь ждала. Устала ждать..»**

*Всю жизнь ждала. Устала  
ждать.  
И улыбнулась. И склонилась.  
Волос распущенная прядь  
На плечи темные спустилась.*

*Мир не велик и не богат —  
И не глядеть бы взором черным!  
Ведь только люди говорят,  
Что надо ждать и быть покор-  
ным...*

*А здесь – какая-то свирель  
Поет надрывно, жалко, тонко:  
«Качай чужую колыбель,  
Ласкай немилого ребенка...»*

*Я тоже – здесь. С моей судьбой,  
Над лирой, гневной, как секира,  
Такой приниженный и злой,*

Торгуюсь на базарах мира...

Я верю мгле твоих волос  
И твоему великолепью.  
Мой сирый дух – твой верный пес,  
У ног твоих грохочет цепью...

И вот опять, и вот опять,  
Встречаясь с этим темным  
взглядом,  
Хочу по имени назвать,  
Дышать и жить с тобою рядом...

Мечта! Что жизни сон глухой?  
Отрава – вслед иной отраве...  
Я изменю тебе, как той,  
Не изменяя, не лукавя...

Забавно жить! Забавно знать,  
Что под луной ничто не ново!  
Что мертвому дано рождать  
Бушующее жизнью слово!

И никому заботы нет,  
Что людям дам, что ты дала  
мне:  
А люди – на могильном камне  
Начертят прозвище: Поэт.

13 января 1908

**«Когда вы стоите на моем пути...»**

*Когда вы стоите на моем пути,  
Такая живая, такая красивая,  
Но такая измученная,  
Говорите все о печальном,  
Думаете о смерти,  
Никого не любите  
И презираете свою красоту —  
Что же? Разве я обижу вас?*

*О, нет. – Ведь я не насильник,  
Не обманщик и не гордец,  
Хотя много знаю,  
Слишком много думаю с детства  
И слишком занят собой.  
Ведь я – сочинитель,  
Человек, называющий все по имени,  
Отнимающий аромат у живого  
цветка.*

*Сколько ни говорите о печальном,  
Сколько ни размышляйте о концах  
и началах,  
Все же, я смею думать,  
Что вам только пятнадцать*

лет.  
И потому я хотел бы,  
Чтобы вы влюбились в простого  
человека,  
Который любит землю и небо  
Больше, чем рифмованные и  
нерифмованные  
Речи о земле и о небе.

Право, я буду рад за вас,  
Так как – только влюбленный  
Имеет право на звание человека.

6 февраля 1908

**«Она пришла с мороза...»**

Она пришла с мороза,  
Раскрасневшаяся,  
Наполнила комнату  
Ароматом воздуха и духов,  
Звонким голосом  
И совсем неуважительной к заня-  
тиям  
Болтовней.

Она немедленно уронила на пол  
Толстый том художественного  
журнала,  
И сейчас же стало казаться,

*Что в моей большой комнате  
Очень мало места.*

*Все это было немножко досадно  
И довольно нелепо.  
Впрочем, она захотела,  
Чтобы я читал ей вслух Макбета.*

*Едва дойдя до пузырей земли,  
О которых я не могу говорить без  
волнения,  
Я заметил, что она тоже волну-  
ется  
И внимательно смотрит в окно.*

*Оказалось, что большой пестрый  
кот  
С трудом лепится по краю кры-  
ши,  
Подстерегая целующихся голубей.*

*Я рассердился больше всего на то,  
Что целовались не мы, а голуби,  
И что прошли времена Паоло и  
Франчески.*

*6 февраля 1908*

**«Я помню длительные муки...»**



*Я помню длительные муки:  
Ночь догорала за окном;  
Ее заломленные руки  
Чуть брезжили в луче дневном.*

*Вся жизнь, ненужно изжитая,  
Пытала, унижала, жгла;  
А там, как призрак возраста,  
День обозначил купола;*

*И под окошком участились  
Прохожих быстрые шаги;  
И в серых лужах расходились  
Под каплями дождя круги;*

*И утро длилось, длилось, длилось...  
И праздный тяготил вопрос;  
И ничего не разрешилось  
Весенним ливнем бурных слез.*

*4 марта 1908*

**«Своими горькими слезами...»**

*Своими горькими слезами  
Над нами плакала весна.  
Огонь мерцал за камышами,  
Дразня лихого скакуна...*

Опять звала бесчеловечным,  
Ты, отданная мне давно!..  
Но ветром буйным, ветром  
встречным  
Твое лицо опалено...

Опять – бессильно и напрасно —  
Ты отстранялась от огня...  
Но даже небо было страстно,  
И небо было за меня!..

И стало все равно, какие  
Лобзать уста, ласкать плеча,  
В какие улицы глухие  
Гнать удалого лихача...

И все равно, чей вздох, чей шепот,  
—  
Быть может, здесь уже не ты...  
Лишь скакуна неровный топот,  
Как бы с далекой высоты...

Так – сведены с ума мгновеньем —  
Мы отдавались вновь и вновь,  
Гордясь своим уничтоженьем,  
Твоим превратностям, любовь!

Теперь, когда мне звезды ближе,

*Чем та неистовая ночь,  
Когда еще безмерно ниже  
Ты пала, униженья дочь,*

*Когда один с самим собою  
Я проклиная каждый день, —  
Теперь проходит предо мною  
Твоя развенчанная тень...*

*С благоволеньем? Иль с укором?  
Иль ненавдя, мстя, скорбя?  
Иль хочешь быть мне пригово-  
ром?  
Не знаю: я забыл тебя.*

*20 ноября 1908*

**Вольные мысли (1907) (посв. Г. Чулкову)  
О смерти**

*Все чаще я по городу брожу.  
Все чаще вижу смерть – и улыба-  
юсь  
Улыбкой рассудительной. Ну, что  
же?  
Так я хочу. Так свойственно мне  
знать,  
Что и ко мне придет она в свой  
час.*

Я проходил вдоль скачек по шоссе.  
День золотой дремал на грудах  
щебня,  
А за глухим забором – ипподром  
Под солнцем зеленел. Там стебли  
злаков  
И одуванчики, раздутые весной,  
В ласкающих лучах дремали. А  
вдали  
Трибуна придавила плоской кры-  
шей  
Толпу зевак и модниц. Маленькие  
флаги  
Пестрели там и здесь. А на заборе  
Прохожие сидели и глазели.

Я шел и слышал быстрый гон ко-  
ней  
По грунту легкому. И быстрый  
топот  
Копыт. Потом – внезапный крик:  
«Упал! Упал!» – кричали на заборе,  
И я, вскочив на маленький пенек,  
Увидел все зараз: вдали летели  
Жокеи в пестром – к тонкому  
столбу.  
Чуть-чуть отстав от них, скака-  
ла лошадь

Без седока, взметая стремяна.  
А за листвою кудрявеньких бере-  
зок,  
Так близко от меня – лежал жо-  
кей,  
Весь в желтом, в зеленях весенних  
злаков,  
Упавший навзничь, обратив лицо

В глубокое ласкающее небо.  
Как будто век лежал, раскинув ру-  
ки  
И ногу подогнув. Так хорошо ле-  
жал.  
К нему уже бежали люди. Издали,  
Поблескивая медленными спица-  
ми, ландо  
Катилось мягко. Люди подбежа-  
ли  
И подняли его...

И вот повисла  
Беспомощная желтая нога  
В обтянутой рейтузе. Завалилась  
Им на плечи куда-то голова...  
Ландо подъехало. К его подушкам  
Так бережно и нежно приложили  
Цыплячью желтизну жокея. Че-

ловек  
Вскочил неловко на подножку, за-  
мер,  
Поддерживая голову и ногу,  
И важный кучер повернул назад.  
И так же медленно вертелась  
спица,  
Поблескивали козла, оси, крылья...

Так хорошо и вольно умереть.  
Всю жизнь скакал – с одной упор-  
ной мыслью,  
Чтоб первым доскакать. И на  
скаку  
Запнулась запыхавшаяся лошадь,  
Уж силой ног не удержат седла,  
И утлые взмахнулись стремяна,  
И полетел, отброшенный толч-  
ком...  
Ударился затылком о родную,  
Весеннюю, приветливую землю,  
И в этот миг – в мозгу прошли  
все мысли,  
Единственные нужные. Прошли —  
И умерли. И умерли глаза.  
И труп мечтательно глядит на-  
верх.

Так хорошо и вольно.

Однажды брел по набережной я.  
Рабочие возили с барок в тачках  
Дрова, кирпич и уголь. И река  
Была еще синей от белой пены.  
В отстегнутые ворота рубах  
Глядели загорелые тела,  
И светлые глаза привольной Руси  
Блестели строго с почерневших  
лиц.  
И тут же дети голыми ногами  
Месили груды желтого песку,  
Таскали – то кирпичик, то поле-  
но,  
То бревнышко. И прятались. А  
там  
Уже сверкали грязные их пятки,  
И матери – с отвислыми грудями  
Под грязным платьем – ждали  
их, ругались  
И, надавав затрещин, отбирали  
Дрова, кирпичики, бревешки. И та-  
щили,  
Согнувшись под тяжелой ношей,  
вдаль.  
И снова, воротясь гурьбой весе-  
лой,

Ребятки начинали воровать:  
Тот – бревнышко, другой – кирпичик...

И вдруг раздался всплеск воды и крик:

«Упал! Упал!» – опять кричали с барки.

Рабочий, ручку тачки отпустив,  
Показывал рукой куда-то в воду,  
И пестрая толпа рубах неслась  
Туда, где на траве, в камнях бу-  
льжных,  
На самом берегу – лежала сотка.  
Один тащил багор.

А между свай,  
Забитых возле набережной в воду,  
Легко покачивался человек  
В рубахе и в разорванных портках.  
Один схватил его. Другой помог,  
И длинное растянутое тело,  
С которого ручьем лилась вода,  
Втащили на берег и положили.  
Городовой, гремя о камни шаш-  
кой,  
Зачем-то щеку приложил к груди  
Намокшей и прилежно слушал,



Должно быть, сердце. Собрался  
народ,  
И каждый вновь пришедший зада-  
вал  
Одни и те же глупые вопросы:  
Когда упал, да сколько пролежал  
В воде, да сколько выпил?  
Потом все стали тихо отходить,  
И я пошел своим путем, и слушал,  
Как истовый, но выпивший рабо-  
чий  
Авторитетно говорил другим,  
Что губит каждый день людей  
вино.

Пойду еще бродить. Покуда солн-  
це,  
Покуда жар, покуда голова  
Тупа, и мысли вялы...  
Сердце!  
Ты будь вождатем моим. И  
смерть  
С улыбкой наблюдай. Само уста-  
нешь,  
Не вынесешь такой веселой жиз-  
ни,  
Какую я веду. Такой любви  
И ненависти люди не выносят,

Какую я в себе ношу.

Хочу,  
Всегда хочу смотреть в глаза  
людские,  
И пить вино, и женщин целовать,  
И яростью желаний полнить ве-  
чер,  
Когда жара мешает днем меч-  
тать  
И песни петь! И слушать в мире  
ветер!

### **Над озером**

С вечерним озером я разговор веду  
Высоким ладом песни. В тонкой  
чаще  
Высоких сосен, с выступов песча-  
ных,  
Из-за могил и склепов, где огни  
Лампад и сумрак дымно-сизый —  
Влюбленные ему я песни шлю.

Оно меня не видит – и не надо.  
Как женщина усталая, оно  
Раскинулось внизу и смотрит в  
небо,  
Туманится, и даль поит туманом

ном,  
И отняло у неба весь закат.  
Все исполняют прихоти его:  
Та лодка узкая, ласкающая гладь,  
И тонкоствольный строй сосно-  
вой рощи,  
И семафор на дальнем берегу,  
В нем отразивший свой огонь зе-  
леный,

Как раз на самой розовой воде.  
К нему ползет трехглазая змея  
Своим единственным стальным  
путем,  
И, прежде свиста, озеро доносит  
Ко мне – ее ползучий, хриплый  
шум.

Я на уступе. Надо мной – могила  
Из темного гранита. Подо мной

---

Белеющая в сумерках дорожка.  
И, кто посмотрит снизу на меня,  
Тот испугается: такой я непо-  
движный,  
В широкой шляпе, средь ночных  
могил  
Скрестивший руки, стройный и  
влюбленный в мир.

Но некому взглянуть. Внизу идут  
Влюбленные друг в друга: нет им  
дела

До озера, которое внизу,  
И до меня, который наверху.  
Им нужны человеческие вздохи,  
Мне нужны вздохи сосен и воды.  
А озеру – красавице – ей нужно,  
Чтоб я, никем не видимый, запел  
Высокий гимн о том, как ясны зор-  
ри,  
Как стройны сосны, как вольна  
душа.

Прошли все пары. Сумерки синей,  
Белей туман. И девичьего платья  
Я вижу складки легкие внизу.  
Задумчиво прошла она дорожку  
И одиноко села на ступеньки  
Могилы, не заметивши меня...

Я вижу легкий профиль. Пусть не  
знает,  
Что знаю я, о чем пришла меч-  
тать  
Тоскующая девушка... Светлеют  
Все окна дальних дач: там – само-  
вары,

И синий дым сигар, и плоский  
смех...

Она пришла без спутников сюда...  
Наверное, наверное прогонит  
Затянутого в китель офицера  
С вихляющимся задом и ногами,  
Завернутыми в трубочки шта-  
нов!

Она глядит как будто за туман-  
ны,  
За озеро, за сосны, за холмы,  
Куда-то так далеко, так далеко,  
Куда и я не в силах заглянуть...

О, нежная! О, тонкая! – И быстро  
Ей мысленно приискиваю имя:  
Будь Аделиной! Будь Марией! Тек-  
лой!

Да, Теклой!.. – И задумчиво гля-  
дит

В клубящийся туман... Ах, как  
прогонит!..

А офицер уж близко: белый ки-  
тель,

Над ним усы и пуговица-нос,  
И плоский блин, приплюснутый  
фуражкой...

Он подошел... он жмет ей руку!..  
смотрят  
Его гляделки в ясные глаза!..  
Я даже выдвинулся из-за склепа...  
И вдруг... протяжно чмокает ее,  
Дает ей руку и ведет на дачу!

Я хохочу! Взбегаю вверх. Бросаю  
В них шишками, песком, визжу,  
пляшу  
Среди могил – незримый и высо-  
кий...  
Кричу: «Эй, Фекла! Фекла!» – И они  
Испуганы, сконфужены, не знают,  
Откуда шишки, хохот и песок...  
Он ускоряет шаг, не забывая  
Вихлять проворно задом, и она,  
Прижавшись крепко к кителю, по-  
чти  
Бегом бежит за ним...

Эй, доброй ночи!  
И, выбегая на крутой обрыв,  
Я отражаюсь в озере... Мы видим  
Друг друга: «Здравствуй!» – я кри-  
чу...  
И голосом красавицы – леса  
Прибрежные отвечают мне:

«Здравствуй!»

Кричу: «Прощай!» – они кричат:  
«Прощай!»

Лишь озеро молчит, влача туманы,

Но явственно на нем отражены  
И я и все союзники мои:

Ночь белая, и Бог, и твердь, и сосны...

И белая задумчивая ночь

Несет меня домой. И ветер свищет

В горячее лицо. Вагон летит...

И в комнате моей белеет утро.

Оно на всем: на книгах и столах,

И на постели, и на мягком кресле,

И на письме трагической актрисы:

«Я вся усталая. Я вся больная.

Цветы меня не радуют. Пишите...

Простите и сожгите этот бред...».

И томные слова... И длинный почерк,

Усталый, как ее усталый шлейф...

*И томностью пылающие буквы,  
Как яркий камень в черных воло-  
сах.*

*Шувалово*

## **В Северном море**

*Что сделали из берега морского  
Гуляющие модницы и франты?  
Наставили столов, дымят, жу-  
ют,  
Пьют лимонад. Потом бредут по  
пляжу,  
Угрюмо хохоча и заражая  
Соленый воздух сплетнями. По-  
том  
Погонщики вывозят их в кибит-  
ках,  
Кокетливо закрытых парусиной,  
На мелководье. Там, переменив  
Забавные тальеры и мундиры  
На легкие купальные костюмы,  
И дряблость мускулов и груди  
обнажив,  
Они, визжа, влезают в воду. Ша-  
рят  
Неловкими ногами дно. Кричат,  
Стараясь показать, что веселят-  
ся.*



А там – закат из неба сотворил  
Глубокий многоцветный кубок.  
Руки  
Одна заря закинула к другой,  
И сестры двух небес прядут один

---

То розовый, то голубой туман.  
И в море утопающая туча  
В предсмертном гневе мечет из  
очей  
То красные, то синие огни.

И с длинного, протянутого в мо-  
ре,  
Подгнившего, сереющего мола,  
Прочтя все надписи: «Навек с то-  
бой».  
«Здесь были Коля с Катей». «Дио-  
дор  
Иеромонах и послушник Исидор  
Здесь были. Дивны Божии дела», —  
Прочтя все надписи, выходим в  
море  
В пузатой и смешной моторной  
лодке.

Бензин пыхтит и пахнет. Два  
крыла

Бегут в воде за нами. Вьется  
быстрый след,  
И, обогнув скучающих на пляже,  
Рыбачьи лодки, узкий мыс, маяк,  
Мы выбегаем многоцветной ря-  
бью  
В просторную ласкающую соль.

На горизонте, за спиной, далеко  
Безмолвным заревом стоит по-  
жар.  
Рыбачий «Вольный» остров рас-  
простерт  
В воде, как плоская спина морско-  
го  
Животного. А впереди, вдали —  
Огни судов и сноп лучей бродячих  
Прожектора таможенного суд-  
на.  
И мы уходим в голубой туман.  
Косым углом торчат над морем  
вехи,  
Метелками фарватер оградив,  
И далеко – от вехи и до вехи —  
Рыбачьих шхун маячат паруса...

Над морем – штиль. Под всеми  
парусами

Стоит красавица – морская яхта.  
На тонкой мачте – маленький  
фонарь,  
Что камень драгоценной феронье-  
ры,  
Горит над матовым челом небес.

На острогрудой, в полной тиши-  
не,  
В причудливых сплетениях сна-  
стей,  
Сидят, скрестивши руки, люди в  
светлых  
Панамах, сдвинутых на строгие  
черты.  
А посреди, у самой мачты, молча,  
Стоит матрос, весь темный, и  
глядит.

Мы огибаем яхту, как прилично,  
И вежливо и тихо говорит  
Один из нас: «Хотите на буксир?»  
И с важной простотой нам отве-  
чает  
Суровый голос: «Нет. Благодарю».

И, снова обогнув их, мы глядим  
С молитвенной и полной душою

На тихо уходящий силуэт  
Красавицы под всеми парусами...  
На драгоценный камень феронье-  
ры,  
Горящий в смуглых сумерках че-  
ла.

Сестрорецкий курорт

## **В дюнах**

Я не люблю пустого словаря  
Любовных слов и жалких выраже-  
ний:  
«Ты мой». «Твоя». «Люблю». «Наве-  
ки твой».  
Я рабства не люблю. Свободным  
взором  
Красивой женщине смотрю в гла-  
за  
И говорю: «Сегодня ночь. Но зав-  
тра —  
Сияющий и новый день. Приди.  
Бери меня, торжественная  
страсть.  
А завтра я уйду – и запою».

Моя душа проста. Соленый ветер  
Морей и смольный дух сосны  
Ее питал. И в ней – все те же зна-

ки,  
Что на моем обветренном лице.  
И я прекрасен – нищей красотой  
Зыбучих дюн и северных морей.

Так думал я, блуждая по границе  
Финляндии, вникая в темный го-  
вор  
Небритых и зеленоглазых финнов.  
Стояла тишина. И у платформы  
Готовый поезд разводил пары.

И русская таможенная стража  
Лениво отдыхала на песчаном  
Обрыве, где кончалось полотно.  
Там открывалась новая страна —  
И русский бесприютный храм гля-  
дел  
В чужую незнакомую страну.

Так думал я. И вот она пришла  
И встала на откосе. Были рыжи  
Ее глаза от солнца и песка.  
И волосы, смолистые как сосны,  
В отливах синих падали на плечи.

Пришла. Скрестила свой звериный  
взгляд

С моим звериным взглядом. За-  
смеялась  
Высоким смехом. Бросила в меня  
Пучок травы и золотую горсть  
Песку. Потом – вскочила  
И, прыгая, помчалась под откос...

Я гнал ее далеко. Исцарапал  
Лицо о хвои, окровавил руки  
И платье изорвал. Кричал и гнал  
Ее, как зверя, вновь кричал и звал,  
И страстный голос был как звуки  
рога.

Она же оставляла легкий след  
В зыбучих дюнах и пропала в сос-  
нах,  
Когда их заплела ночная синь.

И я лежу, от бега задыхаясь,  
Один, в песке. В пылающих глазах  
Еще бежит она – и вся хохочет:  
Хохочут волосы, хохочут ноги,  
Хохочет платье, вздутое от бе-  
га...

Лежу и думаю: «Сегодня ночь  
И завтра ночь. Я не уйду отсюда,  
Пока не затравлю ее, как зверя,  
И голосом, зовущим, как рога,

*Не прегражу ей путь. И не скажу:  
«Моя! Моя!» – И пусть она мне  
крикнет:  
«Твоя! Твоя!»*

*Июнь – июль 1907  
Дюны*

## **Из записных книжек Александра Блока 12**

**19** *мая <1906>*  
**Майские идеи**

О том, как животные – букашки, муравьи, насекомые становятся умелыми не меньше людей, – и как это страшно. Вглядишься в траву.

О том, как у приезжающего в деревню из города мелькают печатные строчки и он бессмысленно смотрит на деревья и траву.

О том, как мы сажали розы, лилии, ирисы; делали дренажи, возили землю, стригли газон. Утомившись, ложились на спину в траву. Небо было глубокое, синее, и вдруг вздувалось на нем белое облако. И я сказал: что́ нам сажать розы на земле, не лучше ли на небе. Но было одно затруднение: земля низко, а

небо – высоко. И пришлось учиться магии – небесное садоводство.

Зеленая скука. А город – серая скука.

В первом круге Дантова ада нет боли, а только тоска. И это считается «милостью неба». А мы ищем боли, чтобы избежать тоски. Да еще тоска у Данта светлая, «воздух тих и нем» – что ужаснее для нас?..

**14**

<Сентябрь – октябрь 1906>

<...>

**Из Даля:**

*Выситься; гора выситя; кичливый ум выситя; выситя – низитя; возвысился, довысился, надвысь, обвысил, повысь, подвысь.*

**15**

<Декабрь 1906>

<...>

Всякое стихотворение – покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся, как звезды. Из-за них существует стихотворение. Тем оно темнее, чем отдален-



нее эти слова от текста. В самом темном стихотворении не блещут эти отдельные слова, оно питается не ими, а темной музыкой пропитано и пресыщено. Хорошо писать и звездные и беззвездные стихи, где только могут вспыхнуть звезды или можно их самому зажечь.

## 16

20 апреля <1907>

*Вагон Николаевской железной дороги  
Из Москвы*

Реалисты исходят из думы, что мир огромен и что в нем цветет лицо человека – маленького и могучего (это то, как мы сейчас на вокзале потерялись с Натальей Николаевной). Они считаются с первой (наивной) реальностью, с психологией и т. д. Мистики и символисты не любят этого – они плюют на «проклятые вопросы», к сожалению. Им ни почем, что столько нищих, что земля кругла. Они под крылышком собственного «я». У них свои цветники («ор»). Они слишком культурны – потому размениваются на мелочи (индивидуализм), а реалисты – «варвары». Мысли знакомые. Да кто не знаком? Одна Наталья

Николаевна русская, со своей русской «случайностью», не знающая, откуда она, гордая, красивая и свободная. С мелкими рабскими привычками и огромной свободой. Чем больше нам с ней лет и дней (это у нас общее) – тем больше «примелькиваются» дни, и целый месяц позади (например, тот, который мы не виделись) в лучшем случае запылит. Серебристые, бесконечные паутины и пыль в глазах. «Вечной сказки» декорации. Как-то мы в августе встретимся. Устали, мы чудовищно устали.

*9 июля <1907>*

*Поле за Петербургом*

Закат в перьях – оранжевый. Огороды, огороды. Идет размашисто разносчик с корзиной на голове, за ним – быстро, грудью вперед – красивая девка. На огородах девушка с черным от загара лицом длинно поет:

*Ни болела бы грудь,  
Ни болела душа...*

К ней приходит еще девка. Темнеет, ругаются, говорят циничное. Их торопит рабочий.

Девки кричат: «... Проклянем тебе. В трех царквах за живово будем богу молитца». Из-за забора кричит женский голос: «Все девки на сеновале». Визжат, хохочут. Поезд проходит, телега катит. С дальних огородов сходятся парами бабы и рабочие. На оранжевом закате – стоги сена, телеграфные столбы, деревня, серые домики. Капуста, картофель, вдали леса – на сизой узкой полосе туч. Обедают – вдали восклицают мужичьи и девичьи голоса – одни строгие, другие – надрывные. За стеной серого сарая поднимается месяц – желто-оранжевый, как закат.

А вчера представилось (на паровой конке). Идет цыганка, звенит монистами, смугла и черна, в яркий солнечный день – пришла красавица ночь. И все встают перед нею, как перед красотой, и расступаются. Идет сама воля и сама красота. Ты встань перед ней прямо и не садись, пока она не пройдет.

*16 июля*

*Утром рано на железной дороге*

Разговор генеральского денщика, бравого и веселого, и мещанки – нежной и русой (про-

износит, как В. В. Иванова). Между прочим, спрашивала с кокетством: «А шато икем знаете? Тоже очень хорошее вино, полтора рубля стоит». – Параллельная пара в пьесе – *мещане* – только *свободные*. «Беспристрастно люблю тебя, милый ты мой. Поглядела, спросила, говорит – жалованье хорошее, веселый такой. Как ушел, так об нем все думаю».

## 22

19 августа <1908>  
<...>

Осенью, когда рано закрывают ставни и на дворе темнеет, мухи начинают на потолке предсмертный танец. Все садятся по краю потолка, и затем каждая по очереди выплясывает свой круг перед остальными, – вертясь, шумно стучаясь о белый глянец. Потом она попадает в протянутую паутину, как акробат в приготовленную заранее сетку, и, уже не сопротивляясь, ожидает своей участи.

Старуха умерла и больше не метет дорожек. Старуху заменил ветер – он разметает листья по краям аллей. – Ветер – хорошая, верная старуха.

<...>

12 сентября <1908>

<...>

Мечты о журнале с традициями добролюбовского «Современника». Две интеллигенции. Дрянность «западнических» кампаний («Весы», мистический анархизм и т. п.). Единственный манифест и строжайшая программа. Чтоб не пахло никакой порнографией, ни страдальческой, ни хамской. Распроститься с «Весами». Бойкот новой западной литературы. Революционный завет – презрение.

Небесполезно «открыть» что-нибудь уже «открытое» (например, придумать хорошее драматическое положение, а потом узнать – вспомнить или просто прочесть, – что оно уже написано). Своего рода школа.

<...>

24

26 декабря <1908>

Стихия и культура.

Чувство катастрофы, болезни, тревоги, разрыва (человечество – как люди перед бомбой).

Бомбу подложила история и расколола все.  
(Возражения оппонентам.)

Оптимизм возражений.

Муравейники – вечный прогресс – аполлинический сон культуры. Цвет культуры (интеллигенция) пребывает в аполлиническом сне, – и вдруг – разрушены Калабрия и Мессина.

<...>

Мы ненавидим – православную черную сотню, мы придумали про раскольников «рационализм» (толстовцы, Милюков), только бы «не слышать». А стихия идет. Какой огонь брызнет из-под этой коры – губительный или спасительный? И будем ли мы иметь право сказать, что это огонь – вообще губительный, если он только *нас* (интеллигенцию) погубит?

## **Избранные письма Александра Блока Матери**

**1** октября <1906. Петербург>

Мама, я сейчас возвратился домой и захотел тебе написать, потому что, когда мы встречаемся, большей частью не говорится ни одного слова, а все только разговоры или споры. Я эти дни очень напряжен, хочу, что-

бы это напряжение увеличивалось все больше; больше меня не утомляют чужие люди, напротив, они выдвигают из меня человека, которого я люблю по-настоящему, все больше, и почти всегда, в сущности, нахожусь во внутреннем восторге. Это заставляет меня наружно многое пропускать; при этом мне кажется, что ты на меня смотришь вопросительно – очень часто. Я хочу, чтобы ты всегда определенно знала, что я ни минуты не перестаю тебя любить по-настоящему. Также, не знаю, по-настоящему ли, но наверно, я люблю Францика и тетю. Относительно Любы я наверно знаю, что она тебя любит, она об этом говорит мне иногда просто. Я хочу, чтобы эти простые истины всегда сохранялись и подразумевались, иначе – ненужное будет мешать.

Кроме того, я– теперь окончательно чувствую, что, когда начинаются родственники всех остальных калибров, а также всякие знакомые, и офицеры вообще, – то моя душа всех их выбрасывает из себя органически, без всяких либеральных настроений. Для меня это внутренняя азбука, так что даже когда я любезен с ними, то потом тошнит, если у души

на это оказывается свободное время. Это – мой хам, т. е. не во мне, а в них – для меня. Никого из них я ни за что «не приму»; тем самым, что они родственники, они стали для меня нулем, навсегда выброшены. Они не могут ничем заслужить человеческое достоинство в моих глазах не потому, что тут какие-нибудь теории, а по какому-то инстинкту проклятия отдаленной кровной близости со мной или с Любой. Все они не только не могут, но и не смеют знать, кто я. Все они также призрачны, как городовые, которые внимательно смотрят за идущим и возбуждают тупое бешенство, или как солдаты – по одному с бессмысленным штыком и казенной бумагой – или по три, или – целой гороховой толпой – тупые и опоганенные мужики.

Все это – прокламация о моем душевном организме. Поскольку прокламация – это глупо и ненужно; а написал я затем, чтобы строго отделить себя от этого и чтобы ты раз навсегда знала, что то, что я написал о родственниках и городских, – это я инстинктивный, а с настоящим моим «я» это не смешивается никогда. Этого ужаса я избежал, я думаю, по-



тому, что Александр Львович его исчерпал. А я живу всегда одной нотой, чем больше она освобождается и стряхивает с себя постороннее, – тем громче и торжественней звучит, так что я себя все больше и глубже люблю. Крепко обнимаю тебя. Я часто хочу, чтобы ты пришла, когда ты не приходишь. Не мешаешь.

*Сашинька, или Саша.*

Негодник Крабка вовсе не умирал, я его люблю по-настоящему.

**Е. П. Иванову**

<25 И<sup>юня 1905. Шахматово</sup>>  
Да, милый, есть больше слов, как ты писал мне. Я много и долго мучился и падал духом, и были совсем черные дни. Теперь хорошо. На днях уехали – сначала Бугаев, потом Соловьев, приехавшие вместе, привезшие новизну и голос событий, совершающихся в самой главной области – «Несказанной».

Знаешь, что я хочу бросить? Кротость и уступчивость. Это необходимо относительно *некоторых* дел и *некоторых* людей. Знаешь

ли, что одиночество, пока оно остается чувством, томит, и нежит, и думать не дает, и рукой манит. А потом вдруг оно становится из чувства – *знанием*, и тогда оно крепит, и на узде держит, и заставляет опять *СЕБЯ* же черпать. «Черпай, черпай, пока не иссохнет гортань, а если выживешь – силу узнаешь».

Я говорю про одиночество особого рода. Что тебе – Христос, то мне – *не* Христос. Я люблю тебя и чую близость нашу сквозь *общее наше*, что закипает, и пенится, и светится после нашей *случайной* встречи – знакомства. Ведь с разных концов мира принесло, и все дело было во взгляде – первом и самом значительном. Может быть, нас в разных котлах варили, но вынесло в «крайнюю глухую заводь», в «край лиманов и топей речных», в «Царство Демона древней Москвы» (Коневской о Петербурге). И стала у нас сумрачная близость, к которой часто я возвращаюсь мысленно и понять не могу. Сейчас пишу тебе так, потому что опять страшная злоба на Петербург закипает во мне, *ибо я знаю*, что это поганое, гнилое ядро, где наша удадь мается и чахнет, окружено такими безднами, та-

кими бездонными топями, которых око челове-  
вечье не видело, ухо – не слышало. Я *прини-*  
*кал* к окраинам нашего города, знаю, знаю,  
что там, долго еще там ветру визжать, чертям  
водиться, самозванцам в кулаки свистать!  
Еще долго близ Лахты будет водиться откро-  
вление, небесные зори будут волновать грудь  
и пересыпать ее солью слез и будет Мировая  
Несказанность влечь из клоаки. Но живем-то,  
живем ежедневно – в ужасе, смраде и отча-  
янье, в фабричном дыму, в треске блудных  
улыбок, в румянце отвратительных автомо-  
билей, вопящих на Зарю, смеющихся догады-  
ваться о Заре! Петербург – гигантский пуб-  
личный дом, я чувствую. В нем *не отдохнуть,*  
*не узнать всего,* отдых краток там только, где  
мачты скрипят, барки покачиваются, на окра-  
ине, на островах, совсем у ног залива, в сумер-  
ки. Но там узнаешь тишину только до рассве-  
та, а едва рассвет запылит, – все кончено. Чи-  
тал ты драму Брюсова «Земля»? – Там есть об  
этом. В сущности, я пишу так много и крикли-  
во, оттого что хочу высказать ненависть к лю-  
бимому городу, именно тебе высказать, пото-  
му что ты поймешь особенно, любя, как и я.

Но надо, надо понять, что в Петербурге легче, чем где-либо, умереть без мучений, застрять и заглохнуть. Знаешь ли, что *МЫ* те, от которых хоть раз в жизни надо, чтобы поднялся вихрь? *Мы сами ждем от себя вихрей.* Мне писать так легче, чем говорить; если б говорили, я бы опять заленился, раскис, гнусил бы, как, ты знаешь, я большей частью говорю. Я и написать не могу всего, но то, чего я не могу высказать ясно, вертится все близ одного: хочу действительности, чувствую, что близится опять *огонь*, что жизнь не ждет (она не успеет ждать – *он сам* прилетит), хочу много ненавидеть, хочу быть жестче. И все-таки это не совсем так; если узнаю еще, напишу больше. Близок огонь опять, – какой – не знаю. Старое рушится. Никогда не приму Христа. Пиши, что в тебе теперь ответит мне, не торопись писать. Если б ты узнал лицо русской деревни – оно переворачивает; мне кто-то начинает дарить оружие... Может быть. Может быть, будет хорошо, кругом много гармонии.

*Твой любящий Саша.*

Все это письмо уж так и посылаю в его им-

прессионистском и сумбурном виде. Может быть, где-нибудь вдруг оказалось то, что не сумел сказать. Какое важное время! Великое время! Радостно.

**Л. Д. Блок**

**23** июля 1908. Петербург

Пишу тебе совершенно больной и измученный пьянством. Все это время меня гложет какая-то внутренняя Болезнь души, и я не вижу никаких причин для того, чтобы жить так, как живут люди, рассчитывающие на длинную жизнь. Положительно не за что ухватиться на свете; единственное, что представляется мне спасительным, – это твое присутствие, и то только при тех условиях, которые вряд ли возможны сейчас: мне надо, чтобы ты была около меня равнодушной, чтобы ты приняла какое-то участие в моей жизни и даже в моей работе; чтобы ты нашла средство исцелять меня от безвыходной тоски, в которой я сейчас пребываю. Кажется, ни один год не был еще так мрачен, как этот проклятый, начиная с осени. Пойми, что мне, помимо тебя, решительно *негде* найти точку опоры, потому что мамина любовь ко мне

беспокойна, да я и не могу питаться одной только материнской любовью. Мне надо, чтобы около меня был живой и молодой человек, женщина с деятельной любовью; если этого никогда не будет, то мне ничего не останется, кроме пустой и зияющей темноты, когда я растрочу все свои жизненные силы. – Только на такое опускание по наклонной плоскости я сейчас способен, потому, может быть, что не имею твердой веры в то, что ты придешь ко мне.

Едва ли в России были времена хуже этого. Я устал бессильно проклинать, мне надо, чтобы человекдохнул на меня *жизнью*, а не только разговорами, похвалами, плевками и предательством, как это все время делается вокруг меня. Может быть, таков и я сам – тем больше я втайне ненавижу окружающих: ведь они же старательно культивировали те злые семена, которые могли бы и не возрасти в моей душе столь пышно. От иронии, лирики, фантастики, ложных надежд и обещаний можно и с ума сойти. – Но неужели же и ты такова?

Посмотри, какое запустение и мрак кру-

гом! Посмотри трезво на свой театр и на окружающих тебя сценических деятелей. Мне казалось всегда, что ты – женщина с высокой душой, не способная опуститься туда, куда я опустился. Помоги мне, если можешь. Я даже работать не могу, не вижу цели. И эти дни все похожи один на другой, ужасно похожи. И если подумаешь, что еще много таких, совсем тошно. Лечь бы и уснуть и все забыть.

Я тебе писал в остром припадке отчаянья, лег отдохнуть. Сейчас у меня, по-видимому, жар, должно быть – простудился. Серьезного ничего не чувствую. Посылаю тебе это письмо бог знает зачем, ведь меньше чем через неделю не получишь. Я вышлю тебе денег, как только меня перестанет надувать вся издательская и театральная сволочь, а сейчас у меня – ни копейки. Если ты не решила совсем бросить меня, приезжай как только можешь скорее. Никогда в жизни я не испытывал *таких* чувств одиночества и брошенности. Верно, предположения мои правильны, ты перестала помнить обо мне.

Перечитал письмо и все-таки посылаю. Телеграфируй, когда получишь. Я совсем измучен. Только бы поговорить с тобой скорее, что дальше – не знаю. Могу говорить и о сцене.

**Л. Д. Блок**

**14** июня 1908. *Шахматово*

Милая, только сегодня утром пришла твоя телеграмма, я ответил на нее. А твое письмо (второе) я получил третьего дня и ношу с собой. На него я могу ответить тебе только, что думаю о тебе каждый день, тебя недостает каждый день, и я живу все время тем, что жду тебя. До сих пор я не могу определить, должен ли я жить один; я теперь переживаю эту одинокую жизнь и знаю, что она очень хороша, но бесплодна, бесплодна – другого слова не придумаешь. Может быть, нам нужно временами жить вместе. Теперь мне часто кажется, что мы можем жить вместе всегда, но – не знаю. Здесь очень тихо – жарко, сыро и пышно. Наш сад растет. Я бываю много один. Переделываю «Песню Судьбы». Может быть, даже и кончу ее к 1 июля, когда вернусь в Петербург. Туда меня тянет. Здесь трудно жить без тебя. Я думаю о том, что ты



вернешься в августе и мы вместе будем жить здесь осенью. Что ты думаешь об этом? Я не знаю, когда ты вернешься. Досадно получать письма, которые идут около недели, и самому досадно писать. Но у меня очень постоянная надежда на то, что мы могли бы прожить здесь золотую осень.

Меня тянет теперь опять в Петербург. У меня очень дружеские и настоящие, даже трогательные отношения с Чулковым (и, конечно, с Женей). И хорошие отношения с Сюннербергом. Может быть, устроим журнал (!). Кроме того, Ф. Ф. Коммиссаржевский будет в Петербурге, надо обсудить «Праматерь». У Брави-ча – оспа. Петербург необыкновенно красив теперь. Там привлекательно то, что легче переживать это какое-то *переходное* в жизни время – от встречи до встречи с тобой. Очень много средств забывать о времени и произвольно устанавливать дни и ночи. А здесь нет этих средств – без тебя. Может быть, ты заметила, что я давно уже не умею писать тебе. Мое отношение к тебе уже не требует никаких слов. А вообще письма писать я умею, по-прежнему.

«Песня Судьбы» все так же важна для меня. Но теперь еще по-новому, точно я еще больше ее пережил и смотрю на нее объективнее и свободнее. – С Натальей Николаевной я так и не простился, не писал ей и не получал от нее писем. Теперь ты видишь, как я живу? Читала ли ты «Корабль» д'Аннунцио? Прочти – это очень искусная трагедия.

А что же сцена? Это очень важно для тебя?

Получила ли ты деньги из Грозного? Там лежат 50 р., посланные по телеграфу в конце мая. Надо ли тебе еще? Если надо, я пришлю из Петербурга.

Твои письма мне получать важнее всего, хотя и досадно, потому что – запоздалые. Настанет ли когда-нибудь время, что мы перестанем разлучаться?

*Твой.*

**Л. Д. Блок**

**24** июня <1908>. *Шахматово*  
**Моя милая.**

Время ползет без тебя какое-то тусклое, бесплодное. Здесь почти не перестает дождь – серый, осенний. Я начал сильно тосковать. Беспокоюсь о тебе, думаю постоянно о тебе.

Жизнь тащится зачем-то, – и ты зачем-то в каком-то Боржоме; я совершенно уверен, что тебе там делать нечего. Эти дни я немного ждал тебя, думал, что ты оттуда уедешь. Что за охота проваливаться где-то на краю света с третьестепенной труппой? Не люблю я таких актеров, ох, как не люблю, заодно с Гете и Ибсеном.

Беспокоюсь о тебе, моя милая. Тебе все еще грустно? Если бы ты вернулась сюда, я не возвращался бы в Петербург. А теперь – ворочусь через шесть дней, а зачем – нетвердо знаю; больше потому, что без тебя не сидится в тишине. И что писать тебе, – не знаешь, интересно ли тебе вот в эту минуту, когда ты читаешь то, что я писал десять дней назад.

«Песня Судьбы» кончена вчера. – Почему ты пишешь, что приготовила себе мучение? Меня очень тревожит это; и мне не нравится то, что ты сомневаешься в том, как я тебя встречу. – Получаешь ты мои письма? – Это, кажется, уж шестое – и последнее из Шахматова.

Я как-то тоже устал. Мне во многих делах очень надо твоего участия. Стихи в тетради

давно не переписывались твоей рукой. Давно я не прочел тебе ничего. Давно чужие люди зашаркали нашу квартиру. Лампадки не зажигаются. Холодно как-то. Ко многим людям у меня в душе накопилось много одинокого холода и ненависти (Мережковские, разные москвичи с г. А. Белым во главе и некоторые другие). Мне надо, надо быть с тобой. А ты хочешь ли быть со мной? То, что я пишу, я могу написать и сказать только тебе. Многого из этого я как-то не говорю даже маме. А если ты не поймешь, – то и бог с ним – пойду дальше так. Ты не имеешь потребности устроить нашу жизнь так, чтоб и комнаты ожили? Или ты все еще не поймешь «быта»? Есть ведь на свете живой быт, настоящий, согласный с живой жизнью. Беспокоюсь о тебе.

*Твой.*

Из твоих писем я понял, что ты способна бросить сцену. Я уверен, что, если нет настоящего большого таланта, это необходимо сделать. Хуже «актерского» быта мало на свете ям. Коммиссаржевская играет мою (т. е. Грильпарцерову) Берту.

## В. В. Розанову

17 февраля 1909. <Петербург>  
Глубокоуважаемый Василий Васи-  
льевич.

Прочитал я обе заметки Ваши в «Новом времени», в которых Вы говорите обо мне. Хочу написать Вам сейчас только так – несколько слов, потому что надеюсь ответить подробно на все в печати, если дадут место в «Речи».

Мне очень легко возразить Вам по каждому пункту, но, пожалуй, не могу сговориться с Вами в одном: т. е. точно так же, как Вы останетесь совершенно собою, так я останусь в *этом одном* – представителем разряда людей, Вам непонятных и даже враждебных, представителем именно *интеллигенции* (так как Вы говорите обо мне, в сущности, как о представителе группы, а упоминая о «декадентстве», «индивидуализме» и т. д., – метите мимо меня). Я очень рад именно тому, что я имею право возразить Вам именно как представитель *группы лиц*; и потому возражать я буду меньше всего – глубокому мистику и замечательному писателю Розанову, больше всего – «нововременцу» В. В. Розанову. Вели-

кая тайна, и для меня очень страшная, – то, что во многих русских писателях (и в Вас теперь) сплетаются такие непримиримые противоречия, как дух глубины и пытливости и дух... «Нового времени».

Ведь я, Василий Васильевич, с молоком матери впитал в себя дух русского «гуманизма». Дед мой – А. Н. Бекетов, ректор СПб. университета, и я по происхождению и по крови «гуманист», т. е., как говорят теперь, – «интеллигент». Это значит, что я могу сколько угодно мучиться одинокими сомнениями как отдельная личность, но как часть целого я принадлежу к известной группе, которая *ни на какой компромисс* с враждебной ей группой не пойдет. Чем более пробуждается во мне сознание себя как части этого родного целого, как «гражданина своей родины», тем громче говорит во мне кровь. Я не отрицаю, что я повинен в декадентстве, но кто теперь в нем не повинен, кроме мертвецов? Думаю, что и Вы его не избегли, потому что оно – очень глубокое и разностороннее явление.

Так вот, не мальчишество, не ребячливость, не декадентский демонизм, но моя

кровь говорит мне, что смертная казнь и всякое уничтожение и унижение личности – дело страшное, и потому я (это – непосредственный вывод, заметьте, тут ни одной посылки для меня не пропущено) не желаю встречаться с Пуришкевичем или Меньшиковым, мне неловко говорить и нечего делать со сколько-нибудь важным чиновником или военным, я не пойду к пасхальной заутрене к Исакию, потому что не могу различить, что блестит: солдатская каска или икона, что болтается – жандармская епитрахиль или поповская ногайка. Все это мне *по крови* отвратительно. Что *старому* мужику это мило – я не спорю, потому что он – уже давно раб, а вот молодым, я думаю, всем это страшно, и тут – что народ, что интеллигенция – вскоре (как я чаю и многие чают) будет *одно*.

Очень заговорился, хотел бы еще много сказать Вам, но лучше оставлю до статьи. Только вот еще: Вы неверно меня цитируете в обоих случаях; кроме того, знаю я эту любовь к мелочам быта, люблю ее в Вас лично ужасно и боюсь ее в Вас как писателе. Позвольте мне, в числе многих других и как бы уже не

от своего лица, сказать Вам, что этой любовью, этой прелестью и нежностью невольно прикрываются самые страшные ямы – сентиментальность и жестокость – родные сестры. Уж лучше, я думаю, быть «бесчувственным».

Искренно Вас уважающий *Александр Блок*.

## **Из воспоминаний об Александре Блоке** **М. Горький**

**В** ресторане «Пекарь» барышня с Невского рассказывала мне:

– Это у вас книжечка того Блока, известного? Я его тоже знала, впрочем – только один раз. Как-то осенью, очень поздно и, знаете, слякоть, туман, уже на думских часах около полуночи, я страшно устала и собиралась идти домой, – вдруг, на углу Итальянской, меня пригласил прилично одетый, красивый такой, очень гордое лицо, я даже подумала: иностранец. Пошли пешком, – тут, недалеко, по Караванной, десять, комнаты для свиданий. Иду я, разговариваю, а он – молчит, и мне было неприятно даже, необыкновенно как-то, я не люблю невежливых. Пришли, я попросила чаю; позвонил он, а слуга – не идет, тогда он сам пошел в коридор, а я так, знаете, устала,



озябла и уснула, сидя на диване. Потом вдруг проснулась, вижу: он сидит напротив, держит голову в руках, облокотясь на стол, и смотрит на меня так строго – ужасные глаза! Но мне – от стыда – даже не страшно было, только подумала: «Ах, боже мой, должно быть, музыкант!» Он – кудрявый. «Ах, извините, говорю, я сейчас разденусь».

А он улыбнулся вежливо и отвечает: «Не надо, не беспокойтесь». Пересел на диван ко мне, посадил меня на колени и говорит, глядя волосы: «Ну, подремлите еще». И – представьте ж себе – я опять заснула, – скандал! Понимаю, конечно, что это нехорошо, но – не могу. Он так нежно покачивает меня и так уютно с ним, открою глаза, улыбнусь, и он улыбнется. Кажется, я даже и совсем спала, когда он встряхнул меня осторожно и сказал: «Ну, прощайте, мне надо идти». И кладет на стол двадцать пять рублей. «Послушайте, говорю, как же это?» Конечно, очень сконфузилась, извиняюсь, – так смешно все это вышло, необыкновенно как-то. А он засмеялся тихонько, пожал мне руку и – даже поцеловал. Ушел, а когда я уходила, слуга говорит: «Знаешь, кто с

тобой был? Блок, поэт – смотри!» И показал мне портрет в журнале, – вижу: верно, это он самый. «Боже мой, думаю, как глупо вышло».

И действительно, на ее курносом, задорном лице, в плутоватых глазах бездомной собачонки мелькнуло отражение сердечной печали и обиды. Отдал барышне все деньги, какие были со мной, и с того часа почувствовал Блока очень понятным и близким. Нравится мне его строгое лицо и голова флорентийца эпохи Возрождения.

*«А. А. Блок»*

*(печатается по изд.: Александр Блок в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 332–333).*

## **Вл. Пяст**

**М**еня просят поделиться тем, что я знаю об отношениях Блока к женщинам. Он не был, как всем известно, ригористом.

Однако чересчур снисходительным назвать его было нельзя. Помню еще в 1907 году совместное выступление поэтов летом в Териоках. В числе участвовавших был некто Р. Блок отозвал нас остальных в сторону и предупредил, чтобы мы были осторожны и не

компрометировались якшанием с этим Р., которое тот несомненно будет нам навязывать.

– Он, – сказал Блок, – таскает из карманов носовые платки. Вы понимаете?

«Чужие жены» составляли главный предмет этого Р.

Отношение Блока к этому вопросу было чисто британским.

В зарубежной прессе появились воспоминания Горького, рисующие один эпизод встречи Блока с «проституткою».

Я помню тоже подобный эпизод. В нем участвовал ряд благополучно ныне здравствующих литераторов. Кроме одного, мы все были тогда солидные, хотя и молодые, но женатые люди.

Поздним вечером однажды, зимою, решили совершить экскурсию в одно из «злачных» мест не особенно высокой марки.

Сели за столик невдалеке от эстрады, где горланили безголосые шансонетки. Подозвали робко проходившую мимо «барышню».

Для некоторых из нас это был первый случай общения с «тем миром». На одного произвело это такое сильное впечатление, что он

после этого начал писать целую «петербургскую повесть» в гофмановом жанре, героиней которой хотел сделать эту женщину.

Угостили ее, конечно. Сколько помнится, Блок, недавно тогда получивший наследство и взявший часть денег из банка, платил за всех.

Барышня оказалась интеллигентной, окончившей гимназию, любящей чтение. Однако от известной героини купринской «Ямы» значительно отличалась: скромностью – с одной стороны, непроходимой пошлостью обиходных своих понятий – с другой.

Кому-то из нас пришло в голову попросить нашу собеседницу определить, кто мы такие.

Она покрутила головой и, взглядывая по очереди на каждого, говорила:

– Вы (обратилась она ко мне) производите впечатление такое, что служите на определенном месте и получаете ежемесячное, небольшое, но верное жалованье.

Мы переглянулись, до чего метко она попала. Я действительно был тогда «чиновник».

– А вы, – продолжала она, указывая на К<няжни>на, – скорее что купец. Когда «по-

фартит», деньги у вас есть, а то и так сидите.

К<няжнин> действительно нигде не служил; купцом хотя никогда не был, но происходил именно из купеческого новгородского рода. Денег у него, точно, частенько вовсе не ночевало. Так что и тут попала она почти в точку.

Но более всего изумились мы шерлок-холмсовской проницательности барышни, когда, взглянув на Блока, она сказала:

– А вы, сдаётся, так живете, сами по себе, со своего капитала.

Ничтожный заработок Блока в это время был притчею во языцех, и об этом дебатировали рабочие в уголке, отведенном для них одной тогдашней либеральничающей газетой. Он именно тогда «систематически трагил капитал», как рассказывал мне.

Тщетно, однако, допрашивали мы барышню насчет двоих остальных писателей – В<ерховского> и Ч<улкова>. Наружность их не давала никаких указаний для нового Шерлока в юбке. Беспомощно помотала она головой и отказалась определить социальное их положение – наотрез. «А о вас, господа, ничего не

могу сказать, не знаю, не понимаю. Никогда таких не видала».

Нам очень хотелось узнать, входит ли вообще в ее мозг понятие о писателях. Знает ли, освоилась ли с мыслью, что вообще существуют такие.

– А что нас всех объединяет, что между всеми нами общее? – допрашивали мы барышню. – Почему мы вместе?

Она отрицательно мотала головой.

Тогда один из нас сказал, что мы писатели. Она выслушала, похлопала глазами и как-то совсем скисла.

– Да, писатели? – машинально повторила она. Видимо – нет, никогда не задумывалась над вопросом о существовании таких людей.

Впрочем, через минуту оживилась. Начала разговор о каком-то сочинении одного современного писателя, которое она недавно прочитала.

– А вот тот, которого вы приняли за рантье, – сказал Ч<улков>, – известный наш, знаменитый поэт Блок. Читали вы его стихи?

Оказалось, читала.

– Нравятся?

– Нравятся. Я помню: «Незнакомка».

Говорила она все-таки без энтузиазма. Это была Соня Мармеладова, но как-то, очевидно, без семьи на плечах, как-то без трагедии...

Однако Александр Александрович подал ей свою визитную карточку; примеру его последовали и некоторые другие. Блок это делал в ту пору при каждом своем знакомстве с «такими женщинами». Даже и настолько «мимо-летном», как это, которое не сопровождалось ничем интимным.

Это был его жест протеста против социального строя. А с другой стороны – прямота, рыцарство, вежливость по отношению к женщине. Ему стыдно было скрываться, прятаться. Рыцарь без страха и упрека, сидевший в нем, заставлял его афишировать именно то в себе, что не было, так сказать, казовым.

Еще одна мелочь из «кутильной» стороны блоковской жизни. Я помню, мы спросили как-то вдвоем с ним себе устриц. Я признался в своей любви к ним. Блок – тоже, но при этом сказал:

– Знаете? Ведь устрицы полезны. В них железо и так далее. Но в этом их трагедия!

Трагедия, собственно, не устриц, но их потребителей, конечно. И это очень характерно для него и демона извращенности в нем. Полезность кушанья – то есть то, что при другой (нормальной?) психологии служило бы свойством, оправдывающим в собственных глазах пристрастие к нему, – Блоку казалось, наоборот, свойством трагическим и было для него непереносимо.

И, наконец, еще одно. Блок сообщил мне как-то, что врач ему сказал: «Ваш организм очень крепкий, но вы сделали все, чтобы его расшатать». Блок признавал чай – крепкий, как кофе; вино, бессонные ночи, острое, пряное – все оттого, что это было *вредно*.

<...>

Мало кто помнит теперь (да и я этого времени сам «не застал»), что известности Блока (в передовых артистических кругах) как *поэта* предшествовала его известность как *декламатора*.

Не раз мне рассказывали, и разные люди, что вот в гостиной появляется молодой красивый студент (в сюртуке непременно, «тужурок» он не носил). «Саша Блок», – передавали



друг другу имя пришедшего в отдаленных углах. «Он будет говорить стихи».

И если Блока об этом просили, он декламировал с охотой. Коронными его вещами были «Сумасшедший» Апухтина и менее известное одноименное стихотворение Полонского.

<...>

«Гладкое место» – слышал я такое выражение про блоковскую манеру чтения, представьте себе, от поэта. А вот одна моя знакомая актриса ходила на вечера Блока со специальной целью благоговейно учиться исключительно манере чтения Блока, находя ее не только безупречной, но потрясающей. Другой мой знакомый, актер, выражался иначе: в чтении Блока – изумительное мастерство, но отнюдь не такое, как у артиста, потому что в нем что-то свое, не чувствуется никакой школы... Я на это возразил, что ведь был же «первый портной», у которого учились следующие, а самому ему учиться не у кого было.

Классическая простота и экономия в произношении голосовыми средствами при произнесении стиха – вот что делало манеру чтения Блока в глазах людей, привыкших к эсте-

тике контрастов, похожею на «гладкое место». Я бы выразился так: и исчерченная алфавитными знаками страница книги для иного покажется гладким местом. Для неграмотного. Для умеющего же читать – оденется во всю волнующую красоту божественного смысла человеческой речи.

<...>

Тембр его голоса вообще был глухой. Но когда у него «кости лязгали о кости», то сколько-нибудь чуткое ухо слышало *костяной* звук, исходивший из его уст; а когда

*Вагоны шли привычной линией,  
Подрагивали и скрипели;  
Молчали желтые и синие,  
В зеленых плакали и пели, —*

то слышали мы и металл, и скрип, и гармоннику...

<...>

Все-таки о «невыразимом». Есть лица, схватывающие чужую манеру чтения не внешним подражанием ей, но медиумическим проникновением ею. С таким сильным, хоть и бессознательным, гипнотизером, каким был Блок, это случалось, думаю, нередко:

поддаться ему было и легко, и неудержимо соблазнительно. Как он читал одно из любимых мною стихотворений:

*Грешить бесстыдно, непробудно,  
Счет потерять ночам и дням, —*

я никогда, сколько помню, не слышал. Между тем, когда одна известная писательница теперь, после смерти А. А. Блока, вдруг заговорила наизусть эти стихи, мне стало жутко и сладко вместе: на минуту поэт точно воскрес.

<...>

*«Воспоминания о Блоке»*

*(печатается по изд.: Александр Блок  
в воспоминаниях современников:*

*Т. 1. С. 388–389, 392, 397–398, 399, 400).*

**М. А. Бекетова**

Читатели Блока обыкновенно представля-  
ют его себе печальным человеком, жив-  
шим в особом мире, далеким от простых и  
обыденных радостей жизни. В стихах его из-  
редка проявляется юмор, но веселости нет и  
следа.

А между тем в живом, настоящем Блоке

было много светлого юмора и самой непосредственной, детской веселости.

<...>

Блок был прежде всего ребенок – простодушный, невинный и милый.

В своей речи о символизме, прочитанной в Обществе ревнителей художественного слова (8 апреля 1910 г.), он поставил такую программу: «Художник должен быть трепетным в самой дерзости, зная, чего стоит смешение искусства с жизнью, и оставаясь в жизни простым человеком». Этот завет свой он и исполнил. Он был в жизни простым человеком. «Но есть неистребимое в душе, там, где она младенец», – говорит он в другом месте той же речи. В его душе это «неистребимое» было особенно сильно и проявлялось и в ясности его улыбки, и в уменье радоваться всяким житейским пустякам, а также солнцу, шуткам, да еще в уменье играть и шалить, которое было ему в высшей степени свойственно...

Последнее, т. е. склонность к играм и шалостям, должно особенно поразить читателей Блока. Для них и юмор его нечто новое, почти незнакомое. Правда, в стихах своих Блок был

всегда серьезен. Он ведь считал, что «служенье муз не терпит суеты». Даже появляясь на эстраде, когда приходилось ему читать свои стихи, он давал сразу всем торжественным видом своим тон высокого строя, не изменяя обычной своей простоте. Шалил он только в шуточных стихах и в пародиях. <...>

Юмор Блока проявлялся, кроме шуточных стихов и пародий, в шаржах и карикатурах. Шаржи бывали связаны или с литературой, или с театром. Мне запомнился один случай из того времени, когда Блок был еще гимназистом или студентом-первокурсником, в ту пору, когда он увлекался декламацией и мечтал о сцене.

Однажды он зашел вместе с матерью в гости к деду и бабушке, которые жили вместе со мной. Побывав на их половине, он пришел ко мне, а у меня в гостях была моя старая приятельница, знавшая Блока с самого детства. Тут ему вздумалось поиграть в декламацию. Он прочел целиком наизусть некрасовскую «Больницу». <...> Читая, Блок впадал то в слезливость, то в мелодраматизм. Его интонация, позы и жесты были до того уморительны, что

мы все помиралли со смеху, а моя гостья, особа отнюдь не литературная, совсем устала от смеха и только слабым голосом повторяла: «Ах, Саша, какой ты комик». Все это проделывал он не ради эффекта декламации, а просто от игривого настроения и бродившей в нем актерской жилки. <...>

Покидая карикатуры и шаржи, перехожу к самому главному, т. е. к детским шалостям Блока. Начну с того, что Блок на людях и у себя дома в интимном кругу – это два разных человека. Надо еще заметить, что он необыкновенно быстро переходил от одного настроения к другому, и потому легко могло случиться, что утром или днем он напишет самое мрачное стихотворение, а к вечеру развеселится и начнет шалить. Эта непосредственная, простая веселость роднила его с животными, которых он так нежно любил, проводя часы в играх и разговорах с ними. <...>

Те же черты, т. е. добродушие, простодушие и бессловесность, ценил Блок и в животных. Да он и сам способен был «кувыркаться и дразнить прохожих».

О проявлениях этой простой веселости я

попытаюсь теперь рассказать, хотя это очень и очень трудно.

Передать шутливый тон и манеру Блока, когда он был весел и не стеснялся, почти невозможно. Дело было тут не в словах, а в тех шаловливых жестах и минах, к которым он прибегал вместо речи. Это был клоунский юмор в соединении с неудержимой потребностью шалить и некоторой хитростью избалованного ребенка, отделяющегося забавными выходками от всего того, что ему лень или не хочется делать. Между прочим, Блок любил шалить и дурачиться на улице, в модных курортах и т. д., словом, там, где ходит чинная или занятая публика. Тут, конечно, играл роль и дух противоречия. Вел он себя в таких случаях так, что можно было принять его или за сумасшедшего, или за пьяного. Так, еще в первый год замужества Люб. Дм. имела неосторожность пойти вместе с ним в Гостиный двор. Вскоре хождение по лавкам ему надоело, и он начал дурачиться. Внезапно подняв руки вверх как бы в порыве необычайного удивления или негодования, он бросился бежать по одной из линий Гостиного двора,

крича с безумным, отчаянным видом: «Вельветин!» Люб. Дм., ужасаясь и хохоча, пыталась его образумить и с тех пор уже закаялась брать его с собой в такие места.

<...>

И это тот самый Блок, который писал «Ночные часы» и «Седое утро»? – скажут читатели. Да, тот самый. Надоело мне слово «многогранность», но ничего не поделаешь. Приходится сказать, что Блок был бесконечно многогранен и сложен. И, кроме поэта с трагическим восприятием жизни, кроме пророка и лирика, в нем сидел еще и ребенок – непосредственный, бесхитростный, шаловливый и веселый. И так было до последних лет его жизни. В 1921 году это уже почти не проявлялось, но и тогда находили на него минуты шаловливого веселья. Так говорила мне его мать. Сама я в тот год его не видала.

<...>

И из личных моих впечатлений, и из рассказов матери Блока, и его писем к ней можно сделать один и тот же вывод. Юмор Блока приобретает после 30 лет более глубокий и менее добродушный характер. Он часто пере-



ходит в сарказм. Этого злого и меткого юмора много в его письмах к матери из-за границы, писанных в 1911 году, главным образом из Франции (Бретань и Париж).

<...>

Но невинная, мальчишеская веселость тоже не покидала Блока. <...> Заканчивая эту заметку, скажу, что с годами та детская веселость и шаловливость, о которой я говорила, все реже и реже возвращалась к поэту. Бывали долгие периоды беспросветно мрачного и нелюдимого настроения, но все же источник детского смеха не иссякал в нем очень долго. Убить его окончательно могла только последняя жестокая болезнь Блока и первые ее проявления, омрачившие дни его тяжелой и беспросветной печалью.

*«Веселость и юмор Блока»*

*(печатается по изд.: Бекетова М. А. Воспоминания об Александре Блоке. М.: Правда, 1990. С. 617–619, 620, 621, 623, 624).*

## Из «Книги третьей» (1907–1916)

### Из цикла «Страшный мир» (1909–1916) К музе

*Есть в напевах твоих сокровенных  
Роковая о гибели весть.  
Есть проклятье заветов священ-  
ных,  
Поругание счастья есть.*

*И такая влекущая сила,  
Что готов я твердить за молвой,  
Будто ангелов ты низводила,  
Соблазняя своей красотой...*

*И когда ты смеешься над верой,  
Над тобой загорается вдруг  
Тот неяркий, пурпурово-серый  
И когда-то мной виденный круг.*

*Зла, добра ли? – Ты вся – не отсю-  
да,  
Мудрено про тебя говорят:  
Для иных ты и Муза, и чудо.  
Для меня ты – мученье и ад.*

*Я не знаю, зачем на рассвете,*

*В час, когда уже не было сил,  
Не погиб я, но лик твой заметил  
И твоих утешений просил?*

*Я хотел, чтоб мы были врагами,  
Так за что ж подарила мне ты  
Луг с цветами и твердь со звезда-  
ми —  
Все проклятье своей красоты?*

*И коварнее северной ночи,  
И хмельней золотого Аи,  
И любви цыганской короче  
Были страшные ласки твои...*

*И была роковая отрада  
В попираньи заветных святынь,  
И безумная сердцу услада —  
Эта горькая страсть, как по-  
лынь!*

1912

**«Под шум и звон однообразный...»**

*Под шум и звон однообразный,  
Под городскую суету  
Я ухожу, душою праздный,  
В метель, во мрак и в пустоту.*

Я обрываю нить сознанья  
И забываю, что и как...  
Кругом – снега, трамваи, зданья,  
А впереди – огни и мрак.

Что, если я, замороженный,  
Сознанья оборвавший нить,  
Вернусь домой уничтоженный, —  
Ты можешь ли меня простить?

Ты, знающая дальней цели  
Путеводительный маяк,  
Простишь ли мне мои метели,  
Мой бред, поэзию и мрак?

Иль можешь лучше: не прощая,  
Будить мои колокола,  
Чтобы распутица ночная  
От родины не увела?

1909

## **ДВОЙНИК**

Однажды в октябрьском тумане  
Я брел, вспоминая напев.  
(О, миг непродажных лобзаний!  
О, ласки некупленных дев!)  
И вот, в непроглядном тумане  
Возник позабытый напев.

И стала мне молодость сниться,  
И ты, как живая, и ты...  
И стал я мечтой уноситься  
От ветра, дождя, темноты...  
(Так ранняя молодость снится,  
А ты-то, вернешься ли ты?)

Вдруг вижу – из ночи туманной,  
Шатаясь, подходит ко мне  
Стареющий юноша (странно,  
Не снился ли мне он во сне?),  
Выходит из ночи туманной  
И прямо подходит ко мне.

И шепчет: «Устал я шататься,  
Промозглым туманом дышать,  
В чужих зеркалах отражаться  
И женщин чужих целовать...»  
И стало мне странным казаться,  
Что я его встречу опять...

Вдруг – он улыбнулся нахально,  
И нет близ меня никого...  
Знаком этот образ печальный,  
И где-то я видел его...  
Быть может, себя самого  
Я встретил на глади зеркальной?

## Песнь ада

*День догорел на сфере той земли,  
Где я искал путей и дней короче.  
Там сумерки лиловые легли.*

*Меня там нет. Тропой подземной  
ночи  
Схожу, скользя, уступом скольз-  
ких скал.  
Знакомый Ад глядит в пустые  
очи.*

*Я на земле был брошен в яркий  
бал,  
И в диком танце масок и обличий  
Забыл любовь и дружбу потерял.*

*Где спутник мой? – О, где ты, Бе-  
атриче? —  
Иду один, утратив правый путь,  
В кругах подземных, как велит  
обычай,*

*Средь ужасов и мраков потонуть.  
Поток несет друзей и женщин  
трупы,  
Кой-где мелькнет молящий взор,  
иль грудь,*

Пощады вопль, иль возглас нежный – скупой  
Сорвется с уст; здесь умерли слова;  
Здесь стянута бессмысленно и тупо

Кольцом железной боли голова;  
И я, который пел когда-то нежно,  
—  
Отверженец, утративший права!

Все к пропасти стремятся безнадежной,  
И я вослед. Но вот, в прорыве скал,  
Над пеною потока белоснежной,

Передо мною бесконечный зал.  
Сеть кактусов и роз благоуханье,  
Обрывки мрака в глубине зеркал;

Далеких утр неясное мерцанье  
Чуть золотит поверженный кумир;  
И душное спирается дыханье.

Мне этот зал напомнил страшный мир,

Где я бродил слепой, как в дикой  
сказке,  
И где застиг меня последний пир.

Там – брошены зияющие маски;  
Там – старцем соблазненная же-  
на,  
И наглый свет застал их в мерз-  
кой ласке...

Но заалелся переплет окна  
Под утренним холодным поцелу-  
ем,  
И странно розовеет тишина.

В сей час в стране блаженной мы  
ночуем,  
Лишь здесь бессилен наш земной  
обман,  
И я смотрю, предчувствием вол-  
нуем,

В глубь зеркала сквозь утренний  
туман.  
Навстречу мне, из паутины мра-  
ка,  
Выходит юноша. Затянут стан;



Увядшей розы цвет в петлице  
фрака  
Бледнее уст на лице мертвеца;  
На пальце – знак таинственного  
брака —

Сияет острый аметист кольца;  
И я смотрю с волнением непо-  
нятным  
В черты его отцветшего лица

И вопрошаю голосом чуть внят-  
ным:  
«Скажи, за что томиться дол-  
жен ты  
И по кругам скитаться невоз-  
вратным?»

Пришли в смятенье тонкие чер-  
ты,  
Сожженный рот глотает воздух  
жадно,  
И голос говорит из пустоты:

«Узнай: я предан муке беспощад-  
ной  
За то, что был на горестной зем-  
ле

Под тяжким игом страсти безотрадной.

Едва наш город скроется во мгле,

—  
Томим волной безумного напева,  
С печатью преступленья на челе,

Как падшая униженная дева,  
Ищу забвенья в радостях вина...  
И пробил час карающего гнева:

Из глубины невиданного сна  
Всплеснулась, ослепила, засияла  
Передо мной – чудесная жена!

В вечернем звоне хрупкого бокала,  
В тумане хмельном встретившись на миг  
С единственной, кто ласки презирала,

Я ликование первое постиг!  
Я утопил в ее зеницах взоры!  
Я испустил впервые страстный крик!

Так этот миг настал, неожиданно

скорый.  
И мрак был глух. И долгий вечер  
мглист.  
И странно встали в небе метеоро-  
ры.

И был в крови вот этот аме-  
тист.  
И пил я кровь из плеч благоухан-  
ных,  
И был напиток душен и смо-  
лист...

Но не кляни повествований  
странных  
О том, как длился непонятный  
сон...  
Из бездн ночных и пропастей ту-  
манных

К нам доносился погребальный  
звон;  
Язык огня взлетел, свистя, над  
нами,  
Чтоб сжечь ненужность прерван-  
ных времен!

И – сомкнутых безмерными цепя-

ми —

Нас некий вихрь увлек в подземный мир!

Окованной навек глухими снами,

Дано ей чують боль и помнить пир,

Когда, что ночь, к плечам ее атласным

Тоскующий склоняется вампир!

Но мой удел – могу ль не звать ужасным?

Едва холодный и больной рассвет  
Исполнит Ад сияньем безучастным,

Из зала в зал иду свершать завет,  
Гоним тоскою страсти безначальной, —

Так сострадай и помни, мой поэт:

Я обречен в далеком мраке спальной,

Где спит она и дышит горячо,  
Склонясь над ней влюбленно и печально,

*Вонзить свой перстень в белое  
плечо!»*

1909

**«Поздней осенью из гавани...»**

*Поздней осенью из гавани  
От заметенной снегом земли  
В предназначенное плаванье  
Идут тяжелые корабли.*

*В черном небе означается  
Над водой подъемный кран,  
И один фонарь качается  
На оснеженном берегу.*

*И матрос, на борт не принятый,  
Идет, шатаясь, сквозь буран.  
Все потеряно, все выпито!  
Довольно – больше не могу...*

*А берег опустелой гавани  
Уж первый легкий снег занес...  
В самом чистом, в самом неж-  
ном саване  
Сладко ли спать тебе, матрос?*

1909

**На островах**

Вновь оснеженные колонны,  
Елагин мост и два огня.  
И голос женщины влюбленный.  
И хруст песка и храп коня.

Две тени, слитых в поцелуе,  
Летят у полости саней.  
Но не таясь и не ревнуя,  
Я с этой новой – с пленной – с ней.

Да, есть печальная услада  
В том, что любовь пройдет, как  
снег.  
О, разве, разве клясться надо  
В старинной верности навек?

Нет, я не первую ласкаю  
И в строгой четкости моей

Уже в покорность не играю  
И царств не требую у ней.

Нет, с постоянством геометра  
Я числю каждый раз без слов  
Мосты, часовню, резкость ветра,  
Безлюдность низких островов.

Я чту обряд: легко заправить

*Медвежью полость на лету,  
И, тонкий стан обняв, лукавить,  
И мчатся в снег и темноту,*

*И помнить узкие ботинки,  
Влюбляясь в хладные меха...  
Ведь грудь моя на поединке  
Не встретит шпаги жениха...*

*Ведь со свечой в тревоге давней  
Ее не ждет у двери мать...  
Ведь бедный муж за плотной  
ставней  
Ее не станет ревновать...*

*Чем ночь прошедшая сияла,  
Чем настоящая зовет,  
Все только – продолженье бала,  
Из света в сумрак переход...*

*1909*

**«С мирным счастьем покончены  
счеты...»**

*С мирным счастьем покончены  
счеты,  
Не дразни, запоздалый уют.  
Всюду эти щемящие ноты  
Стерегут и в пустыню зовут.*

Жизнь пустынна, бездомна, без-  
донна,  
Да, я в это поверил с тех пор,  
Как пропел мне сиреной влюблен-  
ной  
Тот, сквозь ночь пролетевший  
мотор...

1910

### **«Седые сумерки легли...»**

Седые сумерки легли  
Весной на город бледный.  
Автомобиль пропел вдали  
В рожок победный.

Глядись сквозь бледное окно,  
К стеклу прижавшись плотно...  
Глядись. Ты изменил давно,  
Бесповоротно.

1910

### **В ресторане**

Никогда не забуду (он был, или не  
был,  
Этот вечер): пожаром зари  
Сожжено и раздвинуто бледное  
небо,



*И на желтой заре – фонари.*

*Я сидел у окна в переполненном зале.*

*Где-то пели смычки о любви.*

*Я послал тебе черную розу в бокале*

*Золотого, как небо, Аи.*

*Ты взглянула. Я встретил смущенно и дерзко*

*Взор надменный и отдал поклон.*

*Обратясь к кавалеру, намеренно резко*

*Ты сказала: «И этот влюблен».*

*И сейчас же в ответ что-то грянули струны,*

*Исступленно запели смычки...*

*Но была ты со мной всем презрением юным,*

*Чуть заметным дрожаньем руки...*

*Ты рванулась движеньем испуганной птицы,*

*Ты прошла, словно сон мой легка...*

*И вздохнули духи, задремали рес-  
ницы,  
Зашептались тревожно шелка.*

*Но из глуби зеркал ты мне взоры  
бросала  
И, бросая, кричала: «Лови!..»  
А монисто брэнчало, цыганка  
плясала  
И визжала заре о любви.*

*1910*

### **Демон**

*Прижмись ко мне крепче и ближе,  
Не жил я – блуждал средь чу-  
жих...  
О, сон мой! Я новое вижу  
В бреду поцелуев твоих!*

*В томленьи твоём исступленном  
Тоска небывалой весны  
Горит мне лучом отдаленным  
И тянется песней зурны.*

*На дымно-лиловые горы  
Принес я на луч и на звук  
Усталые губы и взоры  
И плети изломанных рук.*

*И в горном закатном пожаре,  
В разливах синеющих крыл,  
С тобою, с мечтой о Тамаре,  
Я, горный, навеки без сил...*

*И снится – в далеком ауле,  
У склона бессмертной горы,  
Тоскливо к нам в небо плеснули  
Ненужные складки чадры...*

*Там стелется в пляске и плачет,  
Пыль вьется и стонет зурна...  
Пусть скачет жених – не доска-  
чет!  
Чеченская пуля верна.*

*1910*

**«Как тяжело ходить среди людей...»**

*Там человек сгорел.*

*Фет*

*Как тяжело ходить среди людей  
И притворяться непогибшим,  
И об игре трагической страстей  
Повествовать еще не жившим.*

*И, взглядываясь в свой ночной кош-  
мар,*

*Строй находить в нестройном  
вихре чувства,  
Чтобы по бледным заревам искусства  
Узнали жизни гибельный пожар!*

*1910*

**«Идут часы, и дни, и годы...»**

*Идут часы, и дни, и годы.  
Хочу стряхнуть какой-то сон,  
Взглянуть в лицо людей, природы,  
Рассеять сумерки времен...*

*Там кто-то машет, дразнит светом  
(Так зимней ночью, на крыльцо  
Тень чья-то глянет силуэтом,  
И быстро спрячется лицо).*

*Вот меч. Он был. Но он – не нужен.  
Кто обессилил руку мне? —  
Я помню: мелкий ряд жемчужин  
Однажды ночью, при луне,*

*Больная, жалобная стужа,  
И моря снеговая гладь...  
Из-под ресниц сверкнувший ужас*

—  
Старинный ужас (дай понять) ...

Слова? – Их не было. – Что ж было? —

Ни сон, ни явь. Вдали, вдали  
Звенело, гасло, уходило  
И отделялось от земли...

И умерло. А губы пели.  
Прошли часы, или года...  
(Лишь телеграфные звенели  
На черном небе провода...)

И вдруг (как памятно, знакомо!)  
Отчетливо, издалека  
Раздался голос: Ессе ното! —  
Меч выпал. Дрогнула рука...

И перевязан шелком душным  
(Чтоб кровь не шла из черных  
жил),  
Я был веселым и послушным,  
Обезоруженный – служил.

Но час настал. Припоминая,  
Я вспомнил: нет, я не слуга.  
Так падай, перевязь цветная!

*Хлынь, кровь, и обзагри снега!*

*1910*

## **Унижение**

*В черных сучьях деревьев обнажен-  
ных*

*Желтый зимний закат за окном.  
(К эшафоту на казнь осужденных  
Поведут на закате таком.)*

*Красный штоф полинялых дива-  
нов,  
Пропыленные кисти портьер...  
В этой комнате, в звоне стака-  
нов,  
Купчик, шулер, студент, офицер...*

*Этих голых рисунков журнала  
Не людская касалась рука...  
И рука подлеца нажимала  
Эту грязную кнопку звонка...*

*Чу! По мягким коврам прозвенели  
Шпоры, смех, заглушенный дверь-  
ми...  
Разве дом этот – дом в самом де-  
ле?  
Разве так суждено меж людьми?*

Разве рад я сегодняшней встрече?  
Что ты ликом бела, словно  
плат?

Что в твои обнаженные плечи  
Бьет огромный холодный закат?

Только губы с запекшейся кровью  
На иконе твоей золотой  
(Разве это мы звали любовью?)  
Преломились безумной чертой...

В желтом, зимнем, огромном за-  
кате

Утонула (так пышно!) кровать...  
Еще тесно дышать от объятий,  
Но ты свищешь опять и опять...

Он не весел – твой свист замо-  
гильный...

Чу! Опять – бормотание шпор...  
Словно змей, тяжкий, сытый и  
пыльный,  
Шлейф твой с кресел ползет на  
ковер...

Ты смела! Так еще будь бесстраш-  
ней!

Я – не муж, не жених твой, не

*друг!  
Так вонзай же, мой ангел вчераш-  
ний,  
В сердце – острый французский  
каблук!*

*1911*

## **Авиатор**

*Летун отпущен на свободу.  
Качнув две лопасти свои,  
Как чудище морское в воду,  
Скользнул в воздушные струи.*

*Его винты поют, как струны...  
Смотри: недрогнувший пилот  
К слепому солнцу над трибуной  
Стремит свой винтовой полет...*

*Уж в вышине недостижимой  
Сияет двигателя медь...  
Там, еле слышный и незримый,  
Пропеллер продолжает петь...*

*Потом – напрасно ищет око:  
На небе не найдешь следа:  
В бинокле, вскинутом высоко,  
Лишь воздух – ясный, как вода...*



*А здесь, в колеблющемся зное,  
В курящейся над лугом мгле,  
Ангары, люди, все земное —  
Как бы придавлено к земле...*

*Но снова в золотом тумане,  
Как будто неземной аккорд...  
Он близок, миг рукоплесканий  
И жалкий мировой рекорд!*

*Все ниже спуск винтообразный,  
Все круче лопастей извив,  
И вдруг... нелепый, безобразный  
В однообразьи перерыв...*

*И зверь с умолкшими винтами  
Повис пугающим углом...  
Ищи отцветшими глазами  
Опоры в воздухе... пустом!*

*Уж поздно: на траве равнины  
Крыла измятая дуга...  
В сплетеньи проволок машины  
Рука – мертвее рычага...*

*Зачем ты в небе был, отважный,  
В свой первый и последний раз?  
Чтоб львице светской и продаж-*

ной  
Поднять к тебе фиалки глаз?

Или восторг самозабвенья  
Губительный изведаль ты,  
Безумно возалкал паденья  
И сам остановил винты?

Иль отравил твой мозг несчаст-  
ный  
Грядущих войн ужасный вид:  
Ночной летун, во мгле ненастной  
Земле несущий динамит?

1910–1912

## Пляски смерти

### 1

Как тяжело мертвецу среди людей  
Живым и страстным притво-  
ряться!  
Но надо, надо в общество вти-  
раться,  
Скрывая для карьеры лязг ко-  
стей...

Живые спят. Мертвец встает из  
гроба,  
И в банк идет, и в суд идет, в се-

нат...

Чем ночь белее, тем чернее злоба,  
И перья торжествующе скрипят.

Мертвец весь день трудится над докладом.

Присутствие кончается. И вот —  
Нашептывает он, виляя задом,  
Сенатору скабресный анекдот...

Уж вечер. Мелкий дождь зашлепал грязью

Прохожих, и дома, и прочий вздор...

А мертвеца – к другому безобразью

Скрежещущий несет таксомотор.

В зал многолюдный и многоколонный

Спешит мертвец. На нем – изящный фрак.

Его дарят улыбкой благосклонной

Хозяйка-дура и супруг-дурак.

Он изнемог от дня чиновной ску-

ки,  
Но лязг костей музыкой заглушен...  
Он крепко жмет приятельские  
руки —  
Живым, живым казаться должен  
он!

Лишь у колонны встретится очами  
С подругою – она, как он, мертва.  
За их условно-светскими речами  
Ты слышишь настоящие слова:

«Усталый друг, мне странно в  
этом зале». —  
«Усталый друг, могила холодна».  
—  
«Уж полночь». – «Да, но вы не пригласили  
На вальс NN. Она в вас влюблена...»

А там – NN уж ищет взором  
страстным  
Его, его – с волнением в крови...  
В ее лице, девически прекрасном,  
Бессмысленный восторг живой

любви...

Он шепчет ей незначащие речи,  
Пленительные для живых слова,  
И смотрит он, как розовеют плечи,  
Как на плечо склонилась голова...

И острый яд привычно-светской  
злости  
С нездешней злостью расточает  
он...  
«Как он умен! Как он в меня влюблен!»  
В ее ушах – нездешний, странный  
звон:  
То кости лязгают о кости.

1912

## 2

Ночь, улица, фонарь, аптека,  
Бессмысленный и тусклый свет.  
Живи еще хоть четверть века —  
Все будет так. Исхода нет.

Умрешь – начнешь опять сначала,  
И повторится все, как встарь:  
Ночь, ледяная рябь канала,

Аптека, улица, фонарь.

1912

3

Пустая улица. Один огонь в окне.  
Еврей-аптекарь охает во сне.

А перед шкапом с надписью  
Уепена,  
Хозяйственно согнув скрипучие  
колена,

Скелет, до глаз закутанный пла-  
щом,  
Чего-то ищет, скалясь черным  
ртом...

Нашел... Но ненароком чем-то  
звякнул.  
И череп повернул... Аптекарь  
крякнул,

Привстал – и на другой свалился  
бок...  
А гость меж тем – заветный пу-  
зырек

Сует из-под плаща двум женщи-

нам безносным  
На улице, под фонарем белесым.  
1912

4

Старый, старый сон: из мрака  
Фонари бегут – куда?  
Там – лишь черная вода,  
Там – забвеньё навсегда.

Тень скользит из-за угла,  
К ней другая подползла.  
Плащ распахнут, грудь бела,  
Алый цвет в петлице фрака.

Тень вторая – стройный латник,  
Иль невеста от венца?  
Шлем и перья. Нет лица.  
Неподвижность мертвеца.

В воротах гремит звонок,  
Глухо щелкает замок.  
Переходят за порог  
Проститутка и развратник...

Воеет ветер леденящий,  
Пусто, тихо и темно.  
Наверху горит окно.

*Все равно.*

*Как свинец, черна вода.  
В ней – забвенье навсегда.  
Третий призрак. Ты куда,  
Ты, из тени в тень скользящий?*

*1914*

**5**

*Вновь богатый зол и рад,  
Вновь унижен бедный.  
С кровель каменных громад  
Смотрит месяц бледный,*

*Насыляет тишину,  
Оттеняет крутизну  
Каменных отвесов,  
Черноту навесов...*

*Все бы это было зря,  
Если б не было царя,  
Чтоб блюсти законы.*

*Только не ищи дворца,  
Добродушного лица,  
Золотой короны.*

*Он – с далеких пустырей*



*В свете редких фонарей  
Появляется.*

*Шея скручена платком,  
Под дырявым козырьком  
Улыбается.*

*1914*

**«Миры летят. Года летят. Пустая...»**

*Миры летят. Года летят. Пустая*

*Вселенная глядит в нас мраком  
глаз.*

*А ты, душа, усталая, глухая,  
О счастье твердишь, – в который  
раз?*

*Что счастье? Вечерние прохлады  
В темнеющем саду, в лесной глуши?*

*Иль мрачные порочные улады  
Вина, страстей, погибели души?*

*Что счастье? Короткий миг и  
тесный,  
Забвенье, сон и отдых от забот...  
Очнешься – вновь безумный, неиз-  
вестный*

*И за сердце хватающей полет...*

*Вздохнул, глядишь – опасность  
миновала...*

*Но в этот самый миг – опять  
толчок!*

*Запущенный куда-то, как попало,  
Летит, жужжит, торопится  
волчок!*

*И, уцепясь за край скользящий,  
острый,*

*И слушая всегда жужжащий, ост-  
рый,*

*Не сходим ли с ума мы в смене  
пестрой*

*Придуманых причин, про-  
странств, времен?*

*Когда ж конец? Назойливому зву-  
ку*

*Не станет сил без отдыха вни-  
мать...*

*Как страшно все! Как дико! – Дай  
мне руку,*

*Товарищ, друг! Забудемся опять.*

*1912*

## «Осенний вечер был. Под звук дождя...»

*Ночь без той, зовут кого Светлым  
именем: Ленора.  
Эдгар По*

*Осенний вечер был. Под звук до-  
ждя стеклянный  
Решал все тот же я – мучитель-  
ный вопрос,  
Когда в мой кабинет, огромный и  
туманный,  
Вошел тот джентльмен. За  
ним – лохматый пес.*

*На кресло у огня уселся гость  
устало,  
И пес у ног его разлегся на ковер.  
Гость вежливо сказал: «Ужель  
еще вам мало?  
Пред Гением Судьбы пора сми-  
риться, сер».*

*«Но в старости – возврат и юно-  
сти, и жара...» —  
Так начал я... но он настойчиво  
прервал:  
«Она – все та ж: Линор безумного  
Эдгара.*

*Возврата нет. – Еще? Теперь я все сказал».*

*И странно: жизнь была – восторгом,  
бурей, адом,  
А здесь – в вечерний час – с чужим  
наедине —  
Под этим деловым, давно спокойным  
взглядом,  
Представилась она гораздо проще  
мне...*

*Тот джентльмен ушел. Но пес со  
мною бесшумно.  
В час горький на меня оставит  
добрый взор,  
И лапу жесткую положит на колено,  
Как будто говорит: Пора смириться,  
сер.*

*1912*

**«Есть игра: осторожно войти...»**

*Есть игра: осторожно войти,  
Чтоб вниманье людей усыпить;  
И глазами добычу найти;  
И за ней незаметно следить.*

Как бы ни был нечуток и груб  
Человек, за которым следят, —  
Он почувствует пристальный  
взгляд  
Хоть в углах еле дрогнувших губ.

А другой – точно сразу поймет:  
Вздрогнут плечи, рука у него;  
Обернется – и нет ничего;  
Между тем – беспокойство рас-  
тет.

Тем и страшен невидимый взгляд,  
Что его невозможно поймать;  
Чуешь ты, но не можешь понять,  
Чьи глаза за тобою следят.

Не корысть – не влюбленность, не  
месть;  
Так – игра, как игра у детей:  
И в собрании каждом людей  
Эти тайные сыщики есть.

Ты и сам иногда не поймешь,  
Отчего так бывает порой,  
Что собою ты к людям придешь,  
А уйдешь от людей – не собой.

*Есть дурной и хороший есть глаз,  
Только лучше б ничей не следил:  
Слишком много есть в каждом  
из нас  
Неизвестных, играющих сил...*

*О, тоска! Через тысячу лет  
Мы не сможем измерить души:  
Мы услышим полет всех планет,  
Громовые раскаты в тиши...*

*А пока – в неизвестном живем  
И не ведаем сил мы своих,  
И, как дети, играя с огнем,  
Обжигаем себя и других.*

*1913*

**«Ну что же? Устало заломлены слабые  
руки...»**

*Ну что же? Устало заломлены  
слабые руки,  
И вечность сама загляделась в по-  
гасшие очи,  
И муки утихли. А если б и были  
высокие муки, —  
Что нужды? – Я вижу печальное  
шествие ночи.*

*Ведь солнце, положенный круг  
обойдя, закатилось.*

*Открой мои книги: там сказано  
все, что свершится.*

*Да, был я пророком, пока это  
сердце молилось.*

*Молилось и пело тебя, но ведь  
ты – не царица.*

*Царем я не буду: ты власти меч-  
ты не делила.*

*Рабом я не стану: ты власти зем-  
ли не хотела.*

*Вот новая ноша: пока не откроет  
могила*

*Сырые объятья, – тащиться без  
важного дела.*

*Но я – человек. И, паденье свое  
признавая,*

*Тревогу свою не смирю я: она все  
сильнее.*

*То ревность по дому, тревогою  
сердце снедая,*

*Твердит неотступно: Что дела-  
ешь, делай скорее.*

*1914*

# Жизнь моего приятеля

## 1

*Весь день – как день: трудов исполнен малых  
И мелочных забот.  
Их вереница мимо глаз усталых  
Ненужно проплывет.*

*Волнуешься, – а в глубине покорный:  
Не выгорит – и пусть.  
На дне твоей души, безрадостной  
и черной,  
Безверие и грусть.*

*И к вечеру отхлынет вереница  
Твоих дневных забот.  
Когда ж в морозный мрак за-  
смотрится столица,  
И полночь пропоет, —*

*И рад бы ты уснуть, но – страшная минута!  
Средь всяких прочих дум —  
Бессмысленность всех дел, безрадостность уюта  
Придут тебе на ум.*



*И тихая тоска сожмет так нежно  
горло:*

*Ни охнуть, ни вздохнуть,  
Как будто ночь на все проклятие  
простерла,  
Сам дьявол сел на грудь!*

*Ты вскочишь и бежишь на улицы  
глухие,  
Но некому помочь:  
Куда ни повернись – глядит в глаза  
пустые  
И провожает – ночь.*

*Там ветер над тобой на сквозняках  
простонет  
До бледного утра;  
Городовой, чтоб не заснуть, отгонит  
Бродягу от костра...*

*И, наконец, придет желанная  
усталость,  
И станет все равно...  
Что? Совесть? Правда? Жизнь?  
Какая это малость!  
Ну, разве не смешно?*

*1914*

## 2

*Поглядите, вот бессильный,  
Не умевший жизнь спасти,  
И она, как дух могильный,  
Тяжко дремлет взаперти.*

*В голубом морозном своде  
Так приплюснут диск больной,  
Заплевавший все в природе  
Нестерпимой желтизной.*

*Уходи и ты. Довольно  
Ты терпел, несчастный друг,  
От его тоски невольной,  
От его невольных мук.*

*То, что было, миновалось,  
Ваш удел на все похож:  
Сердце к правде прорывалось,  
Но его сломила ложь.*

1913

## 3

*Все свершилось по писаньям:  
Остудился юный пыл,  
И конец очарованьям  
Постепенно наступил.*

Был в чаду, не чуя чада,  
Утешался мукой ада,

Перечислил все слова,  
Но – болела голова...

Долго, жалобно болела,  
Тело тихо холодело,  
Пробудился: тридцать лет,  
Хватать-похватать, – а сердца нет.

Сердце – крашенный мертвец,  
И, когда настал конец,  
Он нашел весьма банальной  
Смерть души своей печальной.

1913

#### 4

Когда невзначай в воскресенье  
Он душу свою потерял,  
В сыскное не шел отделение,  
Свидетелей он не искал.

А было их, впрочем, немало:  
Дворовый щенок голосил,  
В воротах старуха стояла,  
И дворник на чай попросил.

*Когда же он медленно вышел,  
Подняв воротник, из ворот,  
Таращил сочувственно с крыши  
Глазищи обмызганный кот.*

*Ты думаешь, тоже свидетель?  
Так он и ответит тебе!  
В такой же гульбе  
Его добродетель!*

1913

## 5

*Пристал ко мне нищий дурак,  
Идет по пятам, как знакомый.  
«Где деньги твои?» – «Снес в ка-  
бак». —  
«Где сердце?» – «Закинута в  
омут».*

*«Чего ж тебе надо?» – «Того,  
Чтоб стал ты, как я, откровенен,  
Как я, в униженьи, смиренен,  
А больше, мой друг, ничего».*

*«Что лезешь ты в сердце чужое?  
Ступай, проходи, сторонись!» —  
«Ты думаешь, милый, нас двое?  
Напрасно: смотри, оглянись...»*

*И правда (ну, задал задачу!),  
Гляжу – близь меня никого...  
В карман посмотрел – ничего...  
Взглянул в свое сердце... и плачу.*

1914

6

*День проходил, как всегда:  
В сумасшествии тихом.  
Все говорили кругом  
О болезнях, врачах и лекарствах.  
О службе рассказывал друг,  
Другой – о Христе,  
О газете – четвертый.  
Два стихотворца (поклонники  
Пушкина)  
Книжки прислали  
С множеством рифм и размеров.*

*Курсистка прислала  
Рукопись с тучей эпиграфов  
(Из Надсона и символистов).  
После – под звон телефона —  
Посыльный конверт подавал,  
Надушенный чужими духами.  
Розы поставьте на стол,  
Написано было в записке,  
И приходилось их ставить на*

*стол...*

*После – собрат по перу,  
До глаз в бороде утонувший,  
О причитаньях у южных хорва-  
тов*

*Рассказывал долго.*

*Критик, громя футуризм,*

*Символизмом шпынял,*

*Заклучив реализмом.*

*В кинематографе вечером*

*Знатный барон целовался под  
пальмой*

*С барышней низкого званья,*

*Ее до себя возвышая...*

*Все было в отменном порядке.*

*Он с вечера крепко уснул*

*И проснулся в другой стране.*

*Ни холод утра,*

*Ни слово друга,*

*Ни дамские розы,*

*Ни манифест футуриста,*

*Ни стихи пушкиньянца,*

*Ни лай собачий,*

*Ни грохот тележный, —*

*Ничто, ничто*

*В мир возвратить не могло...*

*И что поделаешь, право,  
Если отменный порядок  
Милого дольного мира  
В сны иногда погрузит,  
И в снах этих многое снится...  
И не всегда в них такой,  
Как в мире, отменный порядок...*

*Нет, очнешься порой,  
Взволнован, встревожен  
Воспоминанием смутным,  
Предчувствием тайным...  
Буйно забьются в мозгу  
Слишком светлые мысли...  
И, укрощая их буйство,  
Словно пугаясь чего-то, – не луч-  
ше ль,  
Думаешь ты, чтоб и новый  
День проходил, как всегда:  
В сумасшествии тихом?*

1914

7

**Г**оворят Черти:

*Грещи, пока тебя волнуют  
Твои невинные грехи,  
Пока красавицу колдуют  
Твои греховные стихи.*

*На утешенье, на забаву  
Пей искрометное вино,  
Пока вино тебе по нраву,  
Пока не тягостно оно.*

*Сверкнут ли дерзостные очи —  
Ты их сверканий не отринь,  
Грехам, вину и страстной ночи  
Шепча заветное «аминь».*

*Ведь все равно, очарованье  
Пройдет, и в сумасшедший час  
Ты, в испугленном покаяньи,  
Проклясть замыслишь бедных,  
нас.*

*И станешь падать – но толпою  
Мы все, как ангелы, чисты,  
Тебя подхватим, чтоб пятою  
О камень не преткнулся ты.*

*1915*

## 8

**Г**оворит Смерть:

*Когда осилила тревога,  
И он в тоске обезумел,  
Он разучился славить Бога  
И песни грешные запел.*



Но, оторопью обуянный,  
Он прозревал, и смутный рой  
Былых видений, образ странный  
Его преследовал порой.

Но он измучился – и ранний  
Жар юности простыл – и вот  
Тщета святых воспоминаний  
Пред ним медлительно встает.

Он больше ни во что не верит,  
Себя лишь хочет обмануть,  
А сам – к моей блаженной двери  
Отыскивает вяло путь.

С него довольно славить Бога —  
Уж он – не голос, только – стон.  
Я отворю. Пускай немного  
Еще помучается он.

1915

## **Черная кровь**

**1**

В пол-оборота ты встала ко мне,  
Грудь и рука твоя видится мне.

Мать запрещает тебе подходить,  
Мне – искушенье тебя оскорбить!

Нет, опустил я напрасно глаза,  
Дышит, преследует, близко – гро-  
за...

Взор мой горит у тебя на щеке,  
Трепет бежит по дрожащей ру-  
ке...

Ширится круг твоего мне огня,  
Ты, и не глядя, глядишь на меня!

Пеплом подернутый бурый ко-  
стер —  
Твой не глядящий, скользящий  
твой взор!

Нет! Не смирит эту черную кровь  
Даже – свиданье, даже – любовь!

1914

## 2

Я гляжу на тебя. Каждый демон  
во мне  
Притаился, глядит.  
Каждый демон в тебе сторожит,  
Притаясь в грозовой тишине...

И вздымается жадная грудь...

Этих демонов страшных вспугнуть?

Нет! Глаза отвратить, и не сметь, и не сметь

В эту страшную пропасть глядеть!

1914

### 3

Даже имя твое мне презренно,  
Но, когда ты сощуришь глаза,  
Слышу, воеет поток многопенный,  
Из пустыни подходит гроза.

Глаз молчит, золотистый и карий,

Горла тонкие ищут персты...

Подойди. Подползи. Я ударю —  
И, как кошка, ощерись ты...

1914

### 4

О, нет! Я не хочу, чтоб пали мы с тобой

В объятия страшные! Чтоб долго  
длились муки,

Когда – ни расплести сцепившиеся

руки,  
Ни разомкнуть уста – нельзя во  
тьме ночной!

Я слепнуть не хочу от молнии  
грозовой,  
Ни слушать скрипок вой (неисто-  
вые звуки!),  
Ни испытать прибор неизречен-  
ной скуки,  
Зарывшись в пепел твой горячей  
головой!

Как первый человек, божествен-  
ным сгорая,  
Хочу вернуть навек на синий берег  
рая  
Тебя, убив всю ложь и уничтожив  
яд...

Но ты меня зовешь! Твой ядови-  
тый взгляд  
Иной пророчит рай! – Я уступаю,  
зная,  
Что твой змеиный рай – бездон-  
ной скуки ад.

1912

## 5

Вновь у себя... Унижен, зол и рад.  
Ночь, день ли там, в окне?  
Вон месяц, как пауч, над кровля-  
ми громад  
Гримасу корчит мне...

Дневное солнце – прочь, раская-  
ние – прочь!  
Кто смеет мне помочь?  
В опустошенный мозг ворвется  
только ночь,  
Ворвется только ночь!

В пустую грудь один, один проник-  
нет взгляд,  
Вопьется жадный взгляд...  
Все отойдет навек, настанет ни-  
когда,  
Когда ты крикнешь: Да!

1914

## 6

Испугом схвачена, влекома  
В водоворот...  
Как эта комната знакома!  
И все навек пройдет?

*И, в ужасе, несвязно шепчет...  
И, скрыв лицо,  
Пугливых рук свивает крепче  
Певучее кольцо...*

*...И утра первый луч звенящий  
Сквозь желтых штор...  
И чертит Бог на теле спящей  
Свой световой узор.*

1914

7

*Ночь, как века, и томный трепет,  
И страстный бред,  
Уст о блаженно-странном лепет,  
В окне – старинный, слабый свет.*

*Несбыточные уверенья,  
Нет, не слова —  
То, что теряет все значенье,  
Забрежжит бледный день едва...*

*Тогда – во взгляде глаз усталом*

*—  
Твоя в нем ложь!  
Тогда мой рот извивом алым  
На твой таинственно похож!*

*Я ее победил наконец!  
Я завлек ее в мой дворец!*

*Три свечи в бесконечной дали.  
Мы в тяжелых коврах, в пыли.*

*И под смуглым огнем трех свеч  
Смуглый бархат открытых плеч,*

*Буря спутанных кос, тусклый  
глаз,  
На кольцо – померкший алмаз,*

*И обугленный рот в крови  
Еще просит пыток любви...*

*А в провале глухих окон  
Смутный шелест многих знамен,*

*Звон, и трубы, и конский топ,  
И качается тяжкий гроб...*

*– О, любимый, мы не одни!  
О, несчастный, гаси огни!..*

– Отгони непонятный страх —  
Это кровь прошумела в ушах.

Близок вой похоронных труб,  
Смутен вздох охладевших губ:

– Мой красавец, позор мой, бич...  
Ночь бросает свой мглистый  
клич,

Гаснут свечи, глаза, слова...  
– Ты мертва, наконец, мертва!

Знаю, выпил я кровь твою...  
Я кладу тебя в гроб и пою, —

Мглистой ночью о нежной весне  
Будет петь твоя кровь во мне!

1909

## 9

Над лучшим созданием Божьим  
Изведал я силу презренья,  
Я палкой ударил ее.

Поспешно оделась. Уходит.  
Ушла. Оглянулась пугливо  
На сизые окна мои.



*И нет ее. В сизые окна  
Вливается вечер ненастный,  
А дальше, за мраком ненастья,  
Горит заревая кайма.*

*Далекие, влажные доли  
И близкое, бурное счастье!  
Один я стою и внимаю  
Тому, что мне скрипки поют.*

*Поют они дикие песни  
О том, что свободным я стал!  
О том, что на лучшую долю  
Я низкую страсть променял!*

1910

## **Демон**

*Иди, иди за мной – покорной  
И верною моею работой.  
Я на сверкнувший гребень горный  
Взлечу с тобой.*

*Я пронесу тебя над бездной,  
Ее бездонностью дразня.  
Твой будет ужас бесполезный —  
Лишь вдохновеньем для меня.*

*Я от дождя эфирной пыли*

И от круженья охраню  
Всей силой мышц и сенью крылий  
И, вознося, не уроню.

И на горах, в сверканьи белом,  
На незапятнанном лугу,  
Божественно-прекрасным телом  
Тебя я странно обожгу.

Ты знаешь ли, какая малость  
Та человеческая ложь,  
Та грустная земная жалость,  
Что дикой страстью ты зовешь?  
—

Когда же вечер станет тише,  
И, околдованная мной,  
Ты полететь захочешь выше  
Пустыней неба огневой, —

Да, я возьму тебя с собою  
И вознесу тебя туда,  
Где кажется земля звездой,  
Землею кажется звезда.

И, онемев от удивленья,  
Ты узришь новые миры —  
Невероятные владенья,

*Создания моей игры...*

*Дрожь от страха и бессилья  
Тогда шепнешь ты: отпусти...  
И, распутив тихонько крылья,  
Я улыбнусь тебе: лети.*

*И под божественной улыбкой,  
Уничтожаясь на лету,  
Ты полетишь, как камень зыбкий,  
В сияющую пустоту...*

*1916*

**Из цикла «Возмездие» (1908–1913)  
«О доблестях, о подвигах, о славе...»**

*О доблестях, о подвигах, о славе  
Я забывал на горестной земле,  
Когда твое лицо в простой оправе  
Передо мной сияло на столе.*

*Но час настал, и ты ушла из до-  
му.  
Я бросил в ночь заветное кольцо.  
Ты отдала свою судьбу другому,  
И я забыл прекрасное лицо.*

*Летели дни, крутясь проклятым  
роем...*

*Вино и страсть терзали жизнь  
мою...*

*И вспомнил я тебя пред аналоем,  
И звал тебя, как молодость  
свою...*

*Я звал тебя, но ты не оглянулась,  
Я слезы лил, но ты не снизошла.  
Ты в синий плащ печально завер-  
нулась,  
В сырую ночь ты из дому ушла.*

*Не знаю, где приют своей гордыне  
Ты, милая, ты, нежная, нашла...  
Я крепко сплю, мне снится плащ  
твой синий,  
В котором ты в сырую ночь  
ушла...*

*Уж не мечтать о нежности, о  
славе,  
Все миновалось, молодость про-  
шла!  
Твое лицо в его простой оправе  
Своей рукой убрал я со стола.*

1908

**Забывшие тебя**

И час настал. Свой плащ скрути-  
ло время,  
И меч блеснул, и стены разо-  
шились.  
И я пошел с толпой – туда, за все-  
ми,  
В туманную и злую высь.

За кручами опять открылись кру-  
чи,  
Народ роптал, вожди лишились  
сил.  
Навстречу нам шли грозовые ту-  
чи,  
Их молний сноп дробил.

И руки повисали, словно плети,  
Когда вокруг сжимались кулаки,  
Грозящие громам, рыдали дети,  
И жены кутались в платки.

И я, без сил, отстал, ушел из  
строя,  
За мной – толпа сопутников мо-  
их,  
Нам не сияло небо голубое,  
И солнце – в тучах грозových.

Скитались мы, беспомощно роп-  
тали,  
И прежних хижин не могли най-  
ти,  
И, у ночных костров сходясь, дро-  
жали,  
Надеясь отыскать пути...

Напрасный жар. Напрасные ски-  
танья.  
Мечтали мы, мечтанья разлюбя.  
Так – суждена безрадостность  
мечтанья  
Забывшему Тебя.

1908

**«Она, как прежде, захотела...»**

Она, как прежде, захотела  
Вдохнуть дыхание свое  
В мое измученное тело,  
В мое холодное жилье.

Как небо, встала надо мною,  
А я не мог навстречу ей  
Пошевелить больной рукою,  
Сказать, что тосковал о ней...

Смотрел я тусклыми глазами,

Как надо мной она грустит,  
И больше не было меж нами  
Ни слов, ни счастья, ни обид...

Земное сердце уставало  
Так много лет, так много дней...  
Земное счастье запоздало  
На тройке бешеной своей!

Я, наконец, смертельно болен,  
Дышу иным, иным томлюсь,  
Закатом солнечным доволен  
И вечной ночи не боюсь...

Мне вечность заглянула в очи,  
Покой на сердце низвела,  
Прохладной влагой синей ночи  
Костер волненья залила...

1908

**«Ночь, как ночь, и улица пустынна...»**

Ночь, как ночь, и улица пустынна.  
Так всегда!  
Для кого же ты была невинна  
И горда?

Лишь сырая каплет мгла с карни-  
зов.

*Я и сам  
Собираюсь бросить злобный вызов  
Небесам.*

*Все на свете, все на свете знают:  
Счастья нет.  
И который раз в руках сжимают  
Пистолет!*

*И который раз, смеясь и плача,  
Вновь живут!  
День, как день; ведь решена зада-  
ча:  
Все умрут.*

*1908*

### **«Весенний день прошел без дела...»**

*Весенний день прошел без дела  
У неумытого окна;  
Скучала за стеной и пела,  
Как птица пленная, жена.*

*Я, не спеша, собрал бесстрастно  
Воспоминанья и дела;  
И стало беспощадно ясно:  
Жизнь прошумела и ушла.*

*Еще вернуться мысли, споры,*



*Но будет скучно и темно;  
К чему спускаться на окна што-  
ры?  
День догорел в душе давно.*

1909

### **«Кольцо существованья тесно...»**

*Кольцо существованья тесно:  
Как все пути приводят в Рим,  
Так нам заранее известно,  
Что все мы рабски повторим.*

*И мне, как всем, все тот же жре-  
бий  
Мерещится в грядущей мгле:  
Опять – любить Ее на небе  
И изменить ей на земле*

### **Шаги командора**

В. А. Зоргенфрею

*Тяжкий плотный занавес у входа,  
За ночным окном – туман.  
Что теперь твоя постылая сво-  
бода,  
Страх познавший Дон-Жуан?*

*Холодно и пусто в пышной спаль-*

не,  
Слуги спят и ночь глуха.  
Из страны блаженной, незнако-  
мой, дальней  
Слышно пенье петуха.

Что изменнику блаженства зву-  
ки?  
Миги жизни сочтены.  
Донна Анна спит, скрестив на  
сердце руки,  
Донна Анна видит сны...

Чьи черты жестокие застыли,  
В зеркалах отражены?  
Анна, Анна, сладко ль спать в мо-  
гиле?  
Сладко ль видеть неземные сны?

Жизнь пуста, безумна и бездонна!  
Выходи на битву, старый рок!  
И в ответ – победно и влюбленно  
—  
В снежной мгле поет рожок...

Пролетает, брызнув в ночь огня-  
ми,  
Черный, тихий, как сова, мотор.

*Тихими, тяжелыми шагами  
В дом вступает Командор...*

*Настежь дверь. Из непомерной  
стужи,  
Словно хриплый бой ночных часов*

---

*Бой часов: «Ты звал меня на ужин.  
Я пришел. А ты готов?..»*

*На вопрос жестокий нет ответа,  
Нет ответа – тишина.  
В пышной спальне страшно в час  
рассвета,  
Слуги спят, и ночь бледна.*

*В час рассвета холодно и стран-  
но,  
В час рассвета – ночь мутна.  
Дева Света! Где ты, донна Анна?  
Анна! Анна! – Тишина.*

*Только в грозном утреннем ту-  
мане  
Бьют часы в последний раз:  
Донна Анна в смертный час твой  
встанет.  
Анна встанет в смертный час.*

1910–1912

**Из цикла «Ямбы» (1907–1914)**

*Fecit indignatio versum. Iuven. Sat. 1,79.*

*Посвящается памяти моей покойной сестры Ангелины Александровны Блок*

**«О, я хочу безумно жить...»**

*О, я хочу безумно жить:  
Все сущее – увековечить,  
Безличное – вочеловечить,  
Несбывшееся – воплотить!*

*Пусть душит жизни сон тяжё-  
лый,  
Пусть задыхаюсь в этом сне, —  
Быть может, юноша веселый  
В грядущем скажет обо мне:*

*Простим угрюмство – разве это  
Сокрытый двигатель его?  
Он весь – дитя добра и света,  
Он весь – свободы торжество!*

**«Я ухо приложил к земле...»**

*Я ухо приложил к земле.  
Я муки криком не нарушу.*

Ты слишком хриплым стоном ду-  
шу  
Бессмертную томишь во мгле!  
Эй, встань и загорись и жги!  
Эй, подними свой верный молот,  
Чтоб молнией живой расколот  
Был мрак, где не видать ни зги!  
Ты роешься, подземный крот!  
Я слышу трудный, хриплый го-  
лос...

Не медли. Помни: слабый колос  
Под их секирой упадет...  
Как зерна, злую землю рой  
И выходи на свет. И ведай:  
За их случайною победой  
Роится сумрак гробовой.  
Лелей, пои, таи ту новь,  
Пройдет весна – над этой новью,  
Вспоенная твоею кровью,  
Созреет новая любовь.

1907

### **«Тропами тайными, ночными...»**

Тропами тайными, ночными,  
При свете траурной зари,  
Придут замученные ими,  
Над ними встанут упыри.  
Овеют призраки ночные

*Их помышленья и дела,  
И загниют еще живые  
Их слишком сытые тела.  
Их корабли в пучине водной  
Не сыщут ржавых якорей,  
И не успеть дочесть отходной  
Тебе, пузатый иерей!  
Довольных сытое обличье,  
Сокройся в темные гроба!  
Так нам велит времен величье  
И розоперстая судьба!  
Гроба, наполненные гнилью,  
Свободный, сбрось с могучих плеч!  
Все, все – да станет легкой пылью  
Под солнцем, не уставшим жечь!*

1907

**«В голодной и больной неволе...»**

*В голодной и больной неволе  
И день не в день, и год не в год.  
Когда же всколосится поле,  
Вздохнет униженный народ?*

*Что лето, шелестят во мраке,  
То выпрямляясь, то клонясь  
Всю ночь, под тайным ветром,  
злаки:  
Пора цветенья началась.*

*Народ – венец земного цвета,  
Краса и радость всем цветам:  
Не миновать Господня лета  
Благоприятного – и нам.*

1909

**«Не спят, не помнят, не торгуют...»**

*Не спят, не помнят, не торгуют.  
Над черным городом, как стон,  
Стоит, терзая ночь глухую,  
Торжественный пасхальный звон.*

*Над человеческим созданием,  
Которое он в землю вбил,  
Над смрадом, смертью и страда-  
нием  
Трезвонят до потери сил...*

*Над мировую чепухую;  
Над всем, чему нельзя помочь;  
Звонят над шубкой меховой,  
В которой ты была в ту ночь.*

*Ревель*

**«О, как смеялись вы над нами...»**

*О, как смеялись вы над нами,  
Как ненавидели вы нас*

*За то, что тихими стихами  
Мы громко обличили вас!  
Но мы – все те же. Мы, поэты,  
За вас, о вас тоскуем вновь,  
Храня священную любовь,  
Твердя старинные обеты...  
И так же прост наш тихий храм,  
Мы на стенах читаем сроки...  
Так смейтесь и не верьте нам,  
И не читайте наши строки  
О том, что под землей струи  
Поют, о том, что бродят све-  
ты...  
Но помни Тютчева заветы:  
Молчи, скрывайся и таи  
И чувства и мечты свои...*

**«Я – Гамлет. Холодеет кровь...»**

*Я – Гамлет. Холодеет кровь,  
Когда плетет коварство сети,  
И в сердце – первая любовь  
Жива – к единственной на свете.*

*Тебя, Офелию мою,  
Увел далеко жизни холод,  
И гибну, принц, в родном краю  
Клинком отравленным заколот.*

**«Так. Буря этих лет прошла...»**



Так. Буря этих лет прошла.  
Мужик поплелся бороздою,  
Сырой и черной. Надо мною  
Опять звенят весны крыла...

И страшно, и легко, и больно;  
Опять весна мне шепчет:  
встань...  
И я целую богомольно  
Ее невидимую ткань...

И сердце бьется слишком скоро,  
И слишком молодеет кровь,  
Когда за тучкой легкоперой  
Сквозит мне первая любовь...

Забудь, забудь о страшном мире,  
Взмахни крылом, лети туда...  
Нет, не один я был на пире!  
Нет, не забуду никогда!

**«Да. Так диктует вдохновенье...»**

Да. Так диктует вдохновенье:  
Моя свободная мечта  
Все льнет туда, где униженье,  
Где грязь, и мрак, и нищета.  
Туда, туда, смиренней, ниже, —  
Оттуда зримей мир иной...

Ты видел ли детей в Париже,  
Иль нищих на мосту зимой?  
На непроглядный ужас жизни  
Открой скорей, открой глаза,  
Пока великая гроза  
Все не смела в твоей отчизне, —  
Дай гневу правому созреть,  
Приготовляй к работе руки...  
Не можешь – дай тоске и скуке  
В тебе копиться и гореть...  
Но только – лживой жизни этой  
Румяна жирные сотри,  
Как боязливый крот, от света  
Заройся в землю – там замри,  
Всю жизнь жестоко ненавидя  
И презирая этот свет,  
Пускай грядущего не видя, —  
Дням настоящим молвив: нет!

1911

### **«Когда мы встретились с тобой...»**

Когда мы встретились с тобой,  
Я был больной, с душою ржавой.  
Сестра, сужденная судьбой,  
Весь мир казался мне Варшавой!  
Я помню: днем я был «поэт»,  
А ночью (призрак жизни вольной!)  
Над черной Вислой – черный

*бред...*

*Как скучно, холодно и больно!  
Когда б из памяти моей  
Я вычеркнуть имел бы право  
Сырой притон тоски твоей  
И скуки, мрачная Варшава!  
Лишь ты, сестра, твердила мне  
Своей волнующей тревогой  
О том, что мир – жилище Бога,  
О холоде и об огне.*

**«Земное сердце стынет вновь...»**

*Земное сердце стынет вновь,  
Но стужу я встречаю грудью.  
Храню я к людям на безлюдьи  
Неразделенную любовь.*

*Но за любовью – зреет гнев,  
Растет презренье и желанье  
Читать в глазах мужей и дев  
Печать забвенья, иль избранья.*

*Пускай зовут: Забудь, поэт!  
Вернись в красивые уюты!  
Нет! Лучше сгинуть в стуже лю-  
той!  
Уюта – нет. Покоя – нет.*

**«В огне и холоде тревог...»**

В огне и холоде тревог —  
Так жизнь пройдет. Запомним  
оба,  
Что встретиться судил нам Бог  
В час искупительный – у гроба.

Я верю: новый век взойдет  
Средь всех несчастных поколений.  
Недаром славит каждый род  
Смертельно оскорбленный гений.

И все, как он, оскорблены  
В своих сердцах, в своих певучих.  
И всем – священный меч войны  
Сверкает в неизбежных тучах.

Пусть день далек – у нас все те же  
Заветы юношам и девам:  
Презренье созревает гневом,  
А зрелость гнева – есть мятеж.

Разыгрывайте жизнь, как фант.  
Сердца поэтов чутко внемлют,  
В их беспокойстве – воли дрем-  
лют;

Так точно – черный бриллиант

Спит сном неведомым и стран-

ным,  
В очарованьи бездыханном,  
Среди глубоких недр, – пока  
В горах не запоет кирка.

1910–1914

**Из цикла «Итальянские стихи» (1909)**  
**Равенна**

Все, что минутно, все, что брэн-  
но,  
Похоронила ты в веках.  
Ты, как младенец, спишь, Равенна,  
У сонной вечности в руках.

Рабы сквозь римские ворота  
Уже не ввозят мозаик.  
И догорает позолота  
В стенах прохладных базилик.

От медленных лобзаний влаги  
Нежнее грубый свод гробниц,  
Где зеленеют саркофаги  
Святых монахов и цариц.

Безмолвны гробовые залы,  
Тенист и хладен их порог,  
Чтоб черный взор блаженной Гал-  
лы,

*Проснувшись, камня не прожесг.*

*Военной брани и обиды  
Забут и стерт кровавый след,  
Чтобы воскресший глас Плакиды  
Не пел страстей протекших лет.*

*Далеко отступило море,  
И розы оцепили вал,  
Чтоб спящий в гробе Теодорих  
О буре жизни не мечтал.*

*А виноградные пустыни,  
Дома и люди – все гроба.  
Лишь медь торжественной ла-  
тыни  
Поет на плитах, как труба.*

*Лишь в пристальном и тихом взо-  
ре  
Равеннских девушек, порой,  
Печаль о невозвратном море  
Проходит робкой чередой.*

*Лишь по ночам, склонясь к доли-  
нам,  
Ведя векам грядущим счет,  
Тень Данта с профилем орлиным*

*О Новой Жизни мне поет.*

**Из цикла «разные стихотворения»  
(1908–1916)  
Друзьям**

*Молчите, проклятые струны!*  
А. Майков

*Друг другу мы тайно враждебны,  
Завистливы, глухи, чужды,  
А как бы и жить и работать,  
Не зная извечной вражды!*

*Что делать! Ведь каждый ста-  
рался  
Свой собственный дом отравить,  
Все стены пропитаны ядом,  
И негде главу преклонить!*

*Что делать! Изверившись в сча-  
стье,  
От смеху мы сходим с ума,  
И, пьяные, с улицы смотрим,  
Как рушатся наши дома!*

*Предатели в жизни и дружбе,  
Пустых расточители слов,  
Что делать! Мы путь расчищаем*

*Для наших далеких сынов!*

*Когда под забором в крапиве  
Несчастные кости сгниют,  
Какой-нибудь поздний историк  
Напишет внушительный труд...*

*Вот только замучит, прокля-  
тый,  
Ни в чем не повинных ребят  
Годами рожденья и смерти  
И ворохом скверных цитат...*

*Печальная доля – так сложно,  
Так трудно и празднично жить,  
И стать достоянием доцента,  
И критиков новых плодить...*

*Зарыться бы в свежем бурьяне,  
Забиться бы сном навсегда!  
Молчите, проклятые книги!  
Я вас не писал никогда!*

*1908*

## **Поэты**

*За городом вырос пустынный  
квартал  
На почве болотной и зыбкой.*



Там жили поэты, – и каждый  
встречал  
Другого надменной улыбкой.

Напрасно и день светозарный  
вставал  
Над этим печальным болотом:  
Его обитатель свой день посвя-  
щал  
Вину и усердным работам.

Когда напивались, то в дружбе  
клялись,  
Болтали цинично и прямо,  
Под утро их рвало. Потом, запер-  
шись,  
Работали тупо и рьяно.

Потом вылезали из будок, как  
псы,  
Смотрели, как море горело.  
И золотом каждой прохожей ко-  
сы  
Пленялись со знанием дела.

Разнежась, мечтали о веке зла-  
том,  
Ругали издателей дружно,

*И плакали горько над малым  
цветком,  
Над маленькой тучкой жемчуж-  
ной...*

*Так жили поэты. Читатель и  
друг!  
Ты думаешь, может быть – хуже  
Твоих ежедневных бессильных по-  
туг,  
Твоей обывательской лужи?*

*Нет, милый читатель, мой кри-  
тик слепой.  
По крайности, есть у поэта  
И косы, и тучки, и век золотой,  
Тебе ж недоступно все это!..*

*Ты будешь доволен собой и женой,  
Своей конституцией куцой,  
А вот у поэта – всемирный запой,  
И мало ему конституций!*

*Пускай я умру под забором, как  
пес,  
Пусть жизнь меня в землю втоп-  
тала, —  
Я верю: то Бог меня снегом занес,*

*То вьюга меня целовала!*

*1908*

**«Все это было, было, было...»**

*Все это было, было, было,  
Свершился дней круговорот.  
Какая ложь, какая сила  
Тебя, прошедшее, вернет?*

*В час утра, чистый и хрусталь-  
ный,  
У стен Московского Кремля,  
Восторг души первоначальный  
Вернет ли мне моя земля?*

*Иль в ночь на Пасху, над Невой,  
Под ветром, в стужу, в ледоход —  
Старуха нищая клюкою  
Мой труп спокойно шевельнет?*

*Иль на возлюбленной поляне  
Под шелест осени седой  
Мне тело в дождевом тумане  
Расклет коршун молодой?*

*Иль просто в час тоски беззвезд-  
ной,  
В каких-то четырех стенах,*

*С необходимостью железной  
Усну на белых простынях?*

*И в новой жизни, непохожей,  
Забуду прежнюю мечту,  
И буду так же помнить дождей,  
Как нынче помню Калиту?*

*Но верю – не пройдет бесследно  
Все, что так страстно я любил,  
Весь трепет этой жизни бедной,  
Весь этот непонятный пыл!*

1909

### **Сусальный ангел**

*На разукрашенную елку  
И на играющих детей  
Сусальный ангел смотрит в щел-  
ку  
Закрытых наглухо дверей.*

*А няня топит печку в детской,  
Огонь трещит, горит светло...  
Но ангел таит. Он – немецкий.  
Ему не больно и тепло.*

*Сначала тают крылья крошки,  
Головка падает назад,*

*Сломались сахарные ножки  
И в сладкой лужице лежат...*

*Потом и лужица засохла,  
Хозяйка ищет – нет его...  
А няня старая оглохла,  
Ворчит, не помнит ничего...*

*Ломайтесь, тайте и умрите,  
Созданья хрупкие мечты.  
Под ярким пламенем событий,  
Под гул житейской суеты!*

*Так! Погибайте! Что в вас толку?  
Пускай лишь раз, былым дыша,  
О вас поплачет втихомолку  
Шалунья девочка – душа...*

*1909*

## **Сон**

*Моей матери*

*Я видел сон: мы в древнем склепе  
Схоронены; а жизнь идет  
Вверху – все громче, все нелепей;  
И день последний настает,*

*Чуть брезжит утро Воскресенья.*

*Труба далекая слышна.  
Над нами – красные каменья  
И мавзолеей из чугуна.*

*И Он идет из дымной дали;  
И ангелы с мечами – с Ним:  
Такой, как в книгах мы читали,  
Скучая и не веря им.*

*Под аркою того же свода  
Лежит спокойная жена;*

*Но ей не дорога свобода:  
Не хочет воскресать она...*

*И слышу, мать мне рядом шеп-  
чет:  
«Мой сын, ты в жизни был силен:  
Нажми рукою свод покрепче,  
И камень будет отвален». —*

*«Нет, мать. Я задохнулся в гробе,  
И больше нет бывалых сил.  
Молитесь и просите обе,  
Чтоб ангел камень отвалил».*

*1910*

**«Ты помнишь? В нашей бухте сонной...»**

Ты помнишь? В нашей бухте сонной

Спала́ зеленая вода,  
Когда кильватерной колонной  
Вошли военные суда.

Четыре – серых. И вопросы  
Нас волновали битый час,  
И загорелые матросы  
Ходили важно мимо нас.

Мир стал заманчивей и шире,  
И вдруг – суда уплыли прочь.  
Нам было видно: все четыре  
Зарылись в океан и в ночь.

И вновь обычным стало море,  
Маяк уныло замигал,  
Когда на низком семафоре  
Последний отдали сигнал...

Как мало в этой жизни надо  
Нам, детям – и тебе и мне.  
Ведь сердце радоваться радо  
И самой малой новизне.

Случайно на ноже карманном  
Найди пылинку дальних стран —

*И мир опять предстанет стран-  
ным,  
Закутанным в цветной туман!*

*1911–1914  
Aber' Wrach, Finistère*

**«Благословляю все, что было...»**

*Благословляю все, что было,  
Я лучшей доли не искал.  
О, сердце, сколько ты любило!  
О, разум, сколько ты пылал!*

*Пускай и счастье и муки  
Свой горький положили след,  
Но в страстной буре, в долгой ску-  
ке —  
Я не утратил прежний свет.*

*И ты, кого терзал я новым,  
Прости меня. Нам быть – вдвоем.  
Все то, чего не скажешь словом,  
Узнал я в облике твоём.*

*Глядят внимательные очи,  
И сердце бьёт, волнуясь, в грудь,  
В холодном мраке снежной ночи  
Свой верный продолжая путь.*



1912

## Художник

*В жаркое лето и зиму метель-  
ную,  
В дни ваших свадеб, торжеств,  
похорон,  
Жду, чтоб спугнул мою скуку  
смертельную  
Легкий, доселе не слышанный  
звон.*

*Вот он – возник. И с холодным  
вниманием  
Жду, чтоб понять, закрепить и  
убить.  
И перед зорким моим ожиданием  
Тянет он еле приметную нить.*

*С моря ли вихрь? Или сирины рай-  
ские  
В листьях поют? Или время сто-  
ит?  
Или осыпали яблони майские  
Снежный свой цвет? Или ангел  
летит?*

*Длятся часы, мировое несущие.*

Ширятся звуки, движенье и свет.  
Прошлое страстно глядится в  
грядущее.  
Нет настоящего. Жалкого – нет.

И, наконец, у предела зачатия  
Новой души, неизведанных сил, —  
Душу сражает, как громом, про-  
клятие:  
Творческий разум осилил – убил.

И замыкаю я в клетку холодную  
Легкую, добрую птицу свободную,  
Птицу, хотевшую смерть унести,  
Птицу, летевшую душу спасти.

Вот моя клетка – стальная, тя-  
желая,  
Как золотая, в вечернем огне.  
Вот моя птица, когда-то веселая,  
Обруч качает, поет на окне.

Крылья подрезаны, песни заучены.  
Любите вы под окном постоять?  
Песни вам нравятся. Я же, изму-  
ченный,  
Нового жду – и скучаю опять.

1913

## **«Похоронят, зарюют глубоко...»**

*Похоронят, зарюют глубоко,  
Бедный холмик травой порастет,  
И услышим: далеко, высоко,  
На земле где-то дождик идет.*

*Ни о чем уж мы больше не спросим,  
Пробудясь от ленивого сна.  
Знаем: если не громко – там осень,  
Если бурно – там значит весна.*

*Хорошо, что в дремотные звуки  
Не вступают восторг и тоска,  
Что от муки любви и разлуки  
Упасла гробовая доска.*

*Торопиться не надо, уютно;  
Здесь, пожалуй, надумаем мы,  
Что под жизнью беспутной и  
путной  
Разумели людские умы.*

*1915*

## **«На улице – дождик и слякоть...»**

*На улице – дождик и слякоть,*

Не знаешь, о чем горевать.  
И скучно, и хочется плакать,  
И некуда силы девать.

Глухая тоска без причины  
И дум неотвязный угар.  
Давай-ка наколем лучины,  
Раздуем себе самовар.

Авось, хоть за чайным похмельем  
Ворчливые речи мои  
Затемят случайным весельем  
Сонливые очи твои.

За верность старинному чину!  
За то, чтобы жить, не спеша!  
Авось, и распарит кручину  
Хлебнувшая чаю душа!

1915

**«Ты твердишь, что я холоден, замкнут и  
сух...»**

Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух,  
Да, таким я и буду с тобой:  
Не для ласковых слов я выковывал  
дух,  
Не для дружб я боролся с судьбой.

Ты и сам был когда-то мрачней и смелей,  
По звездам прочитать ты умел,  
Что грядущие ночи – темней и темней,  
Что ночам неизвестен предел.

Вот – свершилось. Весь мир одичал, и окрест  
Ни один не мерцает маяк.  
И тому, кто не понял вещания звезд, —  
Нестерпим окружающий мрак.

И у тех, кто не знал, что прошедшее есть,  
Что грядущего ночь не пуста, —  
Затуманила сердце усталость и месть,  
Отвращенье скривило уста...

Было время надежды и веры большой —  
Был я прост и доверчив, как ты.  
Шел я к людям с открытой и детской душой,  
Не пугаясь людской клеветы...

А теперь – тех надежд не оты-  
щешь следа,  
Все к далеким звездам унеслось,  
И, к кому шел с открытой душою  
тогда,  
От того отвернуться пришлось.

И сама та душа, что, пылая, жда-  
ла,  
Треволнениям отдаться спеша, —  
И враждой, и любовью она изо-  
шла,  
И сгорела она, та душа.

И осталось – улыбкой сведенная  
бровь,  
Сжатый рот и печальная власть  
Бунтовать ненасытную женскую  
кровь,  
Зажигая звериную страсть...

Не стучись же напрасно у плот-  
ных дверей,  
Тщетным стоном себя не томи.  
Ты не встретишь участия у бед-  
ных зверей,  
Называвшихся прежде людьми.

*Ты – железною маской лицо за-  
крывай,  
Поклоняясь священным гробам,  
Охраняя железом до времени рай,  
Недоступный безумным рабам.*

*1916*

**Из цикла «Арфы и скрипки» (1908–1916)  
«Я пригвожден к трактирной стойке...»**

*Я пригвожден к трактирной  
стойке.*

*Я пьян давно. Мне все – равно.  
Вон счастье мое – на тройке  
В серебристый дым унесено...*

*Летит на тройке, потонуло  
В снегу времен, в дали веков...  
И только душу захлестнуло  
Серебристой мглой из-под подков...*

*В глухую темень искры мечет,  
От искр всю ночь, всю ночь свет-  
ло...  
Бубенчик под дугой лепечет  
О том, что счастье прошло...*

*И только сбруя золотая  
Всю ночь видна... Всю ночь слыш-*

на...  
А ты, душа... душа глухая...  
Пьяным пьяна... пьяным пьяна...  
1908

**«Опустишь, занавеска линялая...»**

Опустишь, занавеска линялая,  
На больные герани мои.  
Сгинь, цыганская жизнь небыва-  
лая,  
Погаси, сомкни очи твои!

Ты ли, жизнь, мою горницу скуд-  
ную  
Убирала степным ковылем!  
Ты ли, жизнь, мою сонь непробуд-  
ную  
Зеленым отравляла вином!

Как цыганка, платками узорны-  
ми  
Расстилалася ты предо мной.  
Ой ли косами иссиня-черными,  
Ой ли бурей страстей огневой!

Что рыдалось мне в шепоте, в за-  
быти,  
Неземные ль какие слова?



Сам не свой только был я, без па-  
мяти,  
И ходила кругом голова...

Спалена моя степь, трава свале-  
на,  
Ни огня, ни звезды, ни пути...  
И кого целовал – не моя вина,  
Ты, кому обещался, – прости...

**«Все на земле умрет – и мать, и  
младость...»**

Все на земле умрет – и мать, и  
младость,  
Жена изменит, и покинет друг.  
Но ты учись вкушать иную сла-  
дость,  
Глядясь в холодный и полярный  
круг.

Бери свой челн, плыви на дальний  
полюс  
В стенах из льда – и тихо забы-  
вай,  
Как там любили, гибли и боро-  
лись...  
И забывай страстей бывалый  
край.

*И к вздрагиваньям медленного  
хлада  
Усталую ты душу приучи,  
Чтоб было здесь ей ничего не на-  
до,  
Когда оттуда ринутся лучи.*

*1909*

**«В неуверенном, зыбком полете...»**

*В неуверенном, зыбком полете  
Ты над бездной взвился и повис.  
Что-то древнее есть в повороте  
Мертвых крыльев, подогнутых  
вниз.*

*Как ты можешь летать и кру-  
житься  
Без любви, без души, без лица?  
О, стальная, бесстрастная пти-  
ца,  
Чем ты можешь прославить  
Творца?*

*В серых сферах летай и скитайся,  
Пусть оркестр на трибуне гре-  
мит,*

*Но под легкую музыку вальса*

Остановится сердце – и винт.

1910

## Седое утро

*Утро туманное, утро седое...*

Тургенев

*Утреет. С Богом! По домам!  
Позвякивают колокольцы.  
Ты хладно жмешь к моим губам  
Свои серебряные кольца,  
И я – который раз подряд —  
Целую кольца, а не руки...  
В плече, откинутаго назад, —  
Задор свободы и разлуки,  
Но, еле видная за мглой,  
За дождевою, за докучной...  
И взгляд, как уголь под золой,  
И голос утренний и скучный...  
Нет, жизнь и счастье до утра  
Я находил не в этом взгляде!  
Не этот голос пел вчера  
С гитарой вместе на эстраде!  
Как мальчик, шаркнула; поклон  
Отвешивает... «До свиданья...»  
И звякнул о браслет жетон  
(Какое-то воспоминанье) ...  
Я, молча, на нее гляжу,*

*Сжимаю пальцы ей до боли...  
Ведь нам уж не встречаться бо-  
ле...  
Что ж на прощанье ей скажу?..  
«Прощай, возьми еще колечко.  
Оденешь рученьку свою  
И смуглое свое сердечко  
В серебряную чешую...  
Лети, как пролетала, тая,  
Ночь огневая, ночь былая...  
Ты, время, память притуши,  
А путь снежком запороши».*

*1913*

**«Как день, светла, но непонятна...»**

*Как день, светла, но непонятна,  
Вся – явь, но – как обрывок сна,  
Она приходит с речью внятной,  
И вслед за ней – всегда весна.*

*Вот здесь садится и болтает.  
Ей нравится дразнить меня  
И намекать, что всякий знает  
Про тайный вихрь ее огня.*

*Но я, не вслушиваясь строго  
В ее порывистую речь,  
Слежу, как ширится тревога,*

*В сияньи глаз и в дрожи плеч.*

*Когда ж дойдут до сердца речи,  
И опьянят ее духи,  
И я влюблюсь в глаза и в плечи,  
Как в вешний ветер, как в стихи,*

---

*Сверкнет холодное запястье,  
И, речь прервав, она сама  
Уже твердит, что сила страсти*

---

*Ничто пред холодом ума!..*

*1914*

### **«Превратила все в шутку сначала...»**

*Превратила все в шутку сначала,  
Поняла – принялась укорять,  
Головою красивой качала,  
Стала слезы платком вытирать.*

*И, зубами дразня, хохотала,  
Неожиданно все позабыв.  
Вдруг припомнила все – зарыдала,  
Десять шпилек на стол уронив.*

*Подурнела, пошла, обернулась,  
Воротилась, чего-то ждала,*

*Проклинала, спиной повернулася  
И, должно быть, навеки ушла...*

*Что ж, пора приниматься за де-  
ло,  
За старинное дело свое, —  
Неужели и жизнь отшумела,  
Отшумела, как платье твое?*

1916

### **Кармен (1914) Л.А.Д**

\* \* \*

*Как океан меняет цвет,  
Когда в нагроможденной туче  
Вдруг полыхнет мигнувший  
свет, —  
Так сердце под грозой певучей  
Меняет строй, боясь вздохнуть,  
И кровь бросается в ланиты,  
И слезы счастья душат грудь  
Перед явленьем Карменситы.*

\* \* \*

*На небе – празелень, и месяца  
осколок  
Омыт, в лазури спит, и ветер,  
чуть дыша,*

Проходит, и весна, и лед послед-  
ний колок,  
И в сонный входит вихрь смятен-  
ная душа...

Что́ месяца нежней, что́ зорь за-  
катных выше?  
Знай про себя, молчи, друзьям не  
говори:  
В последнем этаже, там, под вы-  
сокой крышей,  
Окно, горящее не от одной зари...

\* \* \*

Есть демон утра. Дымно-светел  
он,  
Золотокудрый и счастливый.  
Как небо, синь струящийся хитон,  
Весь – перламутра переливы.

Но, как ночью тьмой сквозит  
лазурь,  
Так этот лик сквозит порой  
ужасным,  
И золото кудрей – червонно-крас-  
ным,  
И голос – рокотом забытых бурь.

\* \* \*

Бушует снежная весна.  
Я отвожу глаза от книги...  
О, страшный час, когда она,  
Читая по руке Цуниги,  
В глаза Хозе метнула взгляд!  
Насмешкой засветились очи,  
Блеснул зубов жемчужный ряд,  
И я забыл все дни, все ночи,  
И сердце захлестнула кровь,  
Смывая память об отчизне...  
А голос пел: Ценою жизни  
Ты мне заплатишь за любовь!

\* \* \*

Среди поклонников Кармен,  
Спешащих пестрою толпою,  
Ее зовущих за собою,  
Один, как тень у серых стен  
Ночной таверны Лиллас-Пастья,  
Молчит и сумрачно глядит,  
Не ждет, не требует участия,  
Когда же бубен зазвучит,  
И глухо зазвонят запястья, —  
Он вспоминает дни весны,  
Он средь бушующих созвучий  
Глядит на стан ее певучий  
И видит творческие сны.

\* \* \*



Сердитый взор бесцветных глаз.  
Их гордый вызов, их презренье.  
Всех линий – таянье и пенье.  
Так я Вас встретил в первый раз.

В партере – ночь. Нельзя дышать.  
Нагрудник черный близко, близко...  
ко...

И бледное лицо... и прядь  
Волос, спадающая низко...  
О, не впервые странных встреч  
Я испытал немую жуткость!  
Но этих нервных рук и плеч  
Почти пугающая чуткость...  
В движеньях гордой головы  
Прямые признаки досады...  
(Так на людей из-за ограды  
Угрюмо взглядывают львы).  
А там, под круглой лампой, там  
Уже замолкла сегидилья,  
И злость, и ревность, что не к  
Вам  
Идет влюбленный Эскамильо,  
Не Вы возьметесь за тесьму,  
Чтобы убавить свет ненужный  
И не блеснет уж ряд жемчужный  
Зубов – несчастному тому...

О, не глядеть, молчать – нет мо-  
чи,  
Сказать – не надо и нельзя...  
И Вы уже (звездой средь ночи),  
Скользящей поступью скользя,  
Идете – в поступи истома,  
И песня Ваших нежных плеч  
Уже до ужаса знакома,  
И сердцу суждено беречь,  
Как память об иной отчизне, —  
Ваш образ, дорогой навек...

А там: Уйдем, уйдем от жизни,  
Уйдем от этой грустной жизни!  
Кричит погибший человек...

И март наносит мокрый снег.

\* \* \*

Вербы – это весенняя таль,  
И чего-то нам светлого жаль,  
Значит – теплится где-то свеча,  
И молитва моя горяча,  
И целую тебя я в плеча.

Этот колос ячменный – поля,  
И залиvistый крик журавля,  
Это значит – мне ждать у плет-

ня  
До заката горячего дня.  
Значит – ты вспоминаешь меня.

Розы – страшен мне цвет этих  
роз,  
Это – рыжая ночь твоих кос?  
Это – музыка тайных измен?  
Это – сердце в плену у Кармен?

\* \* \*

Ты, как отзвук забытого гимна  
В моей черной и дикой судьбе.  
О, Кармен, мне печально и дивно,  
Что приснился мне сон о тебе.

Вешний трепет, и лепет, и шест,  
Непробудные дикие сны,  
И твоя одичалая прелесть —  
Как гитара, как бубен весны!

И проходишь ты в думах и грезах,  
Как царица блаженных времен,  
С головой, утопающей в розах,  
Погруженная в сказочный сон.

Спишь, змеею склубясь прихотли-

вой,  
Спишь в дурмане и видишь во сне  
Даль морскую и берег счастли-  
вый,  
И мечту, недоступную мне.

Видишь день беззакатный и жгу-  
чий  
И любимый, родимый свой край,  
Синий, синий, певучий, певучий,  
Неподвижно-блаженный, как рай.

В том раю тишина бездыханна,  
Только в куще сплетенных ветвей  
Дивный голос твой, низкий и  
странный,  
Славит бурю цыганских стра-  
стей.

\* \* \*

О, да, любовь вольна, как птица,  
Да, все равно, – я твой!  
Да, все равно мне будет сниться  
Твой стан, твой огневой!

Да, в хищной силе рук прекрасных,  
В очах, где грусть измен,  
Весь бред моих страстей напрас-

ных,  
Моих ночей, Кармен!

Я буду петь тебя, я небу  
Твой голос передам!  
Как иерей, свершу я требу  
За твой огонь – звездам!

Ты встанешь бурною волною  
В реке моих стихов,  
И я с руки моей не смою,  
Кармен, твоих духов...

И в тихий час ночной, как пламя,  
Сверкнувшее на миг,  
Блеснет мне белыми зубами  
Твой неотступный лик.

Да, я томлюсь надеждой сладкой,  
Что ты, в чужой стране,  
Что ты, когда-нибудь, украдкой  
Помыслишь обо мне...

За бурей жизни, за тревогой,  
За грустью всех измен, —  
Пусть эта мысль предстанет  
строгой,  
Простой и белой, как дорога,

Как дальний путь, Кармен!

\* \* \*

Нет, никогда моей, и ты ничьей  
не будешь.

Так вот что так влекло сквозь  
бездну грустных лет,  
Сквозь бездну дней пустых, чье  
бремя не избудешь,  
Вот почему я – твой поклонник и  
поэт!

Здесь – страшная печать отвер-  
женности женской  
За прелесть дивную – постичь ее  
нет сил.

Там – дикий сплав миров, где  
часть души вселенской  
Рыдает, исходя гармонией све-  
тил.

Вот – мой восторг, мой страх в  
тот вечер в темном зале!  
Вот, бедная, зачем тревожусь за  
тебя!  
Вот чьи глаза меня так странно  
проводжали,  
Еще не угадав, не зная... не любя!

Сама себе закон – летишь, ле-  
тишь ты мимо,  
К созвездиям иным, не ведая ор-  
бит,  
И этот мир тебе – лишь красный  
облак дыма,  
Где что-то жжжет, поет, трево-  
жит и горит!

И в зареве его – твоя безумна мла-  
дость...  
Все – музыка и свет: нет счастья,  
нет измен...  
Мелодией одной звучат печаль и  
радость...  
Но я люблю тебя: я сам такой,  
Кармен.

## **Соловьиный сад (1915)**

### **1**

Я ломаю слоистые скалы  
В час отлива на илистом дне,  
И таскает осел мой усталый  
Их куски на мохнатой спине.

Донесем до железной дороги,  
Сложим в кучу, – и к морю опять  
Нас ведут волосатые ноги,

*И осел начинает кричать.*

*И кричит, и трубит он, – отрад-  
но,  
Что идет налегке хоть назад.  
А у самой дороги – прохладный  
И тенистый раскинулся сад.*

*По ограде высокой и длинной  
Лишних роз к нам свисают цветы.  
Не смолкает напев соловьиный,  
Что-то шепчут ручьи и листья.*

*Крик осла моего раздаётся  
Каждый раз у садовых ворот,  
А в саду кто-то тихо смеётся,  
И потом – отойдет и поет.*

*И, вникая в напев беспокойный,  
Я гляжу, понукая осла,  
Как на берег скалистый и зной-  
ный  
Опускается синяя мгла.*

## **2**

*Знойный день догорает бесследно,  
Сумрак ночи ползет сквозь ку-  
сты;*



И осел удивляется, бедный:  
«Что, хозяин, раздумался ты?»

Или разум от зноя мутится,  
Замечтался ли в сумраке я?  
Только все неотступнее снится  
Жизнь другая – моя, не моя...

И чего в этой хижине тесной  
Я, бедняк обездоленный, жду,  
Повторяя напев неизвестный,  
В соловьином звенящий саду?

Не доносятся жизни проклятья  
В этот сад, обнесенный стеной,  
В синем сумраке белое платье  
За решеткой мелькает резной.

Каждый вечер в закатном тумане  
Прохожу мимо этих ворот,  
И она меня, легкая, манит  
И круженьем, и пеньем зовет.

И в призывном круженьи и пеньи  
Я забытое что-то ловлю,  
И любить начинаю томленье,  
Недоступность ограды люблю.

Отдыхает осел утомленный,  
Брошен лом на песке под скалой,  
А хозяин блуждает влюбленный  
За ночную, за знойною мглой.

И знакомый, пустой, камени-  
стый,  
Но сегодня – таинственный путь  
Вновь приводит к ограде тени-  
стой,  
Убегающей в синюю муть.

И томление все безысходней,  
И идут за часами часы,  
И колючие розы сегодня  
Опустились под тягой росы.

Наказанье ли ждет иль награда,  
Если я уклонюсь от пути?  
Как бы в дверь соловьиного сада  
Постучаться, и можно ль войти?

А уж прошлое кажется стран-  
ным,  
И руке не вернуться к труду:  
Сердце знает, что гостем желан-  
ным

*Буду я в соловьином саду...*

**4**

*Правду сердце мое говорило,  
И ограда была не страшна,  
Не стучал я – сама отворила  
Неприступные двери она.*

*Вдоль прохладной дороги, меж лилий,  
Однозвучно запели ручьи,  
Сладкой песнью меня оглушили,  
Взяли душу мою соловьи.*

*Чуждый край незнакомого счастья  
Мне открыли объятия те,  
И звенели, спадая, запястья  
Громче, чем в моей нищей мечте.*

*Опьяненный вином золотистым,  
Золотым опаленный огнем,  
Я забыл о пути каменистом,  
О товарище бедном своем.*

**5**

*Пусть укрыла от дольнего горя  
Утонувшая в розах стена, —*

*Заглушить рокотание моря  
Соловьиная песнь не вольна!*

*И вступившая в пенье тревога  
Рокот волн до меня донесла...  
Вдруг – виденье: большая дорога  
И усталая поступь осла...*

*И во мгле благовонной и знойной  
Обвиваясь горячей рукой,  
Повторяет она беспокойно:  
«Что с тобою, возлюбленный  
мой?»*

*Но, вперяясь во мглу сиротливо,  
Надышаться блаженством спе-  
ша,  
Отдаленного шума прилива  
Уж не может не слышать душа.*

## **6**

*Я проснулся на мглистом рассве-  
те  
Неизвестно которого дня.  
Спит она, улыбаясь, как дети, —  
Ей пригрезился сон про меня.*

*Как под утренним сумраком ча-*

рым

Лик, прозрачный от страсти, красив!..

По далеким и мерным ударам  
Я узнал, что подходит прилив.

Я окно распахнул голубое,  
И почудилось, будто возник  
За далеким рычаньем прибоя  
Призывающий жалобный крик.

Крик осла был протяжен и долог.  
Проникал в мою душу, как стон,  
И тихонько задернул я полог,  
Чтоб продлить очарованный сон.

И, спускаясь по камням ограды,  
Я нарушил цветов забвенье.  
Их шипы, точно руки из сада,  
Уцепились за платье мое.

## 7

Путь знакомый и прежде недлинный

В это утро кремнист и тяжел.  
Я вступаю на берег пустынный,  
Где остался мой дом и осел.

Или я заблудился в тумане?  
Или кто-нибудь шутит со мной?  
Нет, я помню камней очертанье,  
Тощий куст и скалу над водой...

Где же дом? – И скользящей ногою  
Спотыкаюсь о брошенный лом,  
Тяжкий, ржавый, под черной скалою  
Затянувшийся мокрым песком...

Размахнувшись движеньем знакомым  
(Или все еще это во сне?),  
Я ударил заржавленным ломом  
По слоистому камню на дне...

И оттуда, где серые спруты  
Покачнулись в лазурной щели,  
Закарабкался краб всполохнутый  
И присел на песчаной мели.

Я подвинулся, – он приподнялся,  
Широко разевая клешни,  
Но сейчас же с другим повстречался,  
Подрались и пропали они...

*А с тропинки, протоптанной  
мною,  
Там, где хижина прежде была,  
Стал спускаться рабочий с кир-  
кою,  
Погоняя чужого осла.*

*6 января 1914—14 октября 1915*

### **Родина (1907–1916)**

#### **«Ты отошла, и я в пустыне...»**

*Ты отошла, и я в пустыне  
К песку горячему приник.  
Но слова гордого отныне  
Не может вымолвить язык.*

*О том, что было, не жалея,  
Твою я понял высоту:  
Да. Ты – родная Галилея  
Мне – невоскресшему Христу.*

*И пусть другой тебя ласкает,  
Пусть множит дикую молву:  
Сын Человеческий не знает,  
Где приклонить ему главу.*

*Май 1907*

#### **«В густой траве пропадешь с головой...»**

*В густой траве пропадешь с головой.*

*В тихий дом войдешь, не стучась...*

*Обнимет рукой, оплетет косой  
И, статная, скажет: «Здравствуй, князь.»*

*Вот здесь у меня – куст белых роз.*

*Вот здесь вчера – повилика вилась.*

*Где был, пропадал? что за весть принес?*

*Кто любит, не любит, кто гонит нас?»*

*Как бывало, забудешь, что дни идут,*

*Как бывало, простишь, кто горд и зол.*

*И смотришь – тучи вдали встают,*

*И слушаешь песни далеких сел...*

*Заплачет сердце по чужой стороне,*

*Запросится в бой – зовет и ма-*



нит...

Только скажет: «Прощай. Вернись  
ко мне».

И опять за травой колокольчик  
звенит...

1907

### «Задебренные лесом кручи...»

Задебренные лесом кручи:  
Когда-то там, на высоте,  
Рубили деды сруб горячий  
И пели о своем Христе.

Теперь пастуший кнут не свистит,  
И песни не сплет свирель.  
Лишь мох сырой с обрыва виснет,  
Как ведьмы сбитая кудель.

Навеки непробудной тенью  
Ресницы мхов опушены,  
Спят, убаюканные ленью  
Людской врагини – тишины.

И человек печальной цапли  
С болотной кочки не спугнет,  
Но в каждой тихой, ржавой капле

---

*Зачало рек, озер, болот.*

*И капли ржавые, лесные,  
Родясь в глуши и темноте,  
Несут испуганной России  
Весть о сжигающем Христе.*

## **На поле Куликовом**

### **1**

*Река раскинулась. Течет, грустит  
лениво*

*И моет берега.*

*Над скудной глиной желтого об-  
рыва*

*В степи грустят стога.*

*О, Русь моя! Жена моя! До боли*

*Нам ясен долгий путь!*

*Наш путь – стрелой татарской  
древней воли*

*Пронзил нам грудь.*

*Наш путь – степной, наш путь – в  
тоске безбрежной,*

*В твоей тоске, о Русь!*

*И даже мглы – ночной и зарубеж-  
ной —*

*Я не боюсь.*

Пусть ночь. Домчимся. Озарим  
кострами  
Степную даль.  
В степном дыму блеснет святое  
знамя  
И ханской сабли сталь...

И вечный бой! Покой нам только  
снится  
Сквозь кровь и пыль...  
Летит, летит степная кобылица  
И мнет ковыль...

И нет конца! Мелькают версты,  
кручи...  
Останови!  
Идут, идут испуганные тучи,  
Закат в крови!

Закат в крови! Из сердца кровь  
струится!  
Плачь, сердце, плачь...  
Покоя нет! Степная кобылица  
Несется вскачь!

## 2

Мы, сам-друг, над степью в пол-  
ночь стали:

Не вернуться, не взглянуть назад.  
За Непрядвой лебеди кричали,  
И опять, опять они кричат...

На пути – горячий белый камень.  
За рекой – поганая орда.  
Светлый стяг над нашими полка-  
ми  
Не взиграет больше никогда.

И, к земле склонившись головою,  
Говорит мне друг: «Остри свой  
меч,  
Чтоб не даром биться с татар-  
вою,  
За святое дело мертвым лечь!»

Я – не первый воин, не последний,  
Долго будет родина больна.  
Помяни ж за раннюю обедней  
Мила друга, светлая жена!

### 3

В ночь, когда Мамай залег с ор-  
дою  
Степи и мосты,  
В темном поле были мы с Тобою.

---

Разве знала Ты?

Перед Доном темным и злове-  
щим,  
Средь ночных полей,  
Слышал я Твой голос сердцем ве-  
щим  
В криках лебедей.

С полуночи тучей возносила  
Княжеская рать,  
И вдали, вдали о стремя билась,  
Голосила мать.

И, чертя круги, ночные птицы  
Реяли вдали.  
А над Русью тихие зарницы  
Князя стерегли.

Орлий клетот над татарским  
станом  
Угрожал бедой,  
А Непрядва убралась туманом,  
Что княжна фатой.

И с туманом над Непрядвой спя-  
щей,  
Прямо на меня

Ты сошла, в одежде свет струящей,  
Не спугнув коня.

Серебром волны блеснула другу  
На стальном мече.  
Освежила пыльную кольчугу  
На моем плече.

И когда наутро, тучей черной,  
Двинулась орда,  
Был в щите Твой лик нерукотворный  
Светел навсегда.

#### 4

Опять с вековой тоскою  
Пригнулись к земле ковыли.  
Опять за туманной рекою  
Ты кличешь меня издали...

Умчались, пропали без вести  
Степных кобылиц табуны,  
Развязаны дикие страсти  
Под игом ущербной луны.

И я с вековой тоскою,  
Как волк под ущербной луной,

*Не знаю, что делать с собою,  
Куда мне лететь за тобой!*

*Я слушаю рокоты сечи  
И трубные крики татар,  
Я вижу над Русью далече  
Широкий и тихий пожар.*

*Объятый тоскою могучей,  
Я рыщу на белом коне...  
Встречаются вольные тучи  
Во мглистой ночной вышине.*

*Вздымаются светлые мысли  
В растерзанном сердце моем,  
И падают светлые мысли,  
Сожженные темным огнем...*

*«Явись, мое дивное диво!  
Быть светлым меня научи!  
Вздымается конская грива...  
За ветром зывают мечи...»*

## **5**

*И мглою бед неотразимых  
Грядущий день заволокло.  
Вл. Соловьев*

Опять над полем Куликовым  
Взошла и расточилась мгла,  
И, словно облаком суровым,  
Грядущий день заволокла.

За тишиною непробудной,  
За разливающейся мглой  
Не слышно грома битвы чудной,  
Не видно молнии боевой.

Но узнаю тебя, начало  
Высоких и мятежных дней!  
Над вражьем станом, как быва-  
ло,  
И плеск, и трубы лебедей.

Не может сердце жить покоем,  
Недаром тучи собрались.  
Доспех тяжел, как перед боем.  
Теперь твой час настал. – Молись!

1908

## **Россия**

Опять, как в годы золотые,  
Три стертых треплются шлеи,  
И вязнут спицы росписные  
В расхлябанные колеи...



Россия, нищая Россия,  
Мне избы серые твои,  
Твои мне песни ветровые, —  
Как слезы первья любви!

Тебя жалеть я не умею,  
И крест свой бережно несущу...  
Какому хочешь чародею  
Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет, —  
Не пропадешь, не сгинешь ты,  
И лишь забота затуманит  
Твои прекрасные черты...

Ну, что ж? Одной заботой боле —  
Одной слезой река шумней,  
А ты все та же – лес, да поле,  
Да плат узорный до бровей...

И невозможное возможно,  
Дорога долгая легка,  
Когда блеснет в дали дорожной  
Мгновенный взор из-под платка,  
Когда звенит тоской острожной  
Глухая песня ямщика!..

1908

## **«Вот он, ветер...»**

*Вот он, ветер,  
Звонящий тоскою острожной,  
Над бескрайною топью  
Огонь невозможный,  
Распростершийся призрак  
Ветлы придорожной...*

*Вот, что ты мне сулила:  
Могила.*

## **Осенний день**

*Идем по жнивью, не спеша,  
С тобою, друг мой скромный,  
И изливается душа,  
Как в сельской церкви темной.*

*Осенний день высок и тих,  
Лишь слышно – ворон глухо  
Зовет товарищей своих,  
Да кашляет старуха.*

*Овин расстелет низкий дым,  
И долго под овином  
Мы взором пристальным следим  
За летом журавлиным...*

*Летят, летят косым углом,*

Вожак звенит и плачет...  
О чем звенит, о чем, о чем?  
Что плач осенний значит?

И низких нищих деревень  
Не счесть, не смерить оком,  
И светит в потемневший день  
Костер в лугу далеком...

О, нищая моя страна,  
Что ты для сердца значишь?  
О, бедная моя жена,  
О чем ты горько плачешь?

1 января 1909

**«Не уходи. Побудь со мною...»**

Не уходи. Побудь со мною,  
Я так давно тебя люблю.

Дым от костра струею сизой  
Струится в сумрак, в сумрак дня.  
Лишь бархат алый алой ризой,  
Лишь свет зари – покрыл меня.

Все, все обман, седым туманом  
Ползет печаль угрюмых мест.  
И ель крестом, крестом багря-  
ным

Кладет на даль воздушный  
крест...

Подруга, на вечернем пире,  
Помедли здесь, побудь со мной.  
Забудь, забудь о страшном мире,  
Вздохни небесной глубиной.

Смотри с печальной усладой,  
Как в свет зари вползает дым.  
Я огражу тебя оградой —  
Кольцом из рук, кольцом сталь-  
ным.

Я огражу тебя оградой —  
Кольцом живым, кольцом из рук.  
И нам, как дым, струиться надо  
Седым туманом – в алый круг.

**«Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам  
маяться...»**

Русь моя, жизнь моя, вместе ль  
нам маяться?  
Царь, да Сибирь, да Ермак, да  
тюрьма!  
Эх, не пора ль разлучиться, раска-  
яться...  
Вольному сердцу на что твоя

тьма?

Знала ли что? Или в Бога ты верила?

Что там услышишь из песен твоих?

Чудь начудила, да Меря намерила  
Гатей, дорог, да столбов верстовых...

Лодки, да грады по рекам рубила  
ты,

Но до Царьградских святынъ не  
дошла...

Соколов, лебедей в степь распустила ты —

Кинулась из степи черная мгла...

За море Черное, за море Белое  
В черные ночи и в белые дни  
Дико глядится лицо онемелое,  
Очи татарские мечут огни...

Тихое, долгое, красное зарево  
Каждую ночь над становьем твоим...

Что же маячишь ты, сонное марево?

Вольным играешься духом моим?

1910

## На железной дороге

*Марии Павловне Ивановой*

*Под насыпью, во рву некошенном,  
Лежит и смотрит, как живая,  
В цветном платке, на косы бро-  
шенном,  
Красивая и молодая.*

*Бывало, шла походкой чинною  
На шум и свист за ближним ле-  
сом.  
Всю обойдя платформу длинную,  
Ждала, волнуясь, под навесом.*

*Три ярких глаза набегających —  
Нежней румянец, круче локонов:  
Быть может, кто из проезжаю-  
щих  
Посмотрит пристальней из  
окон...*

*Вагоны шли привычной линией,  
Подрагивали и скрипели;  
Молчали желтые и синие;*

*В зеленых плакали и пели.*

*Вставали сонные за стеклами  
И обводили ровным взглядом  
Платформу, сад с кустами блек-  
лыми,  
Ее, жандарма с нею рядом...*

*Лишь раз гусар, рукой небрежною  
Облокотясь на бархат алый,  
Скользнул по ней улыбкой неж-  
ною...  
Скользнул – и поезд в даль умча-  
ло.*

*Так мчалась юность бесполезная,  
В пустых мечтах изнемогающая...  
Тоска дорожная, железная  
Свистела, сердце разрывая...*

*Да что – давно уж сердце вынуто!  
Так много отдано поклонов,  
Так много жадных взоров кинута  
В пустынные глаза вагонов...*

*Не подходите к ней с вопросами,  
Вам все равно, а ей – довольно:  
Любовью, грязью иль колесами*

Она раздавлена – все больно.

1910

## **Посещение Голос**

*То не ели, не тонкие ели  
На закате подьют кресты,  
То в дали снеговой заалели  
Мои нежные, милый, персты.  
Унесенная белой метелью  
В глубину, в бездыханность мою,*

---

*Вот я вновь над твоею постелью  
Наклонилась, дышу, узнаю...  
Я сквозь ночи, сквозь долгие ночи,  
Я сквозь темные ночи – в венце.  
Вот они – еще синие очи  
На моем постаревшем лице!  
В твоём голосе – возгласы моря,  
На лице твоём – жала огня,  
Но читаю в испуганном взоре,  
Что ты помнишь и любишь меня.*

## **Второй голос**

*Старый дом мой пронизан мете-  
лью,  
И остыл одинокий очаг.  
Я привык, чтоб над этой посте-*



лью  
Наклонялся лишь пристальный  
враг.

И душа для видений ослепла,  
Если вспомню, – лишь ветер налетит,  
Лишь рубин раскаленный из пепла  
Мой обугленный лик опалит!  
Я не смею взглянуть в твои очи,  
Все, что было, – далеко оно.  
Долгих лет нескончаемой ночи  
Страшной памятью сердце полно.

с. Шахматово, 1910

### **«Там неба осветленный край...»**

Там неба осветленный край  
Средь дымных пятен.  
Там разговор гусиных стай  
Так внятен.

Свободен, весел и силен,  
В дали любимой  
Я слышу непомерный звон  
Неуследимый.

Там осень сумрачным пером

*Широко реет,  
Там старый лес под топором  
Редеет.*

**«Приближается звук. И, покорна  
щемящему звуку...»**

*Приближается звук. И, покорна  
щемящему звуку,  
Молодеет душа.  
И во сне прижимаю к губам твою  
прежнюю руку,  
Не дыша.*

*Снится, – снова я мальчик, и сно-  
ва любовник,  
И овраг, и бурьян,  
И в бурьяне – колючий шиповник,  
И вечерний туман.*

*Сквозь цветы и листья, и колючие  
ветки, я знаю,  
Старый дом глянет в сердце мое,  
Глянет небо опять, розовея от  
краю до краю,  
И окошко твое.*

*Этот голос – он твой, и его непо-  
нятному звуку*

*Жизнь и горе отдам,  
Хоть во сне, твою прежнюю ми-  
лую руку  
Прижимая к губам.*

1912

## **Сны**

*И пора уснуть, да жалко,  
Не хочу уснуть!  
Конь качается качалка,  
На коня б скакнуть!*

*Луч лампадки, как в тумане,  
Раз-два, раз-два, раз!..  
Идет конница... а няня  
Тянет свой рассказ...*

*Внемлю сказке древней, древней  
О богатырях,  
О заморской, о царевне,  
О царевне... ах...*

*Раз-два, раз-два! Конник в латах  
Трогает коня  
И манит и мчит куда-то  
За собой меня...*

*За моря, за океаны*

Он манит и мчит,  
В дымно-синие туманы,  
Где царевна спит...

Спит в хрустальной, спит в кроватке  
Долгих сто ночей,  
И зеленый свет лампадки  
Светит в очи ей...

Под парчами, под лучами  
Слышно ей сквозь сны,  
Как звенят и бьют мечами  
О хрусталь стены...

С кем там бьется конник гневный,  
Бьется семь ночей?  
На седьмую – над царевной  
Светлый круг лучей...

И сквозь дремные покровы  
Стелятся лучи,  
О тюремные засовы  
Звякают ключи...

Сладко дремлется в кроватке.  
Дремлешь? – Внемлю... сплю.

Луч зеленый, луч лампадки,  
Я тебя люблю!

1912

## **Новая америка**

Праздник радостный, праздник великий,  
Да звезда из-за туч не видна...  
Ты стоишь под метелицей дикой,  
Роковая, родная страна.

За снегами, лесами, степями  
Твоего мне не видно лица.  
Только ль страшный простор  
пред очами,  
Непонятная ширь без конца?

Утопая в глубоком сугробе,  
Я на утлые санки сажусь.  
Не в богатом покоишься гробе  
Ты, убогая финская Русь!

Там прикинешься ты богомольной,  
Там старушкой прикинешься ты,  
Глас молитвенный, звон колокольный,  
За крестами – кресты, да кре-

сты...

Только ладан твой синий и рос-  
ный

Просквозит мне порою иным...

Нет, не старческий лик и не пост-  
ный

Под московским платочком  
цветным!

Сквозь земные поклоны, да свечи,  
Ектеньи, ектеньи, ектеньи —  
Шепотливые, тихие речи,  
Запылавшие щеки твои...

Дальше, дальше... И ветер рванул-  
ся,  
Черноземным летя пустырем...  
Куст дорожный по ветру метнул-  
ся,  
Словно дьякон взмахнул орарем...

А уж там, за рекой полноводной,  
Где пригнулись к земле ковыли,  
Тянет гарью горячей, свободной,  
Слышны гуды в далекой дали...

Иль опять это – стан половецкий

*И татарская буйная крепь?  
Не пожаром ли фески турецкой  
Забуянила дикая степь?*

*Нет, не видно там княжьего стя-  
га,  
Не шеломами черпают Дон,  
И прекрасная внучка варяга  
Не клянет половецкий полон...*

*Нет, не вьются там по ветру чу-  
бы,  
Не пестреют в степях бунчуки...  
Там чернеют фабричные трубы,  
Там заводские стонут гудки.*

*Путь степной – без конца, без ис-  
хода,  
Степь, да ветер, да ветер, – и  
вдруг  
Многоярусный корпус завода,  
Города из рабочих лачуг...*

*На пустынном просторе, на ди-  
ком  
Ты все та, что была, и не та,  
Новым ты обернулась мне ликом,  
И другая волнует мечта...*

*Черный уголь – подземный мес-  
сия,  
Черный уголь – здесь царь и же-  
них,  
Но не страшен, невеста, Россия,  
Голос каменных песен твоих!*

*Уголь стонет, и соль забелелась,  
И железная воеет руда...  
То над степью пустой загорелась  
Мне Америки новой звезда!*

*1913*

**«Ветер стих, и слава зарева...»**

Моей матери

*Ветер стих, и слава заревая  
Облекла вон те пруды.  
Вон и схимник. Книгу закрывая,  
Он смиренно ждет звезды.*

*Но бежит шоссейная дорога,  
Убегает вбок...  
Дай вздохнуть, помедли, ради Бо-  
га,  
Не хрусти, песок!*

*Славой золотеет заревою*



*Монастырский крест издалека...  
Не свернуть ли к вечному покою?  
Да и что за жизнь без клобука?..*

*И опять влечет неудержимо  
Вдаль из тихих мест  
Путь шоссейный, пробегая мимо,  
Мимо инока, прудов и звезд...*

### **Последнее напутствие**

*Боль проходит понемногу,  
Не навек она дана.  
Есть конец мятежным стонам.  
Злую муку и тревогу  
Побеждает тишина.*

*Ты смежил больные вежды,  
Ты не ждешь – она вошла.  
Вот она – с хрустальным звоном  
Преисполнила надежды,  
Светлым кругом обвела.*

*Слышишь ты сквозь боль муче-  
ний,  
Точно друг твой, старый друг,  
Тронул сердце нежной скрипкой?  
Точно легких сновидений  
Быстрый рой домчался вдруг?*

Это – легкий образ рая,  
Это – милая твоя.  
Ляг на смертный одр с улыбкой,  
Тихо грезить, замыкая  
Круг постылый бытия.

Протянуться без желаний,  
Улыбнуться навсегда.  
Чтоб в последний раз проплыли  
Мимо, сонно, как в тумане,  
Люди, зданья, города...

Чтобы звуки, чуть тревожа  
Легкой музыкой земли,  
Прозвучали, потюмили  
Над последним миром ложа  
И в иное увлекли...

Лесть, коварство, слава, злато —  
Мимо, мимо, навсегда...  
Человеческая тупость —

Все, что мучило когда-то,  
Забавляло иногда...

И опять – коварство, слава,  
Злато, лесть, всему венец —  
Человеческая глупость,

*Безысходна, величава,  
Бесконечна... Что ж, конец?*

*Нет... еще леса, поляны,  
И проселки, и шоссе,  
Наша русская дорога,  
Наши русские туманы,  
Наши шелесты в овсе...*

*А когда пройдет все мимо,  
Чем тревожила земля,  
Та, кого любил ты много,  
Поведет рукой любимой  
В Елисейские поля.*

*1914*

**«Грешить бесстыдно, непробудно...»**

*Грешить бесстыдно, непробудно,  
Счет потерять ночам и дням,  
И, с головой от хмеля трудной,  
Пройти сторонкой в Божий храм.*

*Три раза преклониться долу,  
Семь – осенить себя крестом,  
Тайком к заплеванному полу  
Горячим прикоснуться лбом.*

*Кладя в тарелку грошик медный,*

*Три, да еще семь раз подряд  
Поцеловать столетний, бедный  
И зацелованный оклад.*

*А воротясь домой, обмерить  
На тот же грош кого-нибудь,  
И пса голодного от двери,  
Икнув, ногою отпихнуть.*

*И под лампадой у иконы  
Пить чай, отщелкивая счет,  
Потом переслюнить купоны,  
Пузатый отворив комод,*

*И на перины пуховые  
В тяжелом завалиться сне... —  
Да, и такой, моя Россия,  
Ты всех краев дороже мне.*

*1914*

**«Петроградское небо мутилось  
дождем...»**

*Петроградское небо мутилось до-  
ждем,  
На войну уходил эшелон.  
Без конца – взвод за взводом и  
штык за штыком  
Наполнял за вагоном вагон.*

*В этом поезде тысячью жизней  
цвели  
Боль разлуки, тревоги любви,  
Сила, юность, надежда... В закат-  
ной дали  
Были дымные тучи в крови.*

*И, садясь, запевали Варяга одни,  
А другие – не в лад – Ермака,  
И кричали ура, и шутили они,  
И тихонько крестилась рука.*

*Вдруг под ветром взлетел опада-  
ющий лист,  
Раскачнувшись, фонарь замигал,  
И под черною тучей веселый гор-  
нист  
Заиграл к отправленью сигнал.*

*И военною славой заплакал ро-  
жок,  
Наполняя тревогой сердца.  
Громыханье колес и охрипший сви-  
сток  
Заглушило ура без конца.*

*Уж последние скрылись во мгле  
буфера,*

*И сошла тишина до утра,  
А с дождливых полей все несло к  
нам ура,  
В грозном клике звучало: пора!*

*Нет, нам не было грустно, нам не  
было жаль,  
Несмотря на дождливую даль.  
Это – ясная, твердая, верная  
сталь,  
И нужна ли ей наша печаль?*

*Эта жалость – ее заглушает по-  
жар,  
Гром орудий и топот коней.  
Грусть – ее застилает отравлен-  
ный пар  
С Галицийских кровавых полей...  
Сентябрь 1914*

**«Я не предал белое знамя...»**

*Я не предал белое знамя,  
Оглушенный криком врагов,  
Ты прошла ночными путями,  
Мы с тобой – одни у валов.*

*Да, ночные пути, роковые,  
Развели нас и вновь свели,*

*И опять мы к тебе, Россия,  
Добрели из чужой земли.*

*Крест и насыпь могилы братской,  
Вот где ты теперь, тишина!  
Лишь щемящей песни солдатской  
Издали несется волна.*

*А вблизи – все пусто и немо,  
В смертном сне – враги и друзья.  
И горит звезда Вифлеема  
Так светло, как любовь моя.*

### **«Рожденные в года глухие...»**

*З. Н. Гиппиус*

*Рожденные в года глухие  
Пути не помнят своего.  
Мы – дети страшных лет России*

—  
*Забывать не в силах ничего.*

*Испепеляющие годы!  
Безумья ль в вас, надежды ль  
весть?  
От дней войны, от дней свободы*

—  
*Кровавый ответ в лицах есть.*

Есть немота – то гул набата  
Заставил заградить уста.  
В сердцах, восторженных ко-  
гда-то,  
Есть роковая пустота.

И пусть над нашим смертным  
ложем  
Взовьется с криком воронье, —  
Те, кто достойней, Боже, Боже,  
Да узрят Царствие Твое!

1914

### «Дикий ветер...»

Дикий ветер  
Стекла гнет,  
Ставни с петель  
Буйно рвет.

Час заутрени пасхальной,  
Звон далекий, звон печальный,  
Глухота и чернота.  
Только ветер, гость нахальный,  
Потрясает ворота.

За окном черно и пусто,  
Ночь полна шагов и хруста,  
Там река ломает лед,



*Там меня невеста ждет...*

*Как мне скинуть злую дрему,  
Как мне гостя отогнать?  
Как мне милую – чужому,  
Проклятому не отдать?*

*Как не бросить все на свете,  
Не отчаяться во всем,  
Если в гости ходит ветер,  
Только дикий черный ветер,  
Сотрясающий мой дом?*

*Что ж ты, ветер,  
Стекла гнешь?  
Ставни с петель  
Дико рвешь?*

## **Коршун**

*Чертя за кругом плавный круг,  
Над сонным лугом коршун кру-  
жит  
И смотрит на пустынный луг. —  
В избушке мать над сыном ту-  
жит:  
«На хлеба, на, на грудь, соси,  
Расти, покорствуй, крест неси».*

*Идут века, шумит война,  
Встает мятеж, горят деревни,  
А ты все та ж, моя страна,  
В красе заплаканной и древней. —  
Доколе матери тужить?  
Доколе коршуну кружить?*

1916

**Из стихотворений, не вошедших в  
«роман в стихах»**

**Народ и поэт**

**1**

*Жизнь – без начала и конца.  
Нас всех подстерегает случай.  
Над нами – сумрак неминучий  
Иль ясность Божьего Лица.  
Но ты, художник, твердо веруй*

*В начала и концы. Ты – знай,  
Где стерегут нас Ад и Рай.  
Тебе дано бесстрастной мерой  
Измерить все, что видишь ты.  
Твой взгляд – да будет тверд и  
ясен.*

*Сотри случайные черты —  
И ты увидишь: мир прекрасен,  
Познай, где свет, поймешь, где  
тьма.*

Пускай же все пройдет неспешно,  
Что в мире свято, что в нем  
грешно,  
Сквозь жар души, сквозь хлад ума.  
Так Зигфрид правит меч над гор-  
ном:  
То в красный уголь обратит,  
То быстро в воду погрузит, —  
И зашипит, и станет черным  
Любимцу вверенный клинок:  
Удар – булат сверкает верный  
И карлик, жалкий, лицемерный,  
В смятеньи падает у ног!

## 2

Кто меч скует? – Не знавший  
страха.  
А я – беспомощен и слаб —  
Как все, как вы, – лишь умный раб,  
Тяжелого создание праха, —  
И мир – он страшен для меня.  
Герой уж не разит свободно,  
Его рука – в руке народной,  
Стоит над миром столб огня,  
И в каждом сердце, в мысли каж-  
дой —  
Свой произвол и свой закон...  
Над всей Европою – дракон,

Разинув пасть, томится жаждой...

Кто нанесет ему удар? —  
Не ведаем: над нашим станом,  
Как встарь, повита даль туманом,  
И пахнет гарью. Там – пожар.

### 3

Но песня – песнью все пребудет,  
В толпе – все кто-нибудь поет.  
Вот голову его на блюде  
Царю плясунья подает;  
Там – он на эшафоте черном  
Слагает голову свою;  
Здесь – именем клеймят позорным  
Его стихи... И я пою,  
Но не за вами суд последний,  
Не вам замкнуть мои уста!  
Пусть церковь темная пуста,  
Пусть пастырь спит; я до обедни  
Пройду росистую между,  
Ключ ржавый поверну в затворе  
И в алом от зари притворе  
Свою обедню отслужу.

### 4

Ты, поразившая Денницу,  
Благослови на здешний путь!  
Позволь хоть малую страницу  
Из книги жизни повернуть.  
Дай мне неспешно и нелживо  
Поведать пред Лицом Твоим  
О том, что мы в себе таим,  
О том, что в здешнем мире живо,  
О том, как зреет гнев в сердцах,  
И с гневом – юность и свобода,  
Как в каждом дышит дух народа.  
Сыны отражены в отцах:  
Коротенький обрывок рода —  
Два-три звена, – и уж ясны  
Заветы темной старины:  
Созрела новая порода, —  
Угль превращается в алмаз.  
Он, под киркой трудолюбивой,  
Восстав из недр неторопливо,  
Предстанет – миру напоказ!  
Так бей, не знай отдохновенья,  
Пусть жила жизни глубока:  
Алмаз горит издалека —  
Дроби, мой гневный ямб, камняя!

1911

## **Два века**

Век девятнадцатый, железный,

Воистину – жестокий век!  
Тобою в мрак ночной, беззвездный  
Беспечный брошен человек!  
В ночь умозрительных понятий,  
Матерьялистских малых дел,  
Бессильных жалоб и проклятий,  
Бескровных душ и слабых тел!  
С тобой пришли чуме на смену  
Нейрастения, скука, сплин,  
Век расшибанья лбов о стену  
Экономических доктрин...

.....

А человек? Он жил безвольно:  
Не он – машины, города,  
«Жизнь» так бескровно и безболь-  
но  
Пытала дух, как никогда...  
Но тот, кто двигал, управляя  
Марионетками всех стран, —  
Тот знал, что делал, насылая  
«Гуманистический» туман:  
Там, в сером и гнилом тумане,  
Увяла плоть и дух погас,  
И Ангел сам священной брани,  
Казалось, отлетел от нас:  
Там распри кровные решают  
Дипломатическим умом,

Там пушки новые мешают  
Сойтись лицом к лицу с врагом,  
Там вместо храбрости – нахальство,  
А вместо подвигов – «психоз»,  
И вечно ссорится начальство,  
И длинный громоздой обоз  
Волочит за собой команда,  
Штаб, интендантов, грязь кляня,  
Рожком горниста – рог Роланда  
И шлем – фуражкой заменя...  
.....

Двадцатый век... Еще бездомней,  
Еще страшнее жизни мгла  
(Еще чернее и огромней  
Тень Люциферова крыла).  
Пожары дымные заката  
(Пророчества о нашем дне),  
Кометы грозной и хвостатой  
Ужасный призрак в вышине,  
Безжалостный конец Мессины  
(Стихийных сил не превозмочь),  
И неустанный рев машины,  
Кующей гибель день и ночь,  
Сознанье страшное обмана  
Всех прежних малых дум и вер,  
И первый взлет самолета

В пустыню неизвестных сфер...  
И отвлечение от жизни,  
И к ней безумная любовь,  
И страсть, и ненависть к отчиз-  
не...  
И черная, земная кровь  
Сулит нам, раздувая вены,  
Все разрушая рубежи,  
Неслыханные перемены,  
Невиданные мятежи...  
Что ж, человек? За ревом стали,  
В огне, в пороховом дыму,  
Какие огненные дали  
Открылись взору твоему?  
Как день твой величав и пышен,  
Как светел твой чертог, жених!  
Нет, то не рог Роланда слышен,  
То звук громовый труб иных!  
Так, очевидно, не случайно  
В сомненьях закалял ты дух,  
Участник дней необычайных!  
Открой твой взор, отверзи слух  
И причастись от жизни смысла,  
И жизни смысл благослови,  
Чтоб в тайные проникнуть числа  
И храм воздвигнуть – на крови.

Осень 1911—4 декабря 1914



## На лугу

*Леса вдали виднее,  
Синее небеса,  
Заметней и чернее  
На пашне полоса  
И детские звончее  
Над лугом голоса.*

*Весна идет сторонкой,  
Да где ж сама она?  
Чу, слышен голос звонкий,  
Не это ли весна?  
Нет, это звонко, тонко  
В ручье журчит волна...*

*25 октября 1912*

## Ворона

*Вот ворона на крыше покатой  
Так с зимы и осталась лохматой...*

*А уж в воздухе – вешние звоны.  
Даже дух занялся у вороны...*

*Вдруг запрыгала вбок глупым скоком,  
Вниз на землю глядит она боком,*

Что белеет под нежною трав-  
кой?

Вон желтеют под серою лавкой

Прошлогодние мокрые стружки...

Это все у вороны – игрушки,

И уж так-то ворона довольна,  
Что весна, и дышать ей приволь-  
но!..

25 октября 1912

**«Милая девушка, что ты колдуешь...»**

Милая девушка, что ты колдуешь

Черным зрачком и плечом?

Так и меня ты, пожалуй, взволну-  
ешь,

Только – я здесь ни при чем.

Знаю, что этой игрою опасной

Будешь ты многих пленять,

Что превратишься из женичины  
страстной

В умную нежную мать.

Но, испытавши судьбы перемены,  
—

Сколько блаженств и потерь! —

*Вновь ты родишься из розовой пены*

*Точно такой, как теперь.*

*9 декабря 1915*

## **Скифы**

*Панмонголизм! Хоть имя дико, Но  
мне ласкает слух оно.*

*Вл<адимир> С<оловьев>*

*Мильоны – вас. Нас – тьмы, и  
тьмы, и тьмы.*

*Попробуйте, сразитесь с нами!  
Да, Скифы – мы! Да, азиаты – мы,  
С раскосыми и жадными очами!*

*Для вас – века, для нас – единый  
час.*

*Мы, как послушные холопы,  
Держали щит меж двух враждеб-  
ных рас —  
Монголов и Европы!*

*Века, века ваш старый горн ковал  
И заглушал грома лавины,  
И дикой сказкой был для вас про-  
вал  
И Лиссабона, и Мессины!*

Вы сотни лет глядели на Восток,  
Копя и плавя наши перлы,  
И вы, глумясь, считали только  
срок,  
Когда наставить пушек жерла!

Вот – срок настал. Крылами бьет  
беда,  
И каждый день обиды множит,  
И день придет – не будет и следа  
От ваших Пестумов, быть мо-  
жет!

О, старый мир! Пока ты не погиб,  
Пока томишься мукой сладкой,  
Остановись, премудрый, как Эдип,  
Пред Сфинксом с древнею загад-  
кой!..

Россия – Сфинкс. Ликуя и скорбя,  
И обливаясь черной кровью,  
Она глядит, глядит, глядит в те-  
бя,  
И с ненавистью, и с любовью!..

Да, так любить, как любит наша  
кровь,  
Никто из вас давно не любит!

Забыли вы, что в мире есть лю-  
бовь,  
Которая и жжет, и губит!

Мы любим все – и жар холодных  
числ,  
И дар божественных видений,  
Нам внятно все – и острый галль-  
ский смысл,  
И сумрачный германский гений...

Мы помним все – парижских улиц  
ад,  
И венецьянские прохлады,  
Лимонных роц далекий аромат,  
И Кельна дымные громады...

Мы любим плоть – и вкус ея, и  
цвет,  
И душный, смертный плоти за-  
пах:  
Виновны ль мы, коль хрустнет  
ваш скелет  
В тяжелых, нежных наших ла-  
пах?

Привыкли мы, хватая под уздцы  
Играющих коней ретивых,

Ломать коням тяжелые кресты  
И усмирять рабынь строптивых...

Придите к нам! От ужасов войны  
Придите в мирные объятия!  
Пока не поздно – старый меч в  
ножны,  
Товарищи! Мы станем – братья!

А если нет, – нам нечего терять,  
И нам доступно вероломство!  
Века, века – вас будет проклипать  
Больное, позднее потомство!

Мы широко по дебрям и лесам  
Перед Европою пригожей  
Расступимся! Мы обернемся к  
вам  
Своею азиатской рожей!

Идите все, идите на Урал!  
Мы очищаем место бою  
Стальных машин, где дышит ин-  
теграл,  
С монгольской дикою ордою!

Но сами мы – отныне – вам – не  
щит,  
Отныне в бой не вступим сами,  
Мы поглядим, как смертный бой  
кипит,  
Своими узкими глазами!

Не сдвинемся, когда свирепый  
Гунн  
В карманах трупов будет ша-  
рить,  
Жечь города, и в церковь гнать  
табун,  
И мясо белых братьев жарить!..

В последний раз – опомнись, ста-  
рый мир!  
На братский пир труда и мира,  
В последний раз – на светлый  
братский пир  
Сзывает варварская лира!

30 января 1918

## Из дневников Александра Блока

<...>  
17 октября <1911>

Писать дневник, или по крайней мере де-  
лать от времени до времени заметки о самом

существенном, надо всем нам. Весьма вероятно, что наше время – великое и что именно мы стоим в центре жизни, т. е. в том месте, где сходятся все духовные нити, куда доходят все звуки.

Я начинаю эту запись, стесняясь от своего суконного языка перед самим собою, усталый от нескольких дней (или недель), проведенных в большом напряжении и *восторге*, но отдохнувший от тяжелого и ненужного последних лет.

Мне скоро 31 год. Я много пережил лично и был участником нескольких, быстро сменявшихся друг друга, эпох русской жизни. Многого никуда не вписано, и много драгоценного безвозвратно потеряно.

<...>

25 октября <1911>

Вчера цинга моя разболелась мучительно. Был шторм и дождь, после обеда мы с маленькой Любой стали играть в шашки на большом диване. Приходит А. В. Гиппиус, приехавший из Ковны. Много болтовни, милого, о семье (там тяжело), нежного, воспоминатель-



ного, тонкого. Матовые разговоры. Тяжелое о молодости Добролюбова, бюрократические анекдоты. – Ночью в окна и на мокрые крыши светила луна – холодная и ветряная. Около 3-х часов ночи он ушел. Все одно – холодная луна и Александр I: все это так, так – до возвращения 80-го и 905-го года. Медленно идет жизнь.

<...>

Разумеется, в конце такого дня – мучительный вихрь мыслей, сомнений во всем и в себе, в своих силах, наплывающие образы из невоплощающейся поэмы. Если бы уметь помолиться о форме. Там опять светит проклятая луна, и, только откроешь форточку, ветер врывается. Отчаянья пока нет. Только бы сегодня спать получше, а сейчас – забыть все (и мнительность), чтобы стало тихо. Люба вернется и зайдет ко мне – огладить.

Люба вернулась. Ужасна полная луна – под ней мир становится голым, уродливым трупом.

*26 октября*

Сегодня зубам легче. Весь солнечный день

провел в Александровском рынке, накупил книг на 20 руб. Веселый город, пьяный извозчик <...>

*29 октября*

Вчера и третьего дня – дни рассеяния собственных сил (единственный настоящий вред пьянства). После приключений третьего дня я расслаблен, гуляю <...>

*30 октября*

День дождливый, гимназисты от Панченки зовут на концерт.

Пишу большое письмо Боре.

После обеда пришла Александра Павловна Верховская, которая послезавтра едет в Тифлис. Очаровательная, старинная, нежная красота, женственность, материнство, тонкий, легкий ум в каждом слове и нежное лукавство.

Пишу Боре и думаю: мы ругали «психологию» оттого, что переживали «бесхарактерную» эпоху, как сказал вчера в Академии Вяч. Иванов. Эпоха прошла, и, следовательно, нам опять нужна вся душа, все житейское, весь

человек. Нельзя любить цыганские сны, ими можно только сторгать. Безумно люблю жизнь, с каждым днем больше, все житейское, простое и сложное, и бескрылое и цыганское.

Возвратимся к психологии.

Вечером напали страхи. Ночью проснулся, пишу, – слава богу, тихо, умиротворюсь, помолюсь. Мама говорит, что уже постоянно молится громко и что нет никакого спасения, кроме молитвы.

Назад к душе, не только к «человеку», но и ко «всему человеку» – с духом, душой и телом, с житейским – трижды так.

<...>

*9 ноября*

«Встал рано утром». – На днях я видел сон: собрание людей, комната, мне дают большое красивое покрывало, и я, крылатый демон, начинаю вычерчивать круги по полу, учась летать. В груди восторг, я останавливаюсь от вырезываний по полу (движения скэтинга),

Женя спрашивает, куда мы полетим, и я, «простря руку», показываю в окно: туда. Это не смешно.

<...>

*10 ноября <1911>*

Ночь глухая, около 12-ти я вышел. Ресторан и вино. Против меня жрет Аполлонский. Лихач. Варьетэ. Акробатка выходит, я умоляю ее ехать. Летим, ночь зияет. Я совершенно вне себя. Тот ли лихач – первый, или уже второй, – не знаю, ни разу не видал лица, все голоса из ночи. Она закрывает рот рукой – всю ночь. Я рву ее кружева и батист, в этих грубых руках и острых каблуках – какая-то сила и тайна. Часы с нею – мучительно, бесплодно. Я отвожу ее назад. Что-то священное, точно дочь, ребенок. Она скрывается в переулке – известном и неизвестном, глухая ночь, я расплачиваюсь с лихачом. Холодно, резко, все рукава Невы полные, всюду ночь, как в 6 часов вечера, так в 6 часов утра, когда я возвращаюсь домой.

Сегодняшний день пропащий, разумеется. Прогулка, ванна, в груди что-то болит, сто-

нать хочется оттого, что эта вечная ночь хранит и удесятеряет одно и то же чувство – до безумия. Почти хочется плакать.

Мама обедает, хороший разговор с ней после обеда. Провожая ее до трамвая. Опять ночь – искры трамвая. Вечер, утро – это концы и начала. В нашем ноябре нет начал и концов – все одно растущее, мятежное, пронизывающее, как иглами, влюбленностью, безумием, стонами, восторгом.

Эту женщину я, вероятно, не увижу больше, и не надо видеть, ни мне, ни ей неприятно, она «обесплочивает» мои страсти, бросает их в небеса своими саксонскими глазами. Она совсем не такова, какой я ее видел в первый раз.

Жить на свете и страшно и прекрасно. Если бы сегодня – спокойно уснуть.

Неведомо от чего отдыхая, в тебе поет едва слышно кровь, как розовые струи большой реки перед восходом солнца. Я вижу, как переливается кровь мерно, спокойно и весело под кожей твоих щек и в упругих мускулах твоих обнаженных рук. И во мне кровь моло-

деет ответно, так что наши пальцы тянутся друг к другу и с неизъяснимой нежностью сплетаются помимо нашей воли. Им трудно еще встретиться, потому что мне кажется, что ты сидишь на высокой лестнице, прислоненной к белой стене дома, и у тебя наверху уже светло, а я внизу, у самых нижних ступеней, где еще туманно и темно. Скоро ветер рук моих, обжигаясь о тебя и становясь горячим, снимает тебя сверху, и наши губы уже могут встретиться, потому что ты наравне со мной. Тогда в ушах моих начинается свист и звон виол, а глаза мои, погруженные в твои веселые и открытые широко глаза, видят тебя уже внизу. Я становлюсь огромным, а ты совсем маленькой; я, как большая туча, легко окружаю тебя – нырнувшую в тучу и восторженно кричащую белую птицу.

<...>

*14 ноября <1911>*

Записываю днем то, что было вечером и ночью, – следовательно, иначе.

Выхожу из трамвая (пить на Царскосельском вокзале). У двери сидят – женщина, пря-

чущая лицо в скунсовый воротник, два пожилых человека неизвестного сословия. Стоя у двери, слышу хохот, начинаю различать: «ишь... какой... верно... артис...» Зеленея от злости, оборачиваюсь и встречаю два наглых, пристальных и весело хохочущих взгляда. Пробормотав «пьяны вы, что ли», выхожу, слышу за собой тот же беззаботный хохот. Пьянство как отрезало, я возвращаюсь домой, *по старой памяти* перекрестясь на Введенскую церковь.

Эти ужасы вьются кругом меня всю неделю – отовсюду появляется страшная рожа, точно хочет сказать:

«Ааа... ты вот какой?.. Зачем ты напряжен, думаешь, делаешь, строишь, зачем?»

Такова вся толпа на Невском.

<...>

Мы, позевывая, говорим о «желтой опасности». Аничков раз добродушно сказал мне (этим летом): «Вы узко мыслите. Цусима – неважное событие. С Японией воевала не Россия, а Европа».

Так думают все офицеры, кончая первым офицером, который выпивает беззаботно со

своими конвойцами.

Откуда эти «каракули» и драгоценности на всех господах и барынях Невского проспекта? В каждом каракуле – взятка. В святые времена Александра III говорили: «Вот нарядная, вот так фуфуря!» Теперь все нарядные. Глаза – скучные, подбородки выросли, нет увлечения ни Гостиным двором, ни адюльтером, смазливая рожа любой барыни – есть акция, серия, взятка.

Все ползет, быстро гниют нити швов изнутри («преют»), а снаружи остается еще видимость. Но слегка дернуть, и все каракули расползутся, и обнаружится грязная, грязная морда измученного, бескровного, изнасилованного тела.

Так и мы: позевываем над желтой опасностью, а *Китай уже среди нас*. Неудержимо и стремительно пурпуровая кровь арийцев становится желтой кровью. Об этом, ни о чем ином, свидетельствуют рожи в трамваях, беззаботный хохот Меншикова (ИУДА, ИУДА), голое дамское под гниющими швами каракуля на Невском. Остается маленький последний акт: внешний захват Европы. Это про-



изойдет тихо и сладостно внешним образом. Ловкая куколка-японец положит дружелюбно крепкую ручку на плечо арийца, глянет «живыми, черными, любопытными» глазками в оловянные глаза *бывшего* арийца.

Столыпин незадолго перед смертью вскопчил ночью оттого, что ему приснился революционный броненосец, подходящий к Кронштадту. Это им снится еще, а «горшее» не снится.

Вот когда понадобится РАСПЕЧАТАТЬ все тайные возрождения Нового Света (По) и славянского мира (Пушкин, русская история, польский «мессианизм», Мицкевичев остров в Париже, равеннское, разбудить Галлу).

Надо найти в арийской культуре *взор*, который бы смог бестрепетно и спокойно (торжественно) взглянуть в «любопытный, черный и пристальный и голый» взгляд – 1) старика в трамвае, 2) автора того письма к одной провокаторше, которое однажды читал вслух Сологуб в бывшем Café de France, 3) Меншикова, продающего нас японцам, 4) Розанова, убеждающего смешаться с сестрами и со зверями, 5) битого Суворина, 6) дамы на Нев-

ском, 7) немецко-российского мужеложца...  
Всего не исчислишь. Смысл трагедии – БЕЗ-  
НАДЕЖНОСТЬ борьбы; но тут нет отчаянья,  
вялости, опускания рук. Требуется высокое  
посвящение.

Сегодня пурпурноперая заря.

Что пока – я? Только – видел кое-что в снах  
и наяву, чего другие не видали.

<...>

27 декабря <1911>

<...>

Тема для романа. Гениальный ученый  
влюбился буйно в хорошенькую, женствен-  
ную и пустую шведку. Она, и влюбясь в его  
темперамент и не любя его (по подлой, свой-  
ственной бабам, двойственности), родила ему  
дочь Любовь (жизнь сложная и доля непро-  
стая), умного и упрямого сына Ивана и двух  
близнецов (Марью да Василья... не стану гово-  
рить о них сейчас). Ученый, по прошествии  
срока, бросил ее физически (как всякий муж-  
чина, высоко поднявшись, связавшись с об-  
ществом, проникаясь все более проблемами,  
бабе недоступными). Чухонка, которой был

доставлен комфорт и средства к жизни, стала порхать в свете (весьма невинно, впрочем), связи мужа доставили ей положение и знакомства с «лучшими людьми» их времени (?), она и картины мажет, и с Репиным дружит, и с богатым купечеством дружна, и много.

По прошествии многих лет. Ученый помер, с лукавыми правыми воззрениями, с испорченным характером, со средней моралью. Жена его (до свадьбы и в медовые месяцы влюбленная, во время замужества ненавидевшая) чтит его память «свято», что выражается в запугиванье либеральных и ничтожных профессоров Меньшиковым и «Новым временем» и семейной грызней – по поводу неobservable имущества, оставленного ей мужем. Судьба детей, – что будет дальше?

Ей оправдание, конечно, есть: она не призвана, она – пустая бабенка, хотя и не без характера («характер» – в старинном смысле – годов двадцатых), ей не по силам ни гениальный муж, ни четверо детей, из которых каждый по-своему, положительно или отрицательно, незауряден...

*Но: кому нет оправдания? – Такова цепь*

жизни, сплетение одной нити в огромный клубок; и всему – свое время: надо где-нибудь порвать, уж слишком не видно конца, и нить разрезают – фикция осуждения, на голову, невинную в «абсолютном» (гадость жизни, темнота ее, дрянь цивилизации, людская фальшь), падает вина «относительная». Кто не налагал своих схем на эту путаницу жизни, мучительную и отрадную, быть может: отрадную потому, что в конце ее есть какой-то очистительный смысл.

Отец мой – наследник (Лермонтова), Грибоедова, Чаадаева, конечно. Он демонски изобразил это в своей незаурядной «классификации наук»: есть сияющие вершины (истина, красота и добро), но вы, люди, – свиньи, и для вас все это слишком высоко, и вы гораздо правильнее поступаете, руководясь в своей *политической по преимуществу* (верх жестокости и иронии) жизни отдаленными идеалами... юридическими (!!!). Это ли не *демонизм*? Вы слепы, вы несчастны, копайтесь в политике (ласкающая печаль демона) и не поднимайте рыла к сияющим вершинам (надмирная улыбка презрения – демон *сам*

залег в горах, «людям» туда пути нет). Все это – в несчастной оболочке А. Л. Блока, весьма грешной, похотливой... Пестрая, пестрая жизнь, острая «полоса дамасской стали», жестокая, пронзающая все сердца.

Днем было частью уютно, к обеду квартира промерзла, стало гадко. Вечером пришел милый Женичка, так мы сидели, болтали, мне стыдно перед ним, что я такой усталый. Очень хорошо он рассказывал о кинематографической картине, и болезненные все рассказы о Розанове. Все, что о нем слышишь в последнее время («Русское слово», Мережковские, Философов, Руманов, Ремизов), – тягостно.

Днем я вставил в раму «Усекновение главы» Массиса и занимался картинками.

<...>

2 января <1912>

Господи благослови.

Когда люди долго пребывают в одиночестве, например имеют дело *только* с тем, что недоступно *пониманию* «толпы» (в кавычках – и не одни, а десяток), как «декаденты»

90-х годов, тогда – потом, выходя в жизнь, они (бывают растеряны), оказываются беспомощными, и *часто* (многие из них) падают ниже самой «толпы». Так было со многими из нас. Для того чтобы не упасть низко (что, может быть, было и невозможно, ибо никаких личных человеческих сил не хватило бы для борьбы с бурей русской жизни следующих лет), или – хоть иметь надежду подняться, оправиться, отдохнуть и идти к людям, разумея под ними уже не только «толпу») (а это *очень возможно* для иных, – но не для всех), – для этого надо было иметь большие *нравственные* силы, т. е. известную «культурную избранность», ибо нравственные фонды наследственны. В наши дни все еще длится – и еще не закончен – этот нравственный отбор; вот почему, между прочим, так сильно еще озлобление, так аккуратно отмеривается и отвешивается количество арийской и семитической крови, так возбуждены национальные чувства; потому не устарели еще и «сословные счета», ибо бывшие сословия – культурные ценности, и очень важно, какую культурную струей питался каждый из нас (интерес-

но, когда касается тех, кто еще имеет «надежды», т. е. не «выродился», не разложился, не все ему «трын-трава»).

Вчерашнее воззвание Мережковского – очень высоко и очень больно. Он призывает к общественной совести, тогда как у многих из нас еще и личная совесть не ожила.

Пишу я вяло и мутно, как только что родившийся. Чем больше привык к «красивости», тем нескладнее выходят размышления о живом, о том, что во времени и пространстве. Пока не найдешь *действительной* связи между временным и вневременным, до тех пор не станешь писателем, не только понятным, но и кому-либо и на что-либо, кроме баловства, нужным.

<...>

*20 января <1912>*

Люба была на могиле отца. Только что поставленный памятник, против ожидания, приличен (грубые, некультурные глыбы – столбы с цепями; медальона, который испортит многое, еще нет). Рядом прислонен бывший деревянный крест, испещренный надпи-

сями – излияния химиков: «Чудовские химики», «На этой могиле не надо памятника», «Gloria aeterna»[16] и т. д. А внизу – «Звоните по телефону 40–42, правая кнопка, к гимназистке VIII класса».

Сзади – бедная могила Владимира (Володи) Менделеева, занесенная снегом; Люба отняла у отца два веночка из елки и положила на нее. Люба принесла несколько красных веночков.

Воротясь домой и увидав за окном в столовой подушку из снега, Люба стала представлять, как там идут маленькие человечки на лыжах вдоль по канату. Придется подарить ей коробку оловянных солдатиков.

<...>

*26 января <1912>*

Мама третьего дня вдруг стала говорить, что хочет заняться спиритизмом. Я ответил на это, что лучше говеть, например у Аггеева (если она может).

<...>

*28 февраля <1912>*



Вчера обедала мама, разговор сначала тяжелый, потом – хороший. Ночью я провожал ее на извозчике через Троицкий мост по мокрому снегу. Ей стало нравиться у нас в квартире – в большой степени от улучшения отношения Любы.

Сегодня днем – книги у букиниста (большой французский словарь истории и географии и Аполлодор). Вечерние прогулки (возобновляющиеся, давно не испытанные) по мрачным местам, где хулиганы бьют фонари, пристаёт щенок, тусклые окна с занавесочками. Девочка идет – издали слышно, точно лошадь тяжело дышит: очевидно, чахотка; она давится от глухого кашля, через несколько шагов наклоняется... Страшный мир.

<...>

*20 марта <1912>*

<...>

Вчера вечером передо мной пьяный на Большом проспекте на всем ходу соскочил с трамвая, но не вниз (как трезвые), а вверх (как пьяные). Оттого, как упал, так и остался лежать, – и струйка крови текла по лбу. Еще

жив, кажется.

*24 марта. «Страстная суббота»*

«Собирают мнения писателей о самоубийствах. Эти мнения будут читать люди, которые нисколько не собираются кончать жизнь. Прочтут мнение о самоубийстве, потом – телеграмму о том, что где-нибудь кто-нибудь повешен, а где-нибудь какой-нибудь министр покидает свой пост и т. д. и т. д., а потом, не руководствуясь ни тем, ни другим, ни третьим, пойдут по житейским делам, какие кому назначены.

В самом деле, почему живые интересуются кончающими с жизнью? Большею частью по причинам низменным (любопытство, стремление потешить свою праздность, удовольствие от того, что у других еще хуже, чем у тебя, и т. п.). В большинстве случаев люди живут настоящим, т. е. ничем не живут, а так – существуют. Жить можно только будущим. Те же немногие, которые живут, т. е. смотрят в будущее, знают, что десятки видимых причин, заставляющих людей уходить из жизни, ничего до конца не объясняют; за всеми эти-

ми причинами стоит одна, большинству живых не видная, не понятная и не интересная. Если я скажу, что думаю, т. е. что причину эту можно прочесть в зорях вечерних и утренних, то меня поймут только мои друзья, а также иные из тех, кто уже держит револьвер в руке или затягивает петлю на шее; а «деловые люди» только лишней раз посмеются; но все-таки я хочу сказать, что самоубийств было бы меньше, если бы люди научились лучше читать небесные знаки».

<...>

*1 декабря <1912>*

Нет, в теперешнем моем состоянии (жестокость, угловатость, взрослость, болезнь) я не умею и я не имею права говорить *больше*, чем о человеческом. Моя тема – совсем не «Крест и Роза», – этим я не овладею. Пусть будет – судьба человеческая, неудачника, и, если я сумею «умалиться» перед искусством, может мелькнуть кому-нибудь сквозь мою тему – большее. То есть: моя строгость к самому себе и «скромность» изо всех сил могут помочь пьесе – стать произведением искусства, а про-

изведение искусства есть существо движущееся, а не покоящийся труп.

<...>

*10 февраля <1913>*

Четвертая годовщина смерти Мити (сын Л. Д. Блок. – *Сост.*). Был бы теперь 5-й год.

Третья годовщина смерти В. Ф. Коммиссаржевской.

Только музыка необходима. Физически другой. Бодрость, рад солнцу, хоть и сквозь мороз.

Пора развязать руки, я больше не школьник. Никаких символизмов больше – один, отвечаю за себя, *один* – и могу еще быть моложе молодых поэтов «среднего возраста», обремененных потомством и акмеизмом.

Весь день в Шувалове – снег и солнце – чудо!

<...>

*11 февраля <1913>*

День значительный. – Чем дальше, тем тверже я «утверждаюсь», «как художник». Во мне есть инструмент, хороший рояль, струны

натянуты. Днем пришла особа, принесла «почетный билет» на завтрашний Соловьевский вечер. Села и говорит: «А «Белая лилия», говорят, пьеска в декадентском роде?» В это время к маме уже ехала подобная же особа, приехала и навизжала, но мама осталась в живых.

Мой рояль вздрогнул и отозвался, разумеется. На то нервы и струновидны – у художника. Пусть будет так: дело в том, что *очень хороший инструмент (художник) вынослив, и некоторые удары каблуком только укрепляют* струны. Тем отличается внутренний рояль от рояля «Шредера».

<...>

*22 марта <1912>*

По всему литературному фронту идет очищение атмосферы. Это отрадно, но и тяжело также. Люди перестают притворяться, будто «понимают символизм» и будто любят его. Скоро перестанут притворяться в любви и к искусству. Искусство и религия умирают в мире, мы идем в катакомбы, нас презирают окончательно. Самый жестокий вид гонения – полное равнодушие. Но – слава богу, нас

от этого станет меньше числом, и мы станем качественно лучше.

Тревожит и заботит Люба. Я буду, кажется, просить ее вернуться. Покатал бы ее, сладкого бы ей купил. Да, пишу – так, как чувствую, не скрывая.

<...>

29 мая <1913>

<...>

Дневник теряет смысл, я больше не буду писать.

8 ноября

*Другом* называется человек, который говорит не о том, что есть или было, но о том, что может и должно быть с другим человеком. *Врагом* – тот, который не хочет говорить о будущем, но подчеркивает особенно, даже нарочно, то, что есть, а главное, что было... дурного (или – что ему кажется дурным).

Вот почему я пишу на книге, даримой Иванову-Разумнику: «дорогому врагу».

<...>

25 мая <1917>

Старая русская власть делилась на безответственную и ответственную.

Вторая несла ответственность только перед первой, а не перед народом.

Такой порядок требовал людей верующих (вера в помазание), мужественных (нераздвоенных) и честных (аксиомы нравственности). С непомерным же развитием России вглубь и вширь он требовал еще – все повелительнее – гениальности.

Всех этих свойств давно уже не было у носителей власти в России. Верхи мельчали, развращая низы. Все это продолжалось много лет. Последние годы, по признанию самих носителей власти, они были уже совершенно растеряны. Однако равновесие не нарушалось. Безвластие сверху уравнивалось равнодушием снизу. Русская власть находила опору в исконных чертах народа. Отрицанию отвечало отрицание. Так как опора была только отрицательной, то, для того чтобы вывести из равновесия положение, надо было ждать толчка. Толчок этот, по громадности России, должен был быть очень силен. Таковым оказалась война 1914–1917 годов. Надо

помнить, однако, что старая русская власть опиралась на очень глубокие свойства русской души, на свойства, которые заложены в гораздо большем количестве русских людей, в кругах гораздо более широких (и полностью или частями), чем принято думать; чем полагается думать «по-революционному». «Революционный народ» – понятие не вполне реальное. Не мог сразу сделаться революционным тот народ, для которого, в большинстве, крушение власти оказалось неожиданностью и «чудом»; скорее просто неожиданностью, как крушение поезда ночью, как обвал моста под ногами, как падение дома.

Революция предполагает волю; было ли действие воли? Было со стороны небольшой кучки лиц. Не знаю, была ли революция?

Все это – в миноре.

<...>

*Ночь на 1 июня <1917>*

*Труд* – это написано на красном знамени революции. Труд – священный труд, дающий людям жить, воспитывающий ум и волю и сердце. Откуда же в нем еще проклятие? А



оно есть. И на красном знамени написано не только слово *труд*, написано больше, еще что-то.

13 июня <1917>

Опять – молодое, летающее тело. Знакомство с директором «Ниагары» Шурыгиным, который просил у меня чертежника для проекта изобретенного им большого плуга.

Увядаящая брюнетка в трамвае. Мы изучали друг друга. Под конец по лицу ее пробежало то самое, чего я ждал и что я часто вызывал у женщин: воспоминание, бремя томлений, приближение страсти, связанность (обручальное кольцо). Она очень устала от этого душевного движения. Я распахнул перед ней дверь, и она побежала в серую ночь. Вероятно, она долго не оглянется.

Опять набегает запредельная страсть, ужас желания жить. У нее очень много видевшие руки; она показала и ладонь, но я, впивая форму и цвет, не успел прочесть этой страницы. Ее продолговатые ногти холены без маникюра. Загар, смуглота, желающие руки. В бровях, надломленных, – невозможность.

<...>

18 июня <1917>

<...>

Мысль в честь сегодняшнего дня, который я опять отдал весь работе над прошедшим:

Перед моим окном высохло дерево. Буржуа, особенно с эстетическим рылом, посмотрит и скажет: опять рабочие нахулиганили. Но надо сначала знать: может быть, тут сваливали что-нибудь тяжелое, может быть, нельзя было не задеть, может быть, просто очень неловкий человек тут работал (у многих из них еще нет культурной верности движений).

В отчете комиссии следует обойтись без анекдотов; но использовать тот богатый *литературный* материал, который дают именно стенограммы и письменные показания, можно. Такова моя мысль.

<...>

19 июня <1917>

<...>

Ненависть к интеллигенции и прочему,

одиночество. Никто не понимает, что никогда не было такого образцового порядка и что этот порядок величаво и спокойно *оберегается ВСЕМ* революционным народом.

Какое *право* имеем мы (мозг страны) нашим дрянным буржуазным недоверием оскорблять умный, спокойный и много знающий революционный народ?

Нервы расстроены. Нет, я не удивлюсь еще раз, если *нас* перережут, во имя *ПОРЯДКА*.

<...>

26 июня <1917>

И разбит, и устал, и окрылен, и желаю – и рабочий, и пьяный закатом – все вместе...

Какие странные бывают иногда состояния. Иногда мне кажется, что я все-таки могу сойти с ума. Это – когда наплывают тучи дум, прорываться начинают сквозь них какие-то особые лучи, озаряя эти тучи особым откровением каким-то. И вместе с тем подавленное и усталое тело, не теряя усталости, как-то молодеет и начинает нести, окрыляет. Это описано немного литературно, но то, что я хотел бы описать, бывает после больших работ, беспо-

койных ночей, когда несколько ночей подряд терзают неперестающие сны.

В снах часто, что и в жизни: кто-то нападает, преследует, я отбиваюсь, мне страшно. Что это за страх? Иногда я думаю, что я труслив, но, кажется, нет, я не трус. Этот страх пошел давно из двух источников – отрицательного и положительного: из того, где я себя испортил, и из того, что я в себе открыл.

Сегодня все-таки много сделано четвертого допроса Белецкого.

<...>

*8 июля <1917>*

Всякая <...> мысль прочна и завоевательна только тогда, когда верна основная схема ее, когда в ее основании разумеется чертеж сухой и единственно возможный. При нахождении чертежа нельзя не руководствоваться вековой академической традицией, здравым и, так сказать, естественным разумом.

Что мыслится прежде всего, когда думаешь о докладе высокого государственного учреждения – Следственной комиссии, должностяющей вынести приговор старому 300-

летнему режиму, – учреждению еще более высокому – Учредительному собранию нового режима?

Мыслится русская речь, немногословная, спокойная, важная, веская, понятная – и соответствующее издание государственной типографии (а не популярные книжечки, издаваемые еврейско-немецкой фирмой «Муравей»). Такую речь поймет народ (напрасно думать, что народ не поймет чего-нибудь настоящего, верного), а популяризации – не поймет.

Всякая популяризация, всякое оригинальничанье, всякое приспособление заранее лишает мысль ее творческого веса, разжижает ее, делает шаткой, студенистой. *Caveant Academia, ne quid ratio detrimenti capiat*[17].

Найденный верно чертеж можно спокойно вручить для разработки всяким настоящим рабочим рукам. Лучше – талантливым; но личных талантов бог не требует, он требует верности, добросовестности и честности. Если будет работать талант, *обладающий этими качествами* (и, кроме того, в данном случае, государственным умом), то он сумеет вырастить на сухих прутьях благоухающие свежие

и красные цветы Демократии. («Талантик» только нагадит.) Если не будет таланта, чертеж останется верным, а Народ примет мило- стиво и простой и честный рабочий труд.

Нельзя оскорблять никакой народ приспособлением, популяризацией. Вульгаризация не есть демократизация. Со временем Народ все оценит и произнесет свой суд, жестокий и холодный, над всеми, кто считал его ниже его, кто не только из личной корысти, но и из своего... интеллигентского недомыслия хотел к нему «спуститься». Народ – наверху; кто спускается, тот проваливается. Это судьба и «\*\*\*-ов» и «муравьев», – дело только во времени.

Это – моя мысль (после ванны), все еще засоряющаяся злостью. Ее надо очистить, заострить и пустить оперенной стрелой, она – ко- ренная и хорошая.

<...>

*29 августа*

Безделье и гулянье по Невскому – настрое- ние улиц, кронштадтцы.

Если бы исторические события не были

так крупны, было бы очень заметно событие сегодняшнего дня, которое заставляет меня решительно видеть будущее во Временном правительстве и мрачное прошлое – в генерале Корнилове и прочих. Событие это – закрытие газеты «Новое время». Если бы не все, надо бы устроить праздник по этому поводу. Я бы выслал еще всех Сувориных, разобрал бы типографию, а здание в Эртелевом переулке опечатал и приставил к нему комиссара: это – второй департамент полиции, и я боюсь, что им удастся стибрить бумаги, имеющие большое значение.

Во всяком случае, уничтожено место, где несколько десятков лет развращалась русская молодежь и русская государственная мысль.<...>

Л. А. Дельмас прислала Любе письмо и муку, по случаю моих завтрашних именин.

Да, «личная жизнь» превратилась уже в одно унижение, и это заметно, как только прерывается работа.

<...>

5 января <1918>

Любимое занятие интеллигенции – выражать протесты: займут театр, закроют газету, разрушат церковь – протест. Верный признак малокровия: значит, не особенно любили свою газету и свою церковь.

Протестовать против насилия – метафора (бледная немочь).

Ненавидеть интернационализм – не знать и не чуют силы национальной.

*Ко всему* надо как-то иначе, лучше, чище отнестись. О, сволочь, родимая сволочь!

*Почему «учредилка»?* Потому что – как выбираю я, как все? Втемную выбираем, не понимаем. И почему другой может за меня быть? Я один за себя. Ложь выборная (не говоря о подкупах на выборах, которыми прогремели все их американцы и французы).

Надо, чтобы маленькое было село, свой сход, своя церковь (одна, малая, белая), свое кладбище – маленькое. На это – Ольденбург: *великая культура может быть только в великом государстве*. Так *БЫЛО* всегда. О, это *БЫЛО*, *БЫЛО*, проклятая историческая инерция. А должно ли так быть всегда?



Культура ихняя должна переслоиться.

Инстинктивная ненависть к парламентам, учредительным собраниям и пр. *Потому* что рано или поздно некий Милюков произнесет: «Законопроект в третьем чтении отвергнут большинством».

Это ватерклозет, грязный снег, старуха в автомобиле, Мережковский в Таврическом саду, собака подняла ногу на тумбу, m-lle Врангель тренькает на рояле (блядь буржуазная), и все кончено. <...>

Медведь на ухо. Музыка где у вас, тушинцы проклятые?

Если бы это – банкиры, чиновники, буржуа! А ведь это – интеллигенция!

Или и *духовные ценности* – буржуазны? Ваши – да.

Но «государство» (Ваши учредилки) – *НЕ ВСЕ*. Есть еще воздух.

<...>

Чувство неблагополучия (музыкальное чувство, *ЭТИЧЕСКОЕ* – на вашем языке) – где оно у вас?

Как буржуи, дрожите над своим карманом. В голосе этой барышни за стеной – какая

тупость, какая скука: домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают. Когда она наконец ожеребится? Ходит же туда какой-то корнет.

Ожеребится эта – другая падаль поселится за переборкой, и так же будет выть, в ожидании уланского жеребца.

К чорту бы все, к чорту! Забыть, *вспомнить другое.*

*7 января <1918>*

Для художника идея народного представительства, как всякое «отвлечение», может быть интересна только по внезапному капризу, а по существу – ненавистна.

<...>

*18 января <1918>*

<...>

Я поднимаю вопрос об орфографии. Главное мое возражение – что она относится к технике творчества, в которую государство не должно вмешиваться. Старых писателей, которые пользовались ятями как одним из средств для выражения своего творчества, надо издавать со старой орфографией. Новые,

которые будут писать по-новому, перенесут свою творческую энергию (élan)[18] в другие приемы (тороплюсь записывать, потому нескладно).

Меня поддерживают Л. Рейснер и Альтман. Остальные – за новую орфографию, хотя понимают меня.

С Бенуа мы все наоборот. Он лично ненавидит «Известия» и любит мольеровскую орфографию изданий XVII века. Я лично не привязан к старому и, может быть, могу переучиться даже сам, но опасаясь за объективную потерю кое-чего для художника, а следовательно, и для народа.

Однако, может быть, сопротивлялись также, как я вчера, и новой французской орфографии и петровскому гражданскому шрифту.

Новая орфография введена старым правительством («временным») и им же проведена в школы и учебники. Большевики делают лишь новые практические шаги в этом направлении. Для издания классиков это уже было предрешено, но, несмотря на то, что они считают невозможным поступаться декретом, я прошу вновь пересмотреть вопрос,

пригласив на следующее заседание Морозова и Иванова-Разумника. Они, со своей стороны, пригласят педагогов.

За новую орфографию: дети уже учатся по ней. Экономия миллионов рублей (на ъ) и труда наборщиков.

<...>

*26 (13) февраля, ночь <1918>*

Я живу в квартире, а за тонкой перегородкой находится другая квартира, где живет буржуа с семейством (называть его по имени, занятия и пр. – лишнее). Он обстрижен ежиком, расторопен, пробыв всю жизнь важным чиновником, под глазами – мешки, под брюшком тоже, от него пахнет чистым мужским бельем, его дочь играет на рояли, его голос – тэноришка – раздается за стеной, на лестнице, во дворе у отхожего места, где он распоряжается, и пр. Везде он.

Господи, боже! Дай мне силу освободиться от ненависти к нему, которая мешает мне жить в квартире, душит злобой, перебивает мысли. Он такое же плотоядное двуногое, как я. Он лично мне еще не делал зла. Но я зады-

хаюсь от ненависти, которая доходит до какого-то патологического истерического омерзения, мешает жить.

Отойди от меня, сатана, отойди от меня, буржуа, только так, чтобы не соприкоснуться, не видеть, не слышать; лучше я или еще хуже его, не знаю, но гнусно мне, рвотно мне, отойди, сатана.

<...>

*11 июня <1918>. Ольгино и Лахта*

Чего нельзя отнять у большевиков – это их исключительной способности вытравлять быт и уничтожать отдельных людей. Не знаю, плохо это или не особенно. Это – факт.

В прошлом году меня поразило это в Шувалове. Но то, что можно видеть в этом году на Лахте, – несравненно ярче.

Жителей почти не осталось, а дачников нет. Унылые бабы тянутся утром к местному совету, они обязаны носить туда молоко. Там его будто бы распределяют. Неподалеку от совета выгорело: в одну сторону – дач двенадцать, с садами и частью леса. Были и жилые. Местные пожарные ленились качать воду,

приезжала часть из Петербурга. По другую сторону – избушки огородников. Прошлогоднее пожарище в центре так и стоит.

В чайной, хотя и стыдливо – в углу малозаметном, – вывешено следующее объявление:

*«Никто не должен  
оставлять после себя  
грязи ни физической, ни моральной.  
Заведующий».*

Заведующий, по-видимому, бывший трактирщик.

Когда я переспрашивал, к какому комиссариату относится ограбленный бывший «замок», вокруг которого все опоганено, как водится, он (или его сосед – «член совета») долго молчал; наконец нерешительно ответил, что это – «министерство народного просвещения».

«Замок» называется очень сложно – что-то вроде «экскурсионного пункта и музея природы» (так на воротах написано). Там должны пить чаем детей из школ.

Сегодня понаехало, по-видимому, много школ, но чаю не дали, потому что не было ки-

пятку, – «не предупредили заранее». Учительнице пришлось вести детей в чайную, где ей очень неохотно дали чаю – за большие деньги.

В чайной пусто, почти нет столов, и граммофон исчез. Около хорошенькой сиделицы в туфлях на босу ногу трутся штуки четыре наглых парней в сапогах, бывших шикарными в 1918 году. Тут же ходят захватанные этими парнями девицы.

Ольгинская часовня уже заколочена. Сохранились на стенах прошлогодние надписи, русские и немецкие.

Из двух иконок, прибитых к сухой сосне, одна выкрадена, а у другой – остался только оклад. Лица святых не то смыты дождем, не то выцарапаны.

На берег за Ольгиным выкинуты две больших плоскодонных дровяных барки, куски лодок, бочки и прочее. Как-то этого в этом году не собирают – вымерли все, что ли?

Загажено все еще больше, чем в прошлом году. Видны следы гаженья сознательного и бессознательного.

«Ох, уж совет, – говорит хорошенькая сиде-

лица. – Ваш совет уничтожить надо». И прибавляет сонно: «А Кронштадт второй день горит, кажется, форт Петр».

Действительно, из Кронштадта утром шел бурый дым – последствие взрыва сегодняшней ночи: в 2 часа дом наш потрясся; на улице был ветер, в море, вероятно, шторм. И, однако, черное рогатое облако, поднявшееся в стороне Кронштадта, долго не расходилось – так тяжел этот черный дым, что ли?

Никто ничего не хочет делать. Прежде миллионы из-под палки работали на тысячи. Вот вся разгадка. Но почему миллионам хотеть работать? И откуда им понимать коммунизм иначе, чем – как грабеж и картеж? <...>

*3 января <1921>*

Новый год еще не наступил – это ясно; он наступит, как всегда, после Рождества.

В маленьком пакете, спасенном Андреем из шахматовского дома и привезенном Феродем осенью: листки Любиных тетрадей (очень многочисленные). Ни следа ее дневника. Листки из записных книжек, куски погибших рукописей моих, куски отцовского архи-



ва, повестки, университетские конспекты (юридические и филологические), кое-какие черновики стихов, картинки, бывшие на стене во флигеле.

На некоторых – грязь и следы человеческих копыт (с подковами). И все.

<...>

## **Из записных книжек Александра Блока** **24**

<25 января 1909>

### **Январские встречи**

25 января. Третий час ночи. Второй раз.

Зовут ее Мартой. У нее две большие каштановые косы, зелено-черные глаза, лицо в оспе, остальное – уродливо, кроме божественного и страстного тела. Она – глупая немка. Глупо смеется и говорит. Но когда я говорю о Гете и «Faust'»е, – думает и влюбляется. «Если бы ты даже был мазурик, если бы тебя арестовали, я бы тебя всюду искала». Я говорю с ней шутливо по-немецки, интригую ее. Кто я – она не знает. Когда я говорил ей о страсти и смерти, она сначала громко хохотала, а потом глубоко задумалась. Женским умом и чувством, в сущности, она уже поверила всему,

поверит и остальному, если бы я захотел. Моя система – превращения плоских профессионалок на три часа в женщин страстных и нежных – опять торжествует.

Все это так таинственно. Ее совсем простая душа и мужицкая становится арфой, из которой можно извлекать все звуки. Сегодня она разнежилась так, что взяла в номере на разбитом рояле несколько очень глубоких нот.

Ее коньки, ее сила.

Впрочем, увы, я второй из тех, кем она увлеклась.

Может быть, я лечу уже вниз. Моя жена не всегда уже имеет силу и волю сдерживать меня или рассердиться на меня (жутко это записывать). Или это оттого, что на днях будет Ребенок и она ушла в думу о Нем?

Не знаю.

Как редко дается большая страсть. Но когда приходит она – ничего после нее не остается, кроме всеобщей песни. Ноги, руки и все члены ноют и поют хвалебную песню.

Когда страсти долго нет (месяцами), ее ме-

сто заступает поганая похоть, тяжелая мысль; потом «тоска во всю ночь» знаменует приближение. И совершенно неожиданно приходит ветер страсти. «Буря». Не остается ничего – весь страсть, и «она» – вся страсть. Еще реже – страсть освободительная, ликование тела. Есть страсть – тоже буря, но в каком-то кольце тоски. Но есть страсть – освободительная буря, когда видишь весь мир с высокой горы. И мир тогда – мой. Радостно быть собственником в страсти – и невинно.

<...>

17 февраля <1909>

Во всех нас очень много *настоящего* и лишь *ОДНА* капля *будущего*. Даже в мировых произведениях наших: «Анна Каренина»; вся психологическая путаница относится к настоящему, – и отдельные эпизоды: Щербацкие и Вронские за границей (*сентиментальная* Варенька, наивный художник): отношения Кити к Марье Николаевне, весь Николай Левин (кроме *Смерти*).

«Анна Каренина» написана страшно

неровно (видно, как ему надоело). Есть страницы и главы попросту бездарные.

## 25

<Февраль 1909>

Современный момент нашей умственной и нравственной жизни характеризуется, на мой взгляд, крайностями во всех областях. Неладность (безумие тревоги или усталости). Полная потеря ритма.

Рядом с нами все время существует иная стихия – народная, о которой мы не знаем ничего – даже того, мертвая она или живая, что нас дразнит и мучает в ней – живой ли ритм или только предание о ритме.

Ритм (мировой оркестр), музыка дышит, где хочет: в страсти и в творчестве, в народном мятеже, и в научном труде [в революции].

Современный художник – искатель утраченного ритма (утраченной музыки) – тороплив и тревожен; он чувствует, что ему осталось немного времени, в течение которого он должен или найти нечто, или погибнуть.

Современная жизнь есть кощунство перед

искусством, современное искусство – кощунство перед жизнью.

## 26

29 июня <1909>. Вечер.

Вагнер в Наугейме – нечто вполне невыразимое: напоминает – *anamnhsiz*[19].

Музыка потому самое совершенное из искусств, что она наиболее выражает и отражает замысел Зодчего. Ее нематерьяльные, бесконечно малые атомы – суть *вертящиеся* вокруг центра точки. Оттого каждый оркестровый момент есть изображение системы звездных систем – во всем ее мгновенном многообразии и текучем. «Настоящего» в музыке нет, она всего яснее доказывает, что настоящее *вообще* есть только условный термин для определения границы (несуществующей, фиктивной) между прошедшим и будущим. Музыкальный атом есть самый совершенный – и единственный реально существующий, ибо – творческий.

Музыка творит мир. Она есть духовное тело мира – *мысль* (текучая) мира («Сон – мечта, в мечте – мысли, мысли рождаются из знанья»). Слушать музыку можно только закрывая гла-

за и лицо (превратившись в ухо и нос), т. е. устроив ночное безмолвие и мрак – условия «предмирные». В эти условия ночного небытия начинает втекать и принимать свои формы – становиться космосом – дотоле бесформенный и небывший хаос.

Поэзия исчерпаема (хотя еще долго способна развиваться, не сделано и сотой доли), так как ее атомы несовершенны – менее подвижны. Дойдя до предела своего, поэзия, вероятно, утонет в музыке.

Музыка – предшествует всему, что обусловливает. Чем более совершенствуется мой аппарат, тем более я разборчив – и в конце концов должен *оглохнуть* *вовсе* ко всему, что не сопровождается музыкой (такова *современная* жизнь, политика и тому подобное).

<...>

<21 июня 1909>

Возвращаясь из-за границы, я проснулся рано. Поезд только что отошел от Двинска и тихо потерялся в каких-то русских полях (стражник).

[Я лежу и вижу]

До Режицы еще долго – а что в ней, в этой Режице. Та же все мокрая платформа, сплошные серые тучи, два телеграфиста и кричащая на ветер баба. И это – русский белый день – после отвратительного итальянского (все гноит), после утренней прозрачности и готики германских городов и машин? Уютная, тихая, медленная слякоть. Но жить страшно хочется («Три сестры»). И потому ждешь с нетерпением к вечеру Петербурга. А что в этом Петербурге? Все та же – большая, мокрая, уютная Режица.

А Люба спит передо мной, укрытая моим пальто. Над ней висит ее поношенная детская шляпа.

Жалость – когда человек ест; когда растерявшийся и впервые попавший в Россию немец с экземой на лице присутствует при жаргонной ругани своего носильщика с чужим; когда таможенный чиновник, всю жизнь видящий уезжающих и приезжающих из-за границы, а сам за границей не побывавший, любезно и снисходительно спрашивает,

нет ли чего и куда едут.

*2 июля <1909>*

*Тараканово*

Западу обязан я тем, что во мне шевельнулся дух пытливости и дух скромности. Оба боюсь я утратить опять. А без них невозможна работа, т. е. жизнь. Без них все случайно, подвержено случайностям.

Наш сад пострадал от ветра еще мало, — здесь сломало и вырвало с корнем несколько старых берез парка.

Бес смеха, отступи от меня и от моей мысли. Я хочу гнать и других бесов.

*8 июля <1909>, перед ночью, во флигеле*

Люба была в Боблове. Ванина книга. Диван в этом году будет вполне окончен. Мама совершенно права в своем сегодняшнем беспокойстве. Происходит нечто серьезное.

Русская революция кончилась. Дотла сгорели все головни, или чаши людских сердец расплескались, и вино растворилось опять во всей природе и опять будет мучить людей, проливших его, неисповедимым. Вся природа



опять заколдовалась, немедленно после того, как расколдовались люди. Тоскует Душа Мира, опять, опять. Из-за еловых крестов смотрят страшные лики – на свинце ползущих туч. Все те же лики – с еще новыми: лики обиженных, казненных, обездоленных, лики великих любовниц – Галлы, Изотты – и других *моих*. Свинцовые тучи ползут, ветер резкий. Мужики по-прежнему кланяются, девки боятся барыни, Петербург покорно пожирается холерой, дворник целует руку, – а Душа Мира мстит нам за всех за них. «Возврат».

Люба вернулась сегодня из Боблова по-старому. Чужая, подурневшая. Надежда Яковлевна опять устраивает в Боблове вечер, не мыслимый в только что пережитые годы.

Возвращается все, все. И, конечно, – первое – тьма. Сегодняшний день (и вчерашний) – весь с короткими дождями, растрепанными белыми гигантами в синеве, с беспорядком в листьях, со свинцом, наползающим к вечеру на кресты елей, – музыкален в высшей степени.

Будет еще много. Но Ты – вернись, вернись, вернись – в конце назначенных нам испыта-

ний. Мы будем Тебе молиться среди положенного нам будущего страха и страсти. Опять я буду ждать – всегда раб Твой, изменивший Тебе, но опять, опять – возвращающийся.

Оставь мне острое воспоминание, как сейчас. Острую тревогу мою не усыпляй. Мучений моих не прерывай. Дай мне увидеть зарю Твою. Возвратись.

*15 июля <1909>*

Буря в ночь на 15 июля. Утром у Любы обнаружена свинка или жаба? Сильный жар, лежит (почти 39).

Я (мы) не с теми, кто за старую Россию (Союз русского народа, сюда и Розанов!), не с теми, кто за европеизм (социалисты, к. – д., Венгеров например), но – за *новую Россию*, какую-то, или – за «никакую». Или ее не будет, или она пойдет совершенно другим путем, чем Европа, – культуры же нам не дожидаться. Это и *есть ОПЯТЬ* – песня о «новом гражданине» (какого пророчили и пророчат – например *Достоевский*, но пророчат не на деле, а только в *песне*).

10 августа <1909>

Революция у нас провела резкую черту между прошедшей общностью труда и кой-каких интересов и настоящей разобщенностью их.

В частности – мы, писатели, отделены и хотим быть отделены от «общества» непроходимой чертой. Литература наша есть *наука*, недоступная неспециалистам. Есть литераторы, популяризаторы и проч. (Боборыкин, Потапенко, наполовину Л. Андреев), и есть *писатели* (Вал. Брюсов, А. Белый). Часть держится еще традиций прошлого (отчасти – Мережковский), но это – сидение между двумя стульями, которое должно рано или поздно кончиться.

Если хотите «почитать новенького», – возьмите то, чего мы не называем уже русской литературой.

Если хотите *учиться*, – идите к нам, мы кой-кого из вас, пожалуй, примем в ученики, при условии скромности и послушания.

<Первая половина августа 1909>

Культуру нужно любить так, чтобы ее ги-

бель не была страшна (т. е. она в числе всего достойного любви). Мировоззрение запуганного веком, да уж что поделаешь.

<...>

<5 сентября (?) 1909>

Форма искусства есть образующий дух, творческий порядок. Содержание – мир: явления душевные и телесные. (Бесформенного искусства нет, «бессодержательное» – вследствие отсутствия в нем мира душевного телесного – возможно.) Сколько бы Толстой и Достоевский ни громоздили хаоса на хаос – великий хаос я *предпочитаю* в природе. *Хорошим художником* я признаю лишь того, кто из данного хаоса (а не в нем и не *на* нем) (данное: психология – бесконечна, душа – безумна, воздух – черный) творит космос.

А. Иванов («Стереоскоп»), Брюсов – проза. От Пушкина.

22–23 сентября. Ночь

Ночное чувство непоправимости всего подползает и днем. Все отвернутся и плюнут, – и пусть – у меня была молодость. Смер-

ти я боюсь и жизни боюсь, милее всего прошедшее, святое место души – Люба. Она помогает – не знаю чем, может быть, тем, что отняла? – Э, да бог с ними, с записями и реестрами тоски жизни.

## 29

**30** ноября – 1 декабря <1909>

Ничего не хочу – ничего не надо. Длинный коридор вагона – в конце его горит свеча. К утру она догорит, и душа засуетится. А теперь – я только не могу заснуть, так же как в своей постели в Петербурге.

*Передо мной – холодный мрак могилы,  
Перед тобой – объятия любви.*

Отец лежит в Долине роз и тяжело бредит, трудно дышит. А я – в длинном и жарком коридоре вагона, и искры освещают снег. Старик в подштанниках меня не тревожит – я один. Ничего не надо. Все, что я мог, у убогой жизни взял, взять больше у неба – не хватит сил. Зброшен я на Варшавскую дорогу так же, как в Петербург. Только ее со мной нет – чтобы по-детски скучать, качать головкой,

спать, шалить, смеяться.

У «Гнедича» все идет как по маслу – творчества нет, он сам о нем не помышляет и нас не заставляет. У Ремизова только и дума, что о цельном творчестве, постоянное спотыкание, один рассказ от злости и бессилия сотворить цельное – прямо переходит в билиберду. Все – неравномерно, отрывисто, беспокойно, – хотя гораздо уже плавнее, чем в прежних книгах. Да еще бы, откуда этой плавности взяться? Ее и у Достоевского не было. Ремизов – не Толстой, чтобы, сидя в деревне, спокойно и важно нарисовать блистательные, вальяжные главы, за главами части, и таких частей – восемь (!). И все – цельно. Но Ремизов зато и не Гнедич. Простой, удивительно простой ключ ко всему «творчеству» фотографа Гнедича – весь ключ в том, что творчества во все нет, оно устранено. Откуда почерпнул г. Гнедич такое спокойствие душевное, такую «эпичность» – остается неизвестным. Ясно – не у Гомера. Не у героя ли своего – чиновника особых поручений «Выдыбаева»? Как бы то ни было, Ремизов и Гнедич – небо и земля, ан-

типоды, обоим друг на друга, вероятно, без смеху взглянуть невозможно. Один – писатель, в «муке творчества», ищущий... Другой – литератор, без творчества, чиновник особых поручений при литературе.

*1 декабря, вечером*

Подъезжаю к Варшаве. По обыкновению, томлюсь без Любы – не могу с ней расстаться. Что-то она? – Среди редких искр – несколько звезд. Мерцает свечка. Отобрали билеты. – За четверть часа уже видно зарево над Варшавой – проклятый спутник больших городов.

**30**

**18** *февраля <1910>*

Люба довела маму до болезни. Люба отогнала от меня людей, Люба создала всю ту невыносимую сложность и утомительность отношений, какая теперь есть. Люба выталакивает от себя и от меня всех лучших людей, в том числе – мою мать, то есть мою совесть. Люба испортила мне столько лет жизни, измучила меня и довела до того, что я теперь. Люба, как только она коснется жизни, становится сейчас же таким дурным человеком,

как ее отец, мать и братья. Хуже, чем дурным человеком, – страшным, мрачным, низким, устраивающим каверзы существом, как весь ее Поповский род. Люба на земле – страшное, посланное для того, чтобы мучить и уничтожать ценности земные. Но – 1898–1902 <годы> сделали то, что я не могу с ней расстаться и люблю ее.

*11 марта <1910>*

<...>

*Наблюдения:*

Армянин, настроив скрипку, дудит для кого-то. Его брови – крышей. Нет, оказывается, действительно (о, какие длинные слова на русском языке) дудил вообще. Ему аплодируют. – Теперь пришел дирижер – опять – весь скрипичный оркестр. «Скрипки жалуются помимо воли пославшего их» (запомнил – трезвый).

<...>

*11–12 мая <1910>, утром рано, в 4 часа*

Есть у нас арендатор – мелкий мошенник. Жена у него Ольга и четверо детей – Тимоша,



Вася, Ваня и Маня. Он испортил и недодал сбрую, не сдал овса, продал корову и лошадь, не вывез дров, наворовал по мелочам.

Сегодня утром встал я из теплой постели в 4-м часу утра посмотреть комету. Было серое утро, туман клубился, потом пошли бурые пятна по тучам, и встало солнце.

Кометы я не увидел, но увидел, как Егор, вставший со своей беременной женой, торопливо и воровато навивает воз соломы и увозит ее на свой хутор; как вышли овцы – и бросились без призора на наш клевер, выползли некормленные куры и побежали на только что посеянный овес, вышли три несчастных теленка, заковыляла с ведром беременная Ольга.

Надо сказать, что Егорка давно уже обещал съехать до срока и дать мне вексель на 60 руб. и расписку на овес. Накрал он много больше того. Вечером возвращается он в сумерки усталый со своего хутора, куда старается стащить все, что может, и начинает объясняться, если натолкнется на меня, сбивчиво, заикаясь и нагло улыбаясь вместе. Сегодня вот он должен доставать оборот для пахоты – един-

ственный порядочный он стащил в Тараканово.

Пожимаясь от утреннего холода, злюсь я на Егорку, чувствую, что он топчет *мой собственный* клевер своими овцами, и т. д. Я вот случайно встал – праздно взглянуть на небесную звезду, а плотники, каменщики, печник, денщик, работник – все, кого мы нагнали строить нашу больную жизнь, – они спят еще, только Егорка трудится ранним утром – сколачивает свой убогий хутор, свивает детям исподтишка гнездо из соломы, которую должен был зимой положить в наш навоз.

Мы – люди денежные и бездетные. А вороватый Егорка снимает шерсть с овец на детей, соломой греет детей, яйца от некормленных кур дает детям.

## 32

<26 марта 1911>

У поэтов русских очень часто встречается в произношении *цыганское кокетство*. Потому мы всегда можем ошибиться в произношении, например: с глазами *темно-голубыми*, с *темно-кудрявой* головой (Баратынский). Обо многие такие совершенно

нешкольные, но первоклассные подробности разбиваются наши научные предположения.

<...>

<9 апреля 1911>

Это – в Страстную среду. Пятого апреля произошло событие. Шестого – после верхней записи и целого дня скитаний (Курорт – Белоостров, жандармы, поезд, разводящий ежедневно пары в лучах заката, оскорбление бедного рабочего) – ужас. Седьмого апреля – лежу, больной, ванна. Восьмого – с Пястом на выносе плащаницы в Парголово и вечером у нас с Ивойловым. Апельсины, котлеты. Суббота – расслабленность, днем – у мамы, Женя (как нарочно, «Кононович» и вот: послеобеденный сон в Страстную субботу:

«Мы с Любой нашли маме с Францем квартиру на Лицейской против нас. Там солнечно, но они не согласны, ворчат. На улице – весна, как будто знойно, и пахнет, может быть, цветами – но это только ужасно. Полдень, какое-то скитание по Лицейской и Архиерейской.

Находим другую квартиру, в полуразва-

лившемся деревянном доме в Казарменном переулке (такого там нет, и переулок несколько другой).

Почему-то долго я пробую перед вечером и ночью заутрени зажечь фонарь на улице. Трачу массу спичек – он не зажигается. Мама сидит тут же, где-то на пороге. Сходит ночь, совсем тьма, и я пугаюсь за маму и за все. Мама ушла, очевидно, в дом (свой), но я уже ее не вижу, хожу ощупью, много народу проходит, и солдаты. Я пугаю и пугаюсь солдат. Кто-то хватает за плечи (жмет под мышками). Я соображаю: это на газовом заводе прекратили работу перед заутренией. Но почему же только в этом переулке не горит? Еще соображаю, что, если бы от спички вспыхнул газ, он обжег бы мне руки и лицо.

В квартире у мамы. Уютно, но что-то грозное (все ужасно – лейтмотив сна). Самовар. Должен прийти какой-то офицер, и я собираюсь уходить, мама убеждает меня, что это неправильно, что я – эгоист. Я убегаю, поссорившись с ней, в темный Казарменный переулок. Бросаюсь в какие-то полуворота (на месте тюлевой фабрики). Там – свет и копоше-

ния фигур во мраке. Я бросаюсь назад, меня чуть не уничтожают какие-то вращающиеся рычаги и поршни. Здесь – «гидравлический завод». Я вспоминаю: «Когда отводили Неву, здесь хлюпала вода, этим воспользовались и построили гидравлический завод». Спасаясь кое-как, чуть не раздавив руки и ноги. Из черного переулка в меня бросается несколько черных пьяных солдат.

Я достиг своего дома. Здесь две половины: наша (с Любой) и «менделеевская». Приотворена дверь в менделеевскую: там – огромные покои, роскошь, рояль, шелковая мебель, так что трудно пройти по огромной комнате. И везде – тонкие веточки цветов; это Люба поставила тайно от меня и с какою-то большей любовью, чем на нашей половине (с горечью понимаю я), потому что у нас – много цветов, а здесь – везде изукрашено их тонкими и деликатными веточками. Вдруг – шаги и голоса: Анна Ивановна идет из глубины половины и говорит с Любой, по обыкновению останавливаясь (по-дамски), так что не знаешь, когда и куда пойдет. Говорит – не разобрать что, но приближается.

Я бросаюсь стремглав, припирая тяжелую дверь с ухищрениями, на свою «простую» половину. Ноги не слушаются, общая слабость. Сзади голос Любы: «Когда Саша вернется...» Идут? И быстро. Цель моя – пробежать кабинет (свой), достигнуть черного хода, потом на улицу и броситься хоть в двор того же гидравлического завода – только бы не увидели со своего поворота, когда я буду на своем...».

Просыпаюсь.

<...>

3 июля <1911>

<Петербург>

Вчера в сумерках ночи под дождем на Приморском вокзале цыганка дала мне поцеловать свои длинные пальцы, покрытые кольцами. Страшный мир. Но быть с тобой странно и сладко.

**41–42, 43**

10 декабря <1913>

Когда я говорю со своим братом – художником, то мы оба отлично знаем, что Пушкин и Толстой – не боги. Футуристы говорят об этом с теми, для кого втайне и без того

Пушкин – хам («аристократ» или «буржуа»). Вот в чем лезть и, следовательно, ложь.

*Продолжение следует 9 января <1914>:*

А что, если так: Пушкина научили *любить* опять *по-новому* – вовсе не Брюсов, Щеголев, Морозов и т. д., а... *футуристы*. Они его бранят, по-новому, а он становится ближе по-новому. В «Онегине» я это почувствовал. Кстати: может быть, Пушкин бесконечно более одинок и «убийственен» (Мережковский), чем Тютчев. Перед Пушкиным открыта вся душа – начало и конец душевного движения. Все до ужаса ясно, как линии на руке под микроскопом. Не таинственно как будто, а может быть, зато по-другому, по-«самоубийственному», таинственно.

Брань во имя нового совсем не то, что брань во имя старого, хотя бы новое было неизвестным (да ведь оно всегда таково), а старое – великим и известным. Уже потому, что бранить во имя нового – *труднее и ответственнее*.

<...>

14 апреля <1914> «Вечер» от П. С. Соловьевой. – После обеда – сон в комнате, наполненной ею: шахматовский сад, ночь, страшно, стараюсь зажечь огни на деревьях, огней нет: один только большой; боюсь, оборачиваюсь – он уже с противоположной стороны, и я не могу понять, как, и не потух ли в орешнике, – ведь я поставил свечу к рябине у огорода. Проснулся – месяц справа в окне. – Ночь на нашей улице.

<...>

10 июня. Сон о Любви Александровне – страшный и пленительный. – Поздравляли шепляковские мужики.

В первую ночь по приезде в Шахматово я увидел сон. Огромный город, скорей всего – Париж. Она сказала: «У меня будут гости», и я хожу по улице в ожидании, «когда это кончится». Ее дом на очень людной улице, и квартира высоко. Если подняться в соответствующий этаж незнакомого дома напротив, то на какой-то площадке лестницы есть *единственное* место, откуда можно заглянуть че-



рез улицу в ее квартиру. И я смотрю: столовая во дворе – видна сквозь окно пустой и темной комнаты. Кусок открытой двери – освещена часть стола. Она сидит тихая, напустив свои рыжие волосы на лоб, как делает иногда. В темном. По обеим сторонам два господина в изящных фраках. Один делает движение, будто хочет обнять ее за шею. Она виновато и лениво отстраняется. Все, что я вижу. Надо уходить. Я испытываю особое чувство – громадности города, нашей разделенности и одиночества. Но это уже – то *главное* сна, чего нельзя рассказать.

45–47

24 октября <1915>

«*Степка-Растрепка*» – книга очень смелая и жизненная, с одной стороны, и совершенно лишенная пошлости – с другой, а такое сочетание надо ценить, потому что смелость вообще легко переходит в наглость, а жизненность часто соединяется с пошлостью.

В детстве я эту книгу любил, и теперь нашел ее увлекательной. Увлекательна быстрота перехода от причины к следствию, напо-

минающая театрального Петрушку, а в том, что дети любят Петрушку, который все время убивает, обманывает и творит прочие пакости, я убеждался много раз.

Думаю, что сравнение с Петрушкой совершенно доказывает невинность всех кровопролитий, пожаров и прочих ужасов «Степки-Растрепки».

Все рассказы (кроме, пожалуй, «Андрея-Ротозея», который кажется мне растянутым) написаны одинаково выразительно и иллюстрированы великолепно, хотя не все картинки подходят к тексту. Стих очень хорош, потому что легок и разнообразен; форма вполне соответствует содержанию, некоторая «домашность» стихов (например: «Пречудное лекарство *вот* ему вливает доктор в рот»; или «Отнюдь же пальцев не сосать!») или «бедность» рифм – вовсе не «дилетантизм», не неумелость, как может показаться с первого взгляда; это – по меньшей мере – органичность, вдохновение автора, а может быть, и сознательное упрощение – тонкость. Во всяком случае, на тонкость стихотворца в умении выбирать слова указывают такие стихи,

как, например: «Как ни ревели, ни рвались, а все чернил-то напились» (все слова так ужасны, что уже производят обратное впечатление). К этому можно прибавить, что размеры разнообразны (на девять рассказов – шесть), что автору вовсе не чужды приемы, вроде внутренней рифмы («Нет, супу не хочу я, нет, из ложечки не проглочу я, нет!») или продление рифмы (ревет, – гнет, рвет, несет – стр. 16; лежит, сердит, сидит, говорит – стр. 13); что такие выразительные слова, как «чернушка *тяп, тяп, тяп* «или «*вуп, – и пальчик в рот*» принадлежат именно этому автору.

Все вышесказанное приводит меня к заключению, что останавливать победоносное шествие 160 000 экземпляров «Степки-Растрепки» по детским – не только невозможно, но и не нужно.

Конечно, не впечатляясь непосредственной талантливостью «Степки-Растрепки», можно сказать, что эта книга есть создание «буржуазное» в широком смысле, что она «не народна»; но едва ли эта точка зрения применима к настоящему времени; литература другого типа пока, насколько мне известно, едва

завязывается, если ее можно сравнить с чахлым ростком, а «Степка-Растрепка» – уже яркий цветок. <...>

Я недостаточно знаю русские народные сказки, чтобы судить о том, очень ли силен в них элемент жестокости. Что он в них содержится в той или иной мере, во всяком случае, несомненно.

О тех сказках, где жестоки только подробности, не составляющие сути дела, говорить нечего. Стоит подумать о тех сказках, в которых заключена «жестокость для жестокости», так сказать.

Всякая сентиментальность и по отношению к этим сказкам, по-моему, может только повредить. Нельзя ни на минуту забывать о том, прежде всего, что сказки – не так называемое «индивидуалистическое» творчество, что, следовательно, жестокость в них не есть проявление только «безумной прихоти певца», но имеет глубокие корни.

Во-вторых, нельзя забывать о том, что век наш – «железный» и что всякая сентиментальность по отношению к детям в наше время есть великий грех, потому что может раз-

вить в них бездеятельность, апатичность, неприспособленность к жизни, следовательно, сделать из них несчастных, безвольных людей.

В-третьих, и в главных, нельзя забывать, что нашим детям предстоит в ближайшем будущем входить во все более тесное общение с народом, потому что будущее России лежит в еле еще тронутых силах народных масс и подземных богатств; песенка всяких уютных «привилегированных» заведений спета, уж поздно рассуждать о том, что их «на наш век хватит». Дети наши пойдут в *технические школы* по преимуществу и рано соприкоснутся поэтому с так называемым невежеством, темнотой, цинизмом, жестокостью и т. п.

Имея все это в виду, надо по мере сил *объяснять* детям все «народное»; на родителях лежит громадная ответственность; если нельзя требовать с них творчества (как нельзя вообще требовать с человека таланта, если бог его обделил талантом), то надо требовать по крайней мере честности; чтобы не закрывали глаз на действительность. Право, если перестать всячески белоручничать, многое

«неприглядное» объяснится и окажется на вольном воздухе гораздо более приглядным, чем казалось в четырех стенах.

Все дело, конечно, в мере: нечего совать детям непременно *все* русские сказки; если не умеете объяснить в них совсем ничего, не давайте злобных и жестоких; но если умеете хоть немного, откройте в этой жестокости хоть ее *несчастную*, униженную сторону; если же умеете больше, покажите в ней *творческое*, откройте сторону могучей силы и воли, которая *только* не знает способа применить себя и «переливается по жилочкам».

Вот задача, на которую стоит потратить силы; потому что Россия явно требует уже не чиновников, а граждан; а ближайшее будущее России требует граждан-техников и граждан-инженеров; а в какой мере не хватает инженерам и техникам «творческой интуиции», нам показывает печальная действительность; а какое великое *возрождение*, т. е. *сдвиг всех сил*, нам предстоит, и до какой степени техника и художественное творчество немислимы друг без друга (τεχνή по-гречески – искусство), мы скоро увидим, ибо, если

мы только выправимся после этого потопа, нам предстоит перенестись как на крыльях в эпоху *великого возрождения*, проходящего под знаком *мужественности и воли*.

*5 марта <1916>*

*Бо надоумила:*

Жили-были муж и жена. Обоим жилось плохо. Наконец жена говорит мужу: «Невыносимо так жить. Ты сильнее меня. Если желаешь мне добра, ступай на улицу, найди веревочку, дерни за нее, чтобы перевернуть весь мир».

Муж почувствовал, что нельзя прекословить жене. Он вышел на улицу и пригорюнился: не знает, где та веревочка... Вдруг видит —

*6 марта <1916>*

Сегодня я понял наконец ясно, что отличительное свойство этой войны – *невеликость* (невысокое). Она – просто огромная фабрика в ходу, и в этом ее роковой смысл.

Несомненно, она всех «прозаичнее» (ищу определений, путаясь в обывательском языке).

ке). Это оттого, что миром окончательно завладел так называемый антихрист.

Отсюда – невозможность раздуть патриотизм; отсюда – особенный обман малых сих (солдаты, твердящие о «тевтонах», или: «Мы серые герои, уже шестой месяц проливаем свою последнюю каплю крови за отечество»).

Смысл, лицо (Лицо?), Субстанция, соль – окончательно переместилось в *другое*, не участвует в «событиях». А события, идущие без руководителя, утомляют и надоедают.

То положение, которое занимает ныне искусство, очень высоко (кажется же наоборот).

Подвигов бывает мало, а сотен – не бывает (почти все подвиги подозрительны).

Толкнул меня на эти мысли, очевидно, Пяст, читавший мне вчера свою хронику, посвященную описанию «патриотического подъема» начала войны. Его заслуга – в том, что он, восхитившись тем, чем «все» восхищались мелко и поддельно, – глубоко и неподдельно, обнаружил, что восхищаться было решительно нечем (кроме нескольких выдуманных им происшествий и «подвига» калишского чиновника Соколова, который



под пыткой скрыл казенные деньги от майора Прейскера).

*Восхищаются* не этим. Предмет восхищения – за пределами этой войны; а предмет негодования сидит за ширмой, лица у него нет, поэтому пощечина ему остается не данной.

## 48

**25** марта <1916>

Предсмертные письма Чехова – вот что внушило мне на днях действительный ночной ужас. Это больше действует, чем уход Толстого. «Ольга поехала в Базель лечить зубы», «теперь все коренные – золотые, на всю жизнь». Сначала – восхищение от немцев, потом чувство тоски и безвкусицы (до чего знакомое о немецком курорте). И вдруг – такое же письмо, – но последнее. Непоправимость, необходимость. Все «уходы» и героизмы – только закрывание глаз, желание «забыться»... кроме одного пути, на котором глаза открываются и который я *забыл* (и он меня).

На днях я подумал о том, что стихи писать мне не нужно, потому что я слишком умею это делать. Надо еще измениться (или – чтобы

вокруг изменилось), чтобы вновь получить возможность преодолевать матерьял.

<...>

3 июня <1916>

Поэма («Возмездие» – *Сост.*) обозначает переход от личного к общему. Вот главная ее мысль. Формула вместительна, на первый взгляд – растяжима, неясна, многозначна. Но это, надеюсь, только на первый взгляд.

Осознавая себя как художник, я опять говорю как бы общим словом. Но – да подтвердит верность моих формул – действительность.

Во мне самом осталось еще очень много личного. Жизненный переход тянется года, сопряжен с мучительными возвращениями. У меня есть и честолюбие и чувственность; это, вероятно, главное из оставшегося – и дольше всего будет. Но уже на *первых планах* души образуются некие новые группировки мыслей, ощущений, отношений к миру. Да поможет мне бог перейти пустыню; органически ввести новое, общее в то, органическое же, индивидуальное, что составляет содержание первых моих четырех книг.

Пишу, пишу.

Люба каждый день репетирует «Двух сироток» (Элен), а я обедаю с Пушком, который передо мною служит.

<...>

28 июня <1916>

Несмотря на то (или именно благодаря тому), что я «осознал» себя художником, я не часто и довольно тупо обливаюсь слезами над вымыслом и упиваюсь гармонией. Свежесть уже не та, не первоначальная.

С «литературой» связи я не имею и горжусь этим. То, что я сделал подлинного, сделано мною *независимо*, т. е. я зависел только от неслучайного.

*Лучшими* остаются «Стихи о Прекрасной Даме». Время не должно тронуть их, как бы я ни был слаб как художник.

<...>

Я не боюсь шрапнелей. Но запах войны и сопряженного с ней – есть хамство. Оно подстерегало меня с гимназических времен, проявлялось в многообразных формах, и вот – подступило к горлу. Запаха солдатской шинели

ли – не следует переносить. Если говорить дальше, то эта бессмысленная война ничем не кончится. Она, как всякое хамство, безначальна и бесконечна, безобразна.

### **49, 50, 52**

**В**се будет хорошо, Россия будет великой. Но как долго ждать и как трудно дожидаться.

*Ал. Блок. 22.IV.1917*

<...>

*20 мая <1917>*

<...>

Вечер ясный, где-то за городом, к взморью, большой дым. Как-то тревожно все, неблагополучно, и нежелательные мелочи на улицах. Как мне в такие дни нужна Люба, как давно ее нет со мной. Пожить бы с ней; так, как я, ее все-таки никто не оценит – все величие ее чистоты, ее ум, ее наружность, ее простоту. А те мелкие наследственные (от матери) дрянные черты – бог с ними. Она всегда будет сиять.

Нет, не надо мечтать о Золотом веке. Сжать губы и опять уйти в свои демониче-

ские сны.

*21 мая <1917>*

*Троицын день и воскресенье*

Я проснулся в 9 1/2 от сильного взрыва, дом задрожал (кажется, две звуковых волны). Против окон взвился большой клуб белого дыма, целое облако. По-видимому, на Гутуевском острове, там, где виден кусок дали, за мачтами «Штандарта». По Пряжке побежал народ. Пожар продолжался часа три.

Довольно много трудов над Воейковым; надо соблюдать его плоский разговор.

Отдыхая от службы перед обедом, я стал разбирать (чуть не в первый раз) ящик, где похоронена \*\*\*. Боже мой, какое безумие, что все проходит, ничто не вечно. Сколько у меня было счастья («счастья», да) с этой женщиной. Слов от нее почти не останется. Останется эта груда лепестков, всяких сухих цветов, роз, верб, ячменных колосьев, резеды, каких-то больших лепестков и листьев. Все это шелестит под руками. Я сжег некоторые записки, которые не любил, когда получал; но сколько осталось. И какие пленительные есть

слова и фразы среди груды вздора. Шпильки, ленты, цветы, слова. И все на свете проходит. Как она плакала на днях ночью, и как на одну минуту я опять потянулся к ней, потянулся жестоко, увидев искру прежней юности на лице, молодеющем от белой ночи и страсти. И это мое жестокое (потому что минутное) старое волнение вызвало только ее слезы... Бедная, она была со мной счастлива. Разноцветные ленты, красные, розовые, голубые, желтые, розы, колосья ячменя, медные, режущие, чуткие волосы, ленты, колосья, шпильки, вербы, розы.

Никого нельзя судить. Человек в горе и в унижении становится ребенком. Вспомни Вырубову, она врет по-детски, а как любил ее кто-нибудь. <...>

## 53

**13** июля <1917>

*Поезд Приморской ж. д. в Озерки*

Буржуем называется всякий, кто накопил какие бы то ни было ценности, хотя бы и духовные. Накопление духовных ценностей предполагает предшествующее ему накопле-

ние матерьяльных. Это – «происхождение» догмата, но скоро вопрос о генезисе, как ему и свойственно, выпадает, и первая формула остается как догмат.

Этот догмат воскресает во всякой революции, под влиянием напряжения и обострения всех свойств души. Его явление знаменует собой высокий подъем, взлет доски качелей, когда она вот-вот перевернется вокруг верхней перекладины. Пока доска не перевернулась – это минута, захватывающая дух, если она перевернулась – это уже гибель. Потому догмат о буржуа есть один из самых крайних и страшных в революции – ее высшее напряжение, когда она готова погубить самую себя.

Задача всякого временного правительства – удерживая качели от перевертыванья, следить, однако, за тем, чтобы размах не уменьшался. То есть довести заочевашую страну до того места, где она найдет нужным избрать оседлость, и вести ее все время по краю пропасти, не давая ни упасть в пропасть, ни отступить на безопасную и необры-вистую дорогу, где страна затоскует в пути и где Дух Революции отлетит от нее.

*Римская скамья* в пустом Шуваловском парке, после купанья (обожжен водой).

Ложь, что мысли повторяются. Каждая мысль нова, потому что ее окружает и оформливает новое. «Чтоб он, воскреснув, встать не мог» (моя), «Чтоб встать он из гроба не мог» (Лермонтов, – сейчас вспомнил) – совершенно разные мысли. Общее в них – «содержание», что только доказывает лишний раз, что бесформенное содержание само по себе не существует, не имеет веса. Бог есть форма, дышит только наполненное сокровенной формой.

## **Избранные письма Александра Блока В. В. Розанову**

**20** февраля 1909. <Петербург>  
Спасибо Вам за письмо, дорогой Василий Васильевич. Не могу я судить о Ваших личных отношениях с Мережковскими и не хочу знать о мотивах Вашего взаимного расхождения: просто – не интересуюсь, и не могу интересоваться тем, во что не имею возможности проникнуть: ведь эти отношения – страшно глубокие и давнишние, основание их – идейное, следовательно, и оценит их бу-



душий историк литературы. Я просто не хочу оценивать сейчас, очень ценя лично как Вас, так и Дмитрия Сергеевича и Зинаиду Николаевну.

А я хочу сейчас только сказать Вам в ответ свои соображения по важнейшему для меня пункту Вашего письма: о терроре. Страшно глубоко то, что Вы пишете о древнем «дай полизать крови». Но вот:

Сам я не «террорист» уже по тому одному, что «литератор». Как человек, я содрогнусь при известии об убийстве любого из вреднейших государственных животных, будь то Плеве, Трепов или Игнатъев. И, однако, *так сильно озлобление* (коллективное) и так чудовищно неравенство положений – что я действительно не осужу террора *сейчас*. Ведь именно «литератор» есть человек той породы, которой суждено всегда от рожденья до смерти волноваться, ярко отпечатлеть в своей душе и в своих книгах все острые углы и бросаемые ими тени. Для писателя – мир должен быть обнажен и бесстыдно ярок. Таков он для Толстого и для Достоевского. Оттого – нет ни минуты покоя, вечно на первом плане – «раз-

дражительная способность жить высшими интересами» (слова Ап. Григорьева). Ничего «утомительнее» писательской жизни и быть не может. Теперь: как осужу я террор, когда вижу ясно, как при свете огромного тропического солнца, что: 1) революционеры, о которых стоит говорить (а таких – десятки), убивают, как истинные герои, с сияньем мученической правды на лице (прочтите, например, 7-ю книжку «Былого», недавно вышедшую за границей, – о Каляеве), без малейшей корысти, без малейшей надежды на спасение от пыток, каторги и казни, 2) что правительство, старчески позевывая, равнодушным манием жирных пальцев, чавкая азефовскими губами, посылает своих несчастных агентов, *ни в чем не повинных* и падающих в обморок офицеров, не могущих, как нервная барышня... из Медицинского института, видеть крови, бледнеющих солдат и геморроидальных «чинов гражданского ведомства» – посылает «расстрелять», «повесить», «присутствовать при исполнении смертного приговора».

Ведь правда всегда на стороне «юности», что красноречиво подтверждали и Вы своими

сочинениями всегда. Современная русская государственная машина есть, конечно, гнусная, слюнявая, вонючая старость, семидесятилетний сифилитик, который пожатием руки заражает здоровую юношескую руку. Революция русская в ее лучших представителях – юность с нимбом вокруг лица. Пускай даже она не созрела, пускай часто оторчески не мудра, – завтра возмужает. Ведь это ясно, как божий день.

Нам завещана в фрагментах русской литературы от Пушкина и Гоголя до Толстого, во вздохах измученных русских общественных деятелей XIX века, в светлых и неподкупных, *лишь временно помутившихся* взорах русских мужиков – огромная (только не схваченная еще железным кольцом мысли) *концепция* живой, могучей и юной России. Если где эти заветы хранятся, то, конечно уж, не в сердцах «реальных политиков» (хотя бы реальнейших из них и живейших – кадет), не в столыпинском, не в романовском, – но только в тех сердцах, которые тревожно открыты, в мыслях, которые вбирают в себя эту концепцию, как свежий воздух.

Если есть чем жить, то только этим. И если где такая Россия «мужает», то, уж конечно, – только в сердце русской революции в самом широком смысле, включая сюда русскую литературу, науку и философию, молодого мужика, сдержанно раздумывающего думу «все об одном», и юного революционера с сияющим правдой лицом, и все вообще непокладливое, сдержанное, грозное, пресыщенное электричеством. С этой грозой никакой громоотвод не сладит.

*Преданный Вам Ал. Блок.*

## **Матери**

**21** февраля 1911. <Петербург>

Мама, вчера получил твое письмо. Я действительно надеюсь на время, – что все уладится. А теперь нужно сделать просто перерыв – к обоюдному улучшению отношений. Мне (и Любе) представляется так: когда ты приедешь сюда, не знаю, как лучше – видеться или не видеться тебе с Любой. Люба говорит, что она может очень хорошо с тобой видеться, но что в этом все-таки будет неправда. Это мы увидим потом. Что же касается Шахматова, то лучше всего сделать так: весной я

должен ехать достраивать скотный двор; может быть, лучше – с Любой; мы приготовим и наладим хозяйство (огород и пр.). Потом Люба хочет ехать в Erdsegen (около Мюнхена) на все лето, считает, что ей это будет очень полезно, – там нечто вроде санатории – с массажем и т. д. Я думаю, что для меня пожить без Любы будет тоже полезно; но пока мне самому не хочется жить в Шахматове долго (без перерыва) в этом году. Это уж – мои собственные стремления, независимые от тебя и Любы. Дело в том, что я чувствую себя очень окрепшим физически (и соответственно нравственно), и потому у меня много планов, пока – неопределенных. Может быть, поехать купаться к какому-нибудь морю, может быть, – за границу, может быть, куда-нибудь – в Россию. Я чувствую, что у меня, наконец, на 31-м году определился очень важный перелом, что сказывается и на поэме и на моем чувстве мира. Я думаю, что последняя тень «декадентства» отошла. Я определенно хочу жить и вижу впереди много простых, хороших и увлекательных возможностей – притом в том, в чем прежде их не видел. С одной

стороны – я «общественное животное», у меня есть определенный публицистический пафос и потребность общения с людьми – все более по существу. С другой – я физически окреп и очень серьезно способен относиться к телесной культуре, которая должна идти наравне с духовной. Я очень не прочь не только от восстановлений кровообращения (пойду сегодня уговориться с массажистом), но и от гимнастических упражнений. Меня очень увлекает борьба и всякое укрепление мускулов, и эти интересы уже заняли определенное место в моей жизни; довольно неожиданно для меня (год назад я был от этого очень далек) – с этим связалось художественное творчество. Я способен читать с увлечением статьи о крестьянском вопросе и... пошлейшие романы Брешки-Брешковского, который... ближе к Данту, чем... Валерий Брюсов. Все это – совершенно неизвестная тебе область. В пояснение могу сказать, что в этом – мой *европеизм*. Европа должна облечь в формы и плоть то глубокое и все ускользающее содержание, которым исполнена всякая русская душа. Отсюда – постоянное требование формы, мое в частности;

форма – плоть идеи; в мировом оркестре искусств не последнее место занимает искусство «легкой атлетики» и та самая «французская борьба», которая есть точный сколок с древней борьбы в Греции и Риме.

У меня есть очень много наблюдений (собственных) над искусством борьбы, над качествами отдельных художников (которых и здесь, как во всяком искусстве, очень мало – больше ремесленников), над способностью к этому искусству разных национальностей (всего бездарнее, разумеется, русские и итальянцы – и это при большом богатстве внешних данных! Это – падение искусства до «передвижничества» и до современной итальянской живописи). Настоящей гениальностью обладает только один из виденных мной – голландец Ван-Риль. Он вдохновляет меня для поэмы гораздо более, чем Вячеслав Иванов. Впрочем, настоящее произведение искусства в наше время (и во всякое, вероятно) может возникнуть только тогда, когда 1) поддерживаешь непосредственное (не книжное) отношение с миром и 2) когда мое собственное искусство роднится с чужими (для меня лич-

но – с музыкой, живописью, архитектурой и гимнастикой).

Все это я сообщаю тебе, чтобы ты не испугалась моих неожиданных для тебя тенденций и чтобы ты знала, что я имею потребность *расширить* круг своей жизни, которая до сих пор была *углублена* (на счет должного расширения). Не знаю, исполню ли я что-нибудь в этом направлении. Пока, – во всяком случае, займусь массажем и гимнастикой. В конце концов, я только что оправился (мускульно) после того, как надорвался в третьем году в Шахматове. Теперь (даже до гимнастики) я скорей сильнее, чем был тогда.

Масленица прошла очень бодро. Приехала Веригина, которая вышла замуж. Она очень хорошо рассказывает и говорит по-русски, вообще – в ней есть милая русская женщина. Скользкость пропала. В сущности, она гораздо умнее и живей \*\*\*.

Вчера я без конца проводил время с \*\*\*. \*\*\* – прирожденная «гетера», беснуется не переставая. Мы шатались втроем по городу, были и в цирке и в разных местах. \*\*\* – очень



милый, тихий и печальный, я думаю, что им придется разойтись, она его замучит. Впрочем, я пока советую им не расходиться. Ведь почти все «наши» женщины таковы, может быть, еще переменятся и станут серьезнее – хоть некоторые.

Таает, идет дождь и мокрый снег. Потому молодого месяца я еще не видел.

В посту попробую опять писать. У нас будут всю первую неделю лампадки. Господь с тобой.

*Саша.*

## Матери

**30** августа <н. ст.> 1911. Париж  
Мама, пока я очень устаю от Парижа. Жары прекращаются, но все деревья высохли, на всем лежит печать измученности от тропического лета. Я шатаюсь целые дни; и когда присядешь в кафэ, начинаешь почти засыпать от тысячи лиц, снующих перед носом, непрекращающегося грохота и суматохи и магазинных выставок. Париж – Сахара – желтые ящики, среди которых, как мертвые оазисы, черно-серые громады мертвых церквей и

дворцов. Мертвая Notre Dame, мертвый Лувр. В Лувре – глубокое запустение: туристы, как полотеры, в заброшенном громадном доме. Потертые диваны, грязные полы и тусклые темные стены, на которых сереют – внизу – Дианы, Аполлоны, Цезари, Александры и Милосская Венера с язвительным выражением лица (оттого, что у нее закопчена правая ноздря), – а наверху – Рафаэли, Мантеньи, Рембрандты – и четыре гвоздя, на которых неделю назад висела Жиоконда. Печальный, заброшенный Лувр – место для того, чтобы приходить плакать и размышлять о том, что бюджет морского и военного министерства растет каждый год, а бюджет Лувра остается прежним уже 60 лет. Первая причина (и единственная) кражи Жиоконды – дреднауты. – Впрочем, парижанам уже и это весело: на улицах кричат с утра до ночи: «A tu vu la Joconde? Elle est retrouvée! – Dix centimes!»[20] Или: «La Joconde! Son sourire et son enveloppe – dix centimes ensemble!»[21]

Тюльери – иссохшая пустыня, где прикармливают воробьев и фотографы снимают буржуа. Такова же – эспланада Инвалидов. Толь-

ко могила Наполеона – великолепно, там синий свет и благоговейная тишина. Еще были мы в Jardin des Plantes[22] <...>

## **Матери**

**4** сентября <н. см.> 1911. Париж

Мама, жара возобновилась, так что нельзя показать носа на улицу. Кроме того, я не любил Парижа, а многое в нем даже возненавидел.

Я никогда не был во Франции, ничего в ней не потерял, она мне глубоко чужда – Париж не меньше, чем провинция. Бретань я любил легендарную, а в Париже – единственно близко мне жуткое чувство бессмыслицы от всего, что видишь и слышишь: 35 (по Цельсию), нет числа автобусам, автомобилям, трамваям и громадным телегам – все это почти разваливается от старости, дребезжит и оглушительно звенит, сопит и свистит. Газетчики и продавцы кричат так, как могут кричать сумасшедшие. В сожженных скверах – масса детей – бледных, с английской болезнью. Все лица – или приводящие в ужас (у буржуа), или хватающие за сердце напряженностью и измученностью. – В Лувр я тщетно

ходил и второй раз: в этих заплеванных королевских сараях только устаешь от громадности расстояний и нельзя увидеть ни одной картины – до того самый дух искусства истребили французы. Очень хорошо в двух местах: в подземелье Пантеона – у могилы Вольтера, Руссо, Зола и В. Гюго. Почти полная тьма, холод, пустые серые коридоры; от времени до времени сторож впускает толпу – буржуа, англичан, солдат, женщин, детей и захлопывает за ними дверь; тогда интересно смотреть из темного коридора, как в полосе света вдали эта толпа носится за сторожем с визгом, как воронье над трупами.

Потом – вершина Монмартра: весь Париж, окутанный дымом и желто-голубым зноем: купол Пантеона, крыши Оперы и очень тонкий, стройный и красивый чертеж Эйфелевой башни. Но Париж – не то, что Москва с Воробьевых гор. Париж с Монмартра – картина тысячелетней бессмыслицы, величавая, огненная и бездушная. Здесь нет и не могло быть своего Девичьего монастыря, который прежде всего бросается в глаза, – во главе Москвы; и ни одной крупницы московского зо-

лота и московской киновари– все черно-серое море и его непрерывный и бессмысленный голос. Поднимаешься на Монмартр, и все это становится понятным. Спустишься – и сейчас же начинаешь дремать среди улицы и даже бульвара. Минутами – жара и бессмыслица становятся гениальными.

Разные кабачки и *café-concerts* – почти сплошная плоскость. Кошунство привычное, порнография – способная произвести впечатление на гимназиста от III до V класса. Иногда – очень смешной водевиль или вдруг – поразительная песня, всегда старая (провансальская, например) или повторенная тысячу раз (например, из песен Ivette Gilbert). Почти все новое – бесстыдно пошло – и наивно.

Вследствие всего этого я уезжаю сегодня или завтра в Брюссель, а Люба через неделю уедет прямо в Петербург искать квартиру. – От Бельгии я многого не жду, однако хочу увидеть 18 бегемотов в зоологическом саду в Антверпене – и Брюгге. Из Брюгге поеду на родину – в Амстердам и, может быть, еще по Голландии. Оттуда, надеюсь, через Гамбург – в Копенгаген, Эльсинор, а оттуда уже – в Бер-

лин, куда ты и напиши мне (р. г.). В Берлине я буду во всяком случае.

Господь с тобой.

Саша.

## Матери

29 ноября 1911. <Петербург>

Мама, вчера я был зол оттого, что мне было очень тяжело еще. Сегодня сгладились все воспоминания об ужасах Мариинского театра, и осталась одна «Хованщина».

«Хованщина» для меня, оказывается, сыграла очень большую роль. Сегодня я совсем другой, чем вчера. Надеюсь, что начну опять оправляться от того удара, который был кем-то нанесен мне внутренне на той неделе. Источник я еще не знаю, но начинаю подозревать.

«Хованщина» еще не гениальна (т. е. не дыхание святого Духа), как не гениальна еще вся Россия, в которой только готовится будущее. Но она стоит в самом центре, именно на той узкой полосе, где проносится дыхание Духа. То, что она идет в придворном театре, — правильно, она откровение только для нас,

которым следует постоянно напоминать, у которых память еще детская, короткая. Мы еще этого не затвердили. Для раскольников – это азбука, уже лишняя, может быть, даже докучная, как для народа – наши «народнические» волнения и мероприятия.

Господь с тобой.

*Саша.*

## Матери

**13** июня 1915. <Петроград>  
Мама, по поводу сдачи Львова и прочих событий я обратился к истории Ключевского. Его обобщения действуют оздоравливающе, хотя они довольно печальны. В конце концов, с Петра прошло только двести лет, и многое с тех пор не переменялось. И Петр бывал в беспомощном положении до смешного, затягивая шведов к Полтаве, а Кутузов затягивал Наполеона к Москве, когда Пушкину было тринадцать лет; к тому же очень уж ясна перемена нашей тактики, так что на очищение Галиции смотришь иначе, чем смотрел бы недели три назад. Есть слухи о серьезных (наконец!) укреплениях нашего фронта, хотя и на нашей территории.

Люба разговаривала с представителями рабочих Путиловского завода, и все, что она рассказывала об этом, показывает мне, что она попала в хорошее и большое дело. Завтра предстоит играть, так что Любу уж тошнит от страха.

Я проехал как-то вверх по Неве на пароходе и убедился, что Пет<ербург>, собственно, только в центре ... немецкий; окраины – очень грандиозные и *русские* – и по грандиозности и по нелепости, с ней соединенной. За Смольным начинаются необозримые хлебные склады, элеваторы, товарные вагоны, зеленые берега, громоздкие храмы, и буксиры с именами «Пророк», «Воля» режут большие волны, Нева синяя и широкая, ветер, радуга.

Сочиняю автобиографию и повадился ходить к букинисту, у которого скупаю десятки интересных книг по пятаку. Вчера встретил С. М. Зарудного (сенатор и цыганист, друг Художественного театра), который, проводив Книппер, шатался без дела. Я его завез к себе. Он читал очень хорошо стихи Вольтера, нарисовал меня (совсем не похоже) и рассказал анекдот о том, как К. Р. просил его раз про-



честь мои стихи. Он прочел «Незнакомку», \* К. Р. возмутился; когда же он прочел «Озарены церковные ступени», К. Р. нашел, что это лучше. Очевидно, уловил родственное, немецкое.

Встретил я еще Зоргенфрея, гулял с ним и сидел в кофейне.

Любовь Александровна была у меня вчера (хотя и написала тебе, кажется, что меня не видит).

Господь с тобой.

*Саша.*

Письма, которые ты переслала, я получил – разные литературные предложения.

**А. А. Ахматовой**

**14** марта 1916. <Петроград>

**Многоуважаемая Анна Андреевна.**

Хоть мне и очень плохо, ибо я окружен болезнями и заботами, все-таки мне приятно Вам ответить на посылку Вашей поэмы. Во-первых, поэму ужасно хвалили разные люди и по разным причинам, хвалили так, что я во-все перестал в нее верить. Во-вторых, много я видел сборников стихов, авторов «извест-

ных» и «неизвестных»; всегда почти – посмотришь, видишь, что, должно быть, очень хорошо пишут, а мне все не нужно, скучно, так что начинаешь думать, что стихов вообще больше писать не надо; следующая стадия – что я стихов не люблю; следующая – что стихи вообще – занятие праздное; дальше – начинаешь уже всем об этом говорить громко. Не знаю, испытали ли Вы такие чувства; если да, – то знаете, сколько во всем этом больного, лишнего груза.

Прочтя Вашу поэму, я опять почувствовал, что стихи я все равно люблю, что они – не пустяк, и много такого – отрадного, *свежего*, как сама поэма. Все это – несмотря на то, что я никогда не перейду через Ваши «вовсе не знала», «у самого моря», «самый нежный, самый кроткий» (в «Четках»), постоянные «совсем» (это вообще не Ваше, общеженское, всем женщинам этого не прощу). Тоже и «сюжет»: не надо мертвого жениха, не надо кукол, не надо «экзотики», не надо уравнений с десятью неизвестными; надо еще жестче, неприглядней, больнее. – Но все это – пустяки, поэма настоящая, и Вы – настоящая. Будьте здоровы,

надо лечиться.

*Преданный Вам Ал. Блок.*

## **Матери**

**23** марта 1917 <Петроград>

Мама, три дня я просидел, не видя никого, кроме тети, сознавая исключительно свою вымытость в ванне и сильно развившуюся мускульную систему. Бродил по улицам, смотрел на единственное в мире и в истории зрелище, на веселых и подобревших людей, кишащих на нечищенных улицах без надзора. Необычайное сознание того, что все можно, грозное, захватывающее дух и страшно веселое. Может случиться очень многое, минута для страны, для государства, для всяких «собственностей» – опасная, но все побеждается тем сознанием, что произошло чудо и, следовательно, будут еще чудеса. Никогда никто из нас не мог думать, что будет свидетелем таких простых чудес, совершающихся ежедневно.

Ничего не страшно, боятся здесь только кухарки. Казалось бы, можно всего бояться, но ничего страшного нет, необыкновенно величественна вольность, военные автомобили

с красными флагами, солдатские шинели с красными бантами, Зимний дворец с красным флагом на крыше. Выгорели дотла Литовский замок и Окружной суд, бросается в глаза вся красота их фасадов, вылизанных огнем, вся мерзость, безобразившая их внутри, выгорела. Ходишь по городу как во сне. Дума вся занесена снегом, перед ней извозчики, солдаты, автомобиль с военным шофером провез какую-то старуху с костылями (полагаю, Вырубову – в крепость). Вчера я забрел к Мережковским, которые приняли меня очень хорошо и ласково, так что я почувствовал себя человеком (а не парнем, как привык чувствовать себя на фронте). Обедал у них, они мне рассказали многое, так что картина переворота для меня более или менее ясна: нечто сверхъестественное, восхитительное.

Билеты на ж. д. разобраны надолго, так что выехать к тебе трудно. Пока я жду Любу, которая, вероятно, сейчас у тебя, и все вопросы оставляю открытыми, потому что решительно не знаю, что делать с собой. Отпуск у меня до субботы Фоминой (на законном основании), но я бы охотно не возвращался в дружи-

ну, если бы нашел здесь подходящее дело. Со вчерашнего дня мои поросшие мохом мозги зашевелились, но придумать я еще ничего не могу, только чувствую, что все можно.

Вчера я получил из дружины твое письмо о Лилиной, и тетя получила. Как это я поеду на Фоминой в Москву – не знаю.

Сейчас мне позвонил Идельсон. Оказывается, он через день после меня *совсем* уехал из дружины, получив вызов от Муравьева, и назначен секретарем Верховной следственной комиссии. Будут заседать в Зимнем дворце. Приглашает меня, не хочу ли я быть одним из редакторов (это значит, сидеть в Зимнем дворце и быть в курсе всех дел). Подумаю. Сейчас (говорит Идельсон) – вся Литейная и весь Невский запружены народом, матросы играют марш Шопена. Гробы красные, в ту минуту, когда их опускают в могилу на Марсовом поле, производится салют с крепости (путем нажатия электрической кнопки).

Сейчас пойду на улицу – посмотреть, как расходятся.

Господь с тобой.

*Саша.*

## Матери

4 июня 1921. <Петроград>

Мама, доктор Пекелис знает все мои болезни, ты ошибаешься, точно так же отравления никакого не было и вообще не может быть.

О болезнях писать нестерпимо скучно, но больше не о чем писать. Делать я ничего не могу, потому что температура редко нормальная, все болит, трудно дышать и т. д. В чем дело, неизвестно. Если нервы несколько поправятся, то – можно будет узнать, настоящая ли это сердечная болезнь или только невроты. Нужно понизить температуру. Я принимаю водевильное количество лекарств.

Ем я хорошо, чтобы мне нравилась еда и что-нибудь вообще, не могу сказать. Люба почти всегда дома. Незлобин будет платить за пьесу в разные сроки. Вот, кажется, все.

*Саша.*

Спасибо за хлеб и яйца. Хлеб настоящий, русский, почти без примеси, я очень давно не ел такого.

# Поэмы

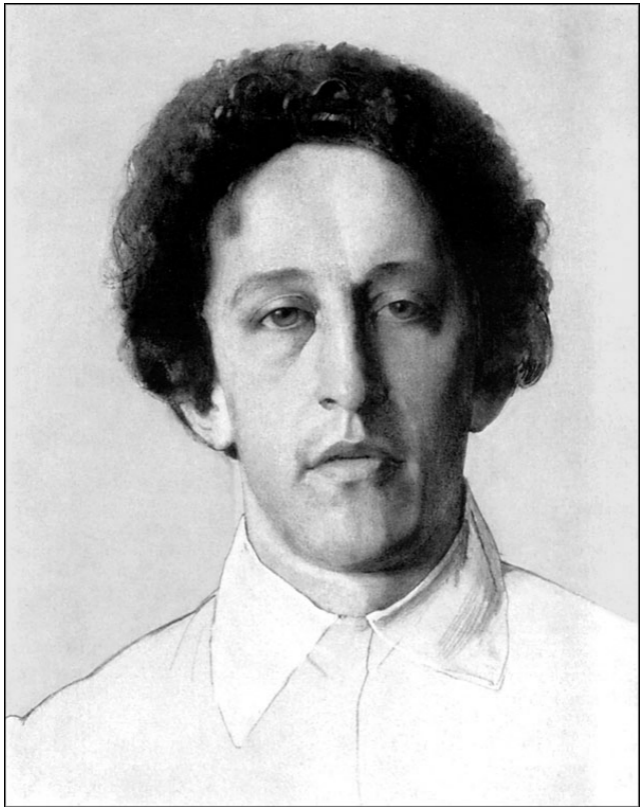
**А**. Блок. Портрет К. Сомова. 1907 г.

## Возмездие

### Предисловие

**Н**е чувствуя ни нужды, ни охоты заканчивать поэму, полную революционных предчувствий, в года, когда революция уже произошла, я хочу предпослать наброску последней главы рассказ о том, как поэма родилась, каковы были причины ее возникновения, откуда произошли ее ритмы.

Интересно и небесполезно и для себя и для других припомнить историю собственного произведения. К тому же нам, счастливейшим или несчастливейшим детям своего века, приходится помнить всю свою жизнь; все годы наши резко окрашены для нас, и – увы! – забыть их нельзя, – они окрашены слишком неизгладимо, так что каждая цифра кажется написанной кровью; мы и не можем забыть этих цифр: они написаны на наших собственных лицах.





Поэма «Возмездие» была задумана в 1910 году и в главных чертах набросана в 1911 году. Что это были за годы?

1910 год – это смерть Коммиссаржевской, смерть Врубеля и смерть Толстого. С Коммиссаржевской умерла лирическая нота на сцене; с Врубелем – громадный личный мир художника, безумное упорство, ненасытность исканий – вплоть до помешательства. С Толстым умерла человеческая нежность – мудрая человечность.

Далее, 1910 год – это кризис символизма, о котором тогда очень много писали и говорили, как в лагере символистов, так и в противоположном. В этом году явственно дали о себе знать направления, которые встали во враждебную позицию и к символизму и друг к другу: акмеизм, эгофутуризм и первые наработки футуризма. Лозунгом первого из этих направлений был человек – но какой-то уже другой человек, вовсе без человечности, какой-то «первозданный Адам».

Зима 1911 года была исполнена глубокого внутреннего мужественного напряжения и трепета. Я помню ночные разговоры, из кото-

рых впервые выросло сознание нераздельности и неслиянности искусства, жизни и политики. Мысль, которую, по-видимому, будили сильные толчки извне, одновременно стучалась во все эти двери, не удовлетворяясь более слиянием всего воедино, что было легко и возможно в истинном мистическом сумраке годов, предшествовавших первой революции, а также – в неистинном мистическом похмелье, которое наступило вслед за нею.

Именно мужественное веянье преобладало: трагическое сознание неслиянности и нераздельности всего – противоречий непримиримых и требовавших примирения. Ясно стал слышен северный жесткий голос Стриндберга, которому остался всего год жизни. Уже был ощутим запах гари, железа и крови. Весной 1911 года П. Н. Милюков прочел интереснейшую лекцию под заглавием «Вооруженный мир и сокращение вооружений». В одной из московских газет появилась пророческая статья: «Близость большой войны». В Киеве произошло убийство Андрея Ющинского, и возник вопрос об употреблении евреями христианской крови. Летом это-

го года, исключительно жарким, так что трава горела на корню, в Лондоне происходили грандиозные забастовки железнодорожных рабочих, в Средиземном море – разыгрался знаменательный эпизод «Пантера – Агадир».

Неразрывно со всем этим связан для меня расцвет французской борьбы в петербургских цирках; тысячная толпа проявляла исключительный интерес к ней: среди борцов были истинные художники; я никогда не забуду борьбы безобразного русского тяжеловеса с голландцем, мускульная система которого представляла из себя совершеннейший музыкальный инструмент редкой красоты.

В этом именно году, наконец, была в особенной моде у нас авиация: – все мы помним ряд красивых воздушных петель, полетов вниз головой, – падений и смертей талантливых и бездарных авиаторов.

Наконец, осенью, в Киеве был убит Столыпин, что знаменовало окончательный переход управления страной из рук полудворянских, получиновничьих в руки департамента полиции.

Все эти факты, казалось бы столь различ-

ные, для меня имеют один музыкальный смысл. Я привык сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных моему зрению в данное время, и уверен, что все они вместе всегда создают единый музыкальный напор.

Я думаю, что простейшим выражением ритма того времени, когда мир, готовившийся к неслыханным событиям, так усиленно и планомерно развивал свои физические, политические и военные мускулы, был ямб. Вероятно, потому повлекло и меня, издавна гонимого по миру бичами этого ямба, отдаться его упругой волне на более продолжительное время.

Тогда мне пришлось начать постройку большой поэмы под названием «Возмездие». Ее план представлялся мне в виде концентрических кругов, которые становились все уже и уже, и самый маленький круг, съезжившись до предела, начинал опять жить своей самостоятельной жизнью, распирать и раздвигать окружающую среду и, в свою очередь, действовать на периферию. Такова была жизнь чертежа, который мне рисовался, – в сознание и на слова я это стараюсь перевести лишь

сейчас: тогда это присутствовало преимущественно в сознании музыкальном и мускульном; о мускульном сознании я говорю недаром, потому что в то время все движение и развитие поэмы для меня тесно соединилось с развитием мускульной системы. При систематическом ручном труде развиваются сначала мускулы на руках, так называемые – бицепсы, а потом уже – постепенно – более тонкая, более изысканная и более редкая сеть мускулов на груди и на спине под лопатками. Вот такое ритмическое и постепенное нарастание мускулов должно было составлять ритм всей поэмы. С этим связана и ее основная идея, и тема.

Тема заключается в том, как развиваются звенья единой цепи рода. Отдельные отпрыски всякого рода развиваются до положенного им предела и затем вновь поглощаются окружающей мировой средой; но в каждом отпрыске зреет и отлагается нечто новое и нечто более острое, ценою бесконечных потерь, личных трагедий, жизненных неудач, падений и т. д.; ценою, наконец, потери тех бесконечно высоких свойств, которые в свое

время сияли, как лучшие алмазы в человеческой короне (как, например, свойства гуманные, добродетели, безупречная честность, высокая нравственность и проч.).

Словом, мировой водоворот засасывает в свою воронку почти всего человека; от личности почти вовсе не остается следа, сама она, если остается еще существовать, становится неузнаваемой, обезображенной, искаленной. Был человек – и не стало человека, осталась дрянная вялая плоть и тлеющая душонка. Но семя брошено, и в следующем первенце растет новое, более упорное; и в последнем первенце это новое и упорное начинает, наконец, ощутительно действовать на окружающую среду; таким образом, род, испытавший на себе возмездие истории, среды, эпохи, – начинает в свою очередь творить возмездие; последний первенец уже способен огрызаться и издавать львиное рычание; он готов ухватиться своей человеческой ручонкой за колесо, которым движется история человечества. И, может быть, ухватится-таки за него...

Что же дальше? Не знаю, и никогда не

знал; могу сказать только, что вся эта концепция возникла под давлением все растущей во мне ненависти к различным теориям прогресса.

Такую идею я хотел воплотить в моих «Rougon-Macquar'ax» в малом масштабе, в коротком обрывке рода русского, живущего в условиях русской жизни: «Два-три звена, и уж видны заветы темной старины»... Путем катастроф и падений мои «Rougon-Macquar'ы» постепенно освобождаются от русско-дворянского *éducation sentimentale*[23], «уголь превращается в алмаз», Россия – в новую Америку; в новую, а не в старую Америку.

Поэма должна была состоять из пролога, трех больших глав и эпилога. Каждая глава обрамлена описанием событий мирового значения; они составляют ее фон.

Первая глава развивается в 70-х годах прошлого века, на фоне русско-турецкой войны и народовольческого движения, в просвещенной либеральной семье; в эту семью является некий «демон», первая ласточка «индивидуализма», человек, похожий на Байрона, с какими-то нездешними порываниями и стремле-

ниями, притупленными, однако, болезнью века, начинающимся fin de siècle[24].

Вторая глава, действие которой развивается в конце XIX и начале XX века, так и не написанная, за исключением вступления, должна была быть посвящена сыну этого «демона», наследнику его мятежных порывов и болезненных падений, – *бесчувственному* сыну нашего века. Это – тоже лишь одно из звеньев длинного рода; от него тоже не останется, по-видимому, ничего, кроме искры огня, заброшенной в мир, кроме семени, кинутого им в страстную и грешную ночь в лоно какой-то тихой и женственной дочери чужого народа.

В третьей главе описано, как кончил жизнь отец, что случилось с бывшим блестящим «демоном», в какую бездну упал этот яркий когда-то человек. Действие поэмы переносится из русской столицы, где оно до сих пор развивалось, в Варшаву – кажущуюся сначала «задворками России», а потом призванную, по-видимому, играть некую мессианскую роль, связанную с судьбами забытой Богом и истерзанной Польши. Тут, над свежей могилой отца, заканчивается развитие и жиз-



ненный путь сына, который уступает место собственному отпрыску, третьему звену все того же высоко взлетающего и низко падающего рода.

В эпилоге должен быть изображен младенец, которого держит и баюкает на коленях простая мать, затерянная где-то в широких польских клеверных полях, никому не ведомая и сама ни о чем не ведающая. Но она баюкает и кормит грудью сына, и сын растет; он начинает уже играть, он начинает повторять по складам вслед за матерью: «И я пойду навстречу солдатам... И я брошусь на их штыки... И за тебя, моя свобода, взойду на черный эшафот».

Вот, по-видимому, круг человеческой жизни, съезжившийся до предела, последнее звено длинной цепи; тот круг, который сам, наконец, начнет топорщиться, давить на окружающую среду, на периферию; вот отпрыск рода, который, может быть, наконец, ухватится ручонкой за колесо, движущее человеческую историю.

Вся поэма должна сопровождаться определенным лейтмотивом «возмездия»; этот лейт-

мотив есть *мазурка*, танец, который носил на своих крыльях Марину, мечтавшую о русском престоле, и Костюшку с протянутой к небесам десницей, и Мицкевича на русских и парижских балах. В первой главе этот танец легко доносится из окна какой-то петербургской квартиры – глухие 70-е годы; во второй главе танец гремит на балу, смешиваясь со звоном офицерских шпор, подобный пене шампанского *fin de siècle*'а знаменитой *veuve Cliquot*; еще более глухие – цыганские, апухтинские годы; наконец, в третьей главе мазурка разгулялась: она звенит в снежной вьюге, проносящейся над ночной Варшавой, над занесенными снегом польскими клеверными полями. В ней явственно слышится уже голос Возмездия.

*Июль 1919*

## **Пролог**

*Юность – это возмездие.*

Ибсен

*Жизнь – без начала и конца.*

*Нас всех подстерегает случай.*

*Над нами – сумрак неминуемый,*

Иль ясность Божьего лица.  
Но ты, художник, твердо веруй  
В начала и концы. Ты знай,  
Где стерегут нас ад и рай.  
Тебе дано бесстрастной мерой  
Измерить все, что видишь ты.  
Твой взгляд – да будет тверд и  
ясен.

Сотри случайные черты —  
И ты увидишь: мир прекрасен.  
Познай, где свет, поймешь, где  
тьма.

Пускай же все пройдет неспешно,  
Что в мире свято, что в нем  
грешно,  
Сквозь жар души, сквозь хлад ума.  
Так Зигфрид правит меч над гор-  
ном:

То в красный уголь обратит,  
То быстро в воду погрузит —  
И зашипит, и станет черным  
Любимцу вверенный клинок...  
Удар – он блещет, Нотунг верный,  
И Миме, карлик лицемерный,  
В смятеньи падает у ног!  
Кто меч скует? – Не знавший  
страха.

А я беспомощен и слаб,

Как все, как вы, – лишь умный раб,  
Из глины созданный и праха, —  
И мир – он страшен для меня.  
Герой уж не разит свободно —  
Его рука – в руке народной,  
Стоит над миром столб огня,  
И в каждом сердце, в мысли каж-  
дой —  
Свой произвол и свой закон...  
Над всей Европою дракон,  
Разинув пасть, томится жаждой...  
Кто нанесет ему удар?..  
Не ведаем: над нашим станом,  
Как встарь, повита даль туманом,  
И пахнет гарью. Там – пожар.

Но песня – песнью все пребудет,  
В толпе все кто-нибудь поет.  
Вот – голову его на блюде  
Царю плясунья подает;  
Там – он на эшафоте черном  
Слагает голову свою;  
Здесь – именован клеймят позорным  
Его стихи... И я пою, —  
Но не за вами суд последний,

Не вам замкнуть мои уста!  
Пусть церковь темная пуста,  
Пусть пастырь спит; я до обедни  
Пройду росистую межу,  
Ключ ржавый поверну в затворе  
И в алом от зари притворе  
Свою обедню отслужу.

Ты, поразившая Денницу,  
Благослови на здешний путь!  
Позволь хоть малую страницу  
Из книги жизни повернуть.  
Дай мне неспешно и нелживо  
Поведать пред Лицом Твоим  
О том, что мы в себе таим,  
О том, что в здешнем мире живо,  
О том, как зреет гнев в сердцах,  
И с гневом – юность и свобода,  
Как в каждом дышит дух народа,  
Сыны отражены в отцах:  
Коротенький обрывок рода —  
Два-три звена, – и уж ясны  
Заветы темной старины:  
Созрела новая порода, —  
Угль превращается в алмаз.  
Он, под киркой трудолюбивой,  
Восстав из недр неторопливо,  
Предстанет – миру напоказ!

Так бей, не знай отдохновенья,  
Пусть жила жизни глубока:  
Алмаз горит издалека —  
Дроби, мой гневный ямб, камняя!

## **Первая глава**

Век девятнадцатый, железный,  
Воистину жестокий век!  
Тобою в мрак ночной, беззвездный  
Беспечный брошен человек!  
В ночь умозрительных понятий,  
Матерьялистских малых дел,  
Бессильных жалоб и проклятий,  
Бескровных душ и слабых тел!  
С тобой пришли чуме на смену  
Нейрастения, скука, сплин,  
Век расшибанья лбов о стену  
Экономических доктрин,  
Конгрессов, банков, федераций,  
Застольных спичей, красных слов,  
Век акций, рент и облигаций,  
И мало действенных умов,  
И дарований половинных  
(Так справедливей – пополам!),  
Век не салонов, а гостиных,  
Не Рекамье, – а просто дам...  
Век буржуазного богатства  
(Растущего незримо зла!).

Под знаком равенства и братства

Здесь зрели темные дела...

А человек? – Он жил безвольно:

Не он – машины, города,

«Жизнь» так бескровно и безбольно

Пытала дух, как никогда...

Но тот, кто двигал, управляя

Марионетками всех стран, —

Тот знал, что делал, насылая

Гуманистический туман:

Там, в сером и гнилом тумане,

Увяла плоть, и дух погас,

И Ангел сам священной брани,

Казалось, отлетел от нас:

Там – распри кровные решают

Дипломатическим умом,

Там – пушки новые мешают

Сойтись лицом к лицу с врагом,

Там – вместо храбрости – нахальство,

А вместо подвигов – «психоз»,

И вечно ссорится начальство,

И длинный громоздкóй обоз

Волóчит за собой команда,

Штаб, интендантов, грязь кляня,

Рожком горниста – рог Роланда

*И шлем – фуражкой заменяю...  
Тот век немало проклинали  
И не устанут проклипать.  
И как избыть его печали?  
Он мягко стлал – да жестко  
спать...*

*Двадцатый век... еще бездомней.  
Еще страшнее жизни мгла  
(Еще чернее и огромней  
Тень Люциферова крыла).  
Пожары дымные заката  
(Пророчества о нашем дне),  
Кометы грозной и хвостатой  
Ужасный призрак в вышине,  
Безжалостный конец Мессины  
(Стихийных сил не превозмочь),  
И неустанный рев машины,  
Кующей гибель день и ночь,  
Сознанье страшное обмана  
Всех прежних малых дум и вер,  
И первый взлет аэроплана  
В пустыню неизвестных сфер...  
И отвращение от жизни,  
И к ней безумная любовь,  
И страсть, и ненависть к отчиз-  
не...  
И черная, земная кровь*



Сулит нам, раздувая вены,  
Все разрушая рубежи,  
Неслыханные перемены,  
Невиданные мятежи...  
Что ж, человек? – За ревом ста-  
ли,  
В огне, в пороховом дыму,  
Какие огненные дали  
Открылись взору твоему?  
О чем – машин немолчный скре-  
жет?  
Зачем – пропеллер, воя, режет  
Туман холодный – и пустой?

Теперь – за мной, читатель мой,  
В столицу севера больную,  
На отдаленный финский брег!  
Уж осень семьдесят восьмую  
Дотягивает старый век.  
В Европе спорится работа,  
А здесь – по-прежнему в болото  
Глядит унылая заря...

Но в половине сентября  
В тот год, смотри, как солнца  
много!  
Куда народ валит с утра?  
И до заставы всю дорогу

Горохом сыплется ура,  
И Забалканский, и Сенная  
Кишат полицией, толпой,  
Крик, давка, ругань площадная...  
За самой городской чертой,  
Где светится Золотоглавый  
Новодевичий монастырь,  
Заборы, бойни и пустырь  
Перед Московскою заставой, —  
Стена народу, тьма карет,  
Пролетки, дрожки и коляски,  
Султаны, кивера и каски,  
Царица, двор и высший свет!  
И пред растроганной царицей,  
В осенней солнечной пыли  
Войска проходят вереницей  
От рубежей чужой земли...  
Идут, как будто бы с парада.  
Иль не оставили следа  
Недавний лагерь у Царьграда,  
Чужой язык и города?  
За ними – снежные Балканы,  
Три Плевны, Шипка и Дубняк,  
Незаживающие раны,  
И хитрый, и неслабый враг...  
Вон – павловцы, вон – гренадеры  
По пыльной мостовой идут;  
Их лица строги, груди серы,

Блестит Георгий там и тут,  
Разрежены их батальоны,  
Но уцелевшие в бою  
Теперь под рваные знамена  
Склонили голову свою...  
Конец тяжелого похода,  
Незабываемые дни!  
Пришли на родину они,  
Они – среди своего народа!  
Чем встретит их родной народ?  
Сегодня – прошлому забвенье.  
Сегодня – тяжкие виденья  
Войны – пусть ветер разнесет!  
И в час торжественный возврата  
Они забыли обо всем:  
Забыли жизнь и смерть солдата  
Под неприятельским огнем.  
Ночей, для многих – без рассвета,  
Холодную, немую твердь,  
Подстерегающую где-то —  
И настигающую смерть,  
Болезнь, усталость, боль и голод,  
Свист пуль, тоскливый вой ядра,  
Зальдевших ложементов холод,  
Негреющий огонь костра.  
И даже – бремя вечной розни  
Среди штабных и строевых,  
И (может, горше всех других)

Забыли интендантов козни...  
Иль не забыли, может быть?  
Их с хлебом-солью ждут подносы,  
Им речи будут говорить,  
На них – цветы и папирасы  
Летят из окон всех домов...  
Да, дело трудное их – свято!  
Смотри: у каждого солдата  
На штык надет букет цветов!  
У батальонных командиров —  
Цветы на седлах, чепраках,  
В петлицах выцветших мундиров,  
На конских челках и в руках.

Идут, идут... Едва к закату  
Придут в казармы: кто – сме-  
нять  
На ранах корзину и вату,  
Кто – на вечер лететь, пленять  
Красавиц, щеголять крестами,  
Слова небрежные ронять,  
Лениво шевеля усами  
Перед униженным «штрюком»,  
Играя новым темляком  
На алой ленточке, – как дети...  
Иль, в самом деле, люди эти  
Так интересны и умны?  
За что они вознесены

Так высоко, за что в них вера?

В глазах любого офицера  
Стоят видения войны,  
На их, обычных прежде, лицах  
Горят заемные огни.  
Чужая жизнь свои страницы  
Перевернула им. Они  
Все крещены огнем и делом;  
Их речи об одном твердят:  
Как Белый Генерал на белом  
Конне, средь вражеских гранат,  
Стоял, как призрак невредимый,  
Шутя спокойно над огнем:  
Как красный столб огня и дыма  
Взвился над Горным Дубняком;  
О том, как полковое знамя  
Из рук убитый не пускал:  
Как пушку горными тропами  
Тащить полковник помогал;  
Как царский конь, храпя, запнулся  
Пред искалеченным штыком,  
Царь посмотрел и отвернулся,  
И заслонил глаза платком...  
Да, им известны боль и голод  
С простым солдатом наравне...  
Того, кто побыл на войне,  
Порой пронизывает холод —

То роковое все равно,  
Которое подготавливает  
Чреду событий мировых  
Лишь тем одним, что не меша-  
ет...

Все отразится на таких  
Полубезумною насмешкой...  
И власть торопится скорей  
Всех тех, кто перестал быть  
пешкой,  
В тур превращать, или в коней...

А нам, читатель, не пристало  
Считать коней и тур никак,  
С тобой нас нынче затесало  
В толпу глазающих зевак,  
Нас вовсе ликованье это  
Заставило забыть вчера...  
У нас в глазах пестрит от света,  
У нас в ушах гремит ура!  
И многие, забывшись слишком,  
Ногами штатскими пылят,  
Подобно уличным мальчишкам,  
Близ марширующих солдат,  
И этот чувств прилив мгновен-  
ный  
Здесь – в петербургском сентяб-  
ре!

Смотри: глава семьи почтенный  
Сидит верхом на фонаре!  
Его давно супруга кличет,  
Напрасной ярости полна,  
И, чтоб услышал, зонтик тычет,  
Куда не след, ему она.  
Но он и этого не чуёт  
И, несмотря на общий смех,  
Сидит, и в ус себе не дует,  
Каналья, видит лучше всех!..  
Прошли... В ушах лишь стонет  
эхо,  
А все – не разогнать толпу;  
Уж с бочкой водовоз проехал,  
Оставив мокрую тропу,  
И ванька, тумбу огибая,  
Напер на барыню – орет  
Уже по этому случаю  
Бегущий подсобить народ  
(Городовой – свистки даёт)...  
Проследовали экипажи,  
В казармах сыграна заря, —  
И сам отец семейства даже  
Полез послушно с фонаря,  
Но, расходясь, все ждуют чего-то...

Да, нынче, в день возврата их,  
Вся жизнь в столице, как пехота,

Гремит по камню мостовых,  
Идет, идет – нелепым строем,  
Великолепна и шумна...

Пройдет одно – придет другое,  
Вглядись – уже не та она,  
И той, мелькнувшей, нет возвра-  
та,  
Ты в ней – как в старой старине...

Замедлил бледный луч заката  
В высоком, невзначай, окне.  
Ты мог бы в том окне заметить  
За рамой – бледные черты,  
Ты мог бы некий знак заметить,  
Которого не знаешь ты,  
Но ты проходишь – и не взгля-  
нешь,  
Встречаешь – и не узнаешь,  
Ты за другими в сумрак канешь.  
Ты за толпой вослед пройдешь.  
Ступай, прохожий, без вниманья,  
Свой ус лениво теребя,  
Пусть встречный человек и зда-  
нье —  
Как все другие – для тебя,  
Ты занят всякими делами,  
Тебе, конечно, невдомек,



Что вот за этими стенами  
И твой скрываться может рок...  
(Но, если б ты умом раскинул,  
Забыв жену и самовар,  
Со страху ты бы рот разинул  
И сел бы прямо на троттуар!..)

Смеркается. Спустились шторы.  
Набита комната людьми,  
И за прикрытыми дверьми  
Идут глухие разговоры,  
И эта сдержанная речь  
Полна заботы и печали.  
Огня еще не зажигали  
И вовсе не спешат зажечь.  
В вечернем мраке тонут лица,  
Вглядись – увидишь ряд один  
Теней неясных, вереницу  
Каких-то женищин и мужчин.  
Собранье не многоречиво,  
И каждый гость, входящий в  
дверь,  
Упорным взглядом молчаливо  
Осматривается, как зверь.  
Вот кто-то вспыхнул папироской:  
Средь прочих – женищина сидит:  
Большой ребячий лоб не скрыт  
Простой и скромною прической,

Широкий белый воротник  
И платье черное – все просто,  
Худая, маленького роста,  
Голубоокий детский лик,  
Но, как бы что найдя за далью,  
Глядит внимательно, в упор,  
И этот милый, нежный взор  
Горит отвагой и печалью...  
Кого-то ждут... Гремит звонок.  
Неспешно отворяя двери,  
Гость новый входит на порог:  
В своих движениях уверен  
И статен; мужественный вид;  
Одет совсем как иностранец,  
Изысканно; в руке блестит  
Высокого цилиндра глянец;  
Едва заметно затемнен  
Взгляд карих глаз сурово-крот-  
кий;  
Наполеоновской бородкой  
Рот беспокойный обрамлен;  
Большеголовый, темновласый —  
Красавец вместе и урод;  
Тревожный передернут рот  
Меланхолической гримасой.

И сонм собравшихся затих...  
Два слова, два рукопожатья —

И гость к ребенку в черном пла-  
тье

Идет, минуя остальных...  
Он смотрит долго и любовно,  
И крепко руку жмет не раз,  
И молвит: «Поздравляю вас  
С побегом, Соня... Софья Львовна!  
Опять – на смертную борьбу!»  
И вдруг – без видимой причины —  
На этом странно-белом лбу  
Легли глубоко две морщины...

Заря погасла. И мужчины  
Вливают в чашу ром с вином,  
И пламя синим огоньком  
Под полной чашей побежало.  
Над ней кладут крестом кинжа-  
лы.

Вот пламя ширится – и вдруг,  
Взбежав над жженкой, задрожало

В глазах столпившихся вокруг...  
Огонь, борясь с толпою мраков,  
Лилово-синий свет бросал,  
Старинной песни гайдамаков  
Напев согласный зазвучал,  
Как будто – свадьба, новоселье,  
Как будто – всех не ждет гроза, —

Такое детское веселье  
Зажгло суровые глаза...

Прошло одно – идет другое,  
Проходит пестрый ряд картин.  
Не замедляй, художник: вдвое  
Заплатишь ты за миг один  
Чувствительного промедленья,  
И, если в этот миг тебя  
Грозит покинуть вдохновенье, —  
Пеняй на самого себя!  
Тебе единым на потребу  
Да будет – пристальность твоя.

В те дни под петербургским  
небом  
Живет дворянская семья.  
Дворяне – все родня друг другу,  
И приучили их века  
Глядеть в лицо другому кругу  
Всегда немного свысока.  
Но власть тихонько ускользала  
Из их изящных белых рук,  
И записались в либералы  
Честнейшие из царских слуг,  
А все, в брезгливости природной,  
Меж волей царской и Народной  
Они испытывали боль

Нередко от обеих воль.  
Все это может показаться  
Смешным и устарелым нам,  
Но, право, может только хам  
Над русской жизнью издеваться,  
Она всегда – меж двух огней,  
Не всякий может стать героем,  
И люди лучшие – не скроем —  
Бессильны часто перед ней,  
Так неожиданно сурова  
И вечных перемен полна;  
Как вешняя река, она  
Внезапно тронуться готова,  
На льдины льдины громоздит  
И на пути своем крушить  
Виновных, как и невиновных,  
И нечиновных, как чиновных...

Так было и с моей семьей:  
В ней старина еще дышала  
И жить по-новому мешала,  
Вознаграждая тишиной  
И благородством запоздалым  
(Не так в нем вовсе толку мало,  
Как думать принято теперь,  
Когда в любом семействе дверь  
Открыта настежь зимней вьюге,  
И ни малейшего труда

Не стоит изменить супруге,  
Как муж, лишившейся стыда).  
И нигилизм здесь был беззлобен,  
И дух естественных наук  
(Властей ввергающий в испуг)  
Здесь был религии подобен.  
«Семейство – вздор, семейство –  
блажь», —  
Любили здесь примолвить гневно.  
А в глубине души – все та ж  
«Княгиня Марья Алексевна»...  
Живая память старины  
Должна была дружить с неверьем —  
И были все часы полны  
Каким-то новым «двоеверьем»,  
И заколдован был сей круг:  
Свои словечки и привычки,  
Над всем чужим – всегда кавычки,  
И даже иногда – испуг;  
А жизнь меж тем кругом менялась,  
И зашаталось все кругом,  
И ветром новое врывалось  
В гостеприимный старый дом:  
То нигилист в косоворотке  
Придет и нагло спросит водки,  
Чтоб возмутить семьи покой

(В том видя долг гражданский  
свой),  
А то – и гость весьма чиновный  
Вбежит совсем не хладнокровно  
С «Народной Волею» в руках —  
Советоваться впопыхах,  
Что неурядиц всех причиной?  
Что предпринять пред «годовщи-  
ной»?  
Как урезонить молодежь,  
Опять поднявшую галдеж? —  
Всем ведомо, что в доме этом  
И обласкают, и поймут,  
И благородным мягким светом  
Все осветят и оболъют...

Жизнь старших близится к за-  
ту.

(Что ж, как полудня ни жалей,  
Не остановишь ты с полей  
Ползущий дым голубоватый).  
Глава семьи – сороковых  
Годов соратник; он поныне,  
В числе людей передовых,  
Хранит гражданские святыни,  
Он с николаевских времен  
Стоит на страже просвещенья,  
Но в буднях нового движенья

Немного заплутался он...  
Тургеневская безмятежность  
Ему сродни: еще вполне  
Он понимает толк в вине,  
В еде ценить умеет нежность;  
Язык французский и Париж  
Ему своих, пожалуй, ближе  
(Как всей Европе: поглядишь —  
И немец грезит о Париже),  
И – ярый западник во всем —  
В душе он – старый барин русский,  
И убеждений склад французский  
Со многим не мирится в нем;  
Он на обедах у Бореля  
Брюжжит не плоше Щедрина:  
То – недоварены форели,  
А то – уха им не жирна.  
Таков закон судьбы железной:  
Нежданый, как цветок над без-  
дной,  
Очаг семейный и уют... —

В семье нечопорно растут  
Три дочки: старшая – томится  
И над кипсэком мужа ждет,  
Второй – всегда не лень учиться,  
Меньшая – скачет и поет,  
Велит ей нрав живой и страст-



ный

Дразнить в гимназии подруг  
И косоцветкой ярко-красной  
Вводит начальницу в испуг...  
Вот подросли: их в гости водят,  
В карете возят их на бал;  
Уж кто-то возле окон ходит,  
Меньшой записку подослал  
Какой-то юнкер шаловливый —  
И первых слез так сладок пыл,  
А старшей – чинной и стыдливой

---

Внезапно руку предложил  
Вихрастый идеальный малый;  
Ее готовят под венец...  
«Смотри, он дочку любит мало,

---

Ворчит и хмурится отец, —  
Смотри, не нашего он круга...»  
И втайне с ним согласна мать.  
Но ревность к дочке друг от друга  
Они стараются скрывать...  
Торопит мать наряд венчальный,  
Приданое поспешно шьют.  
И на обряд (обряд печальный)  
Знакомых и родных зовут...  
Жених – противник всех обрядов  
(Когда «страдает так народ»).

Невеста – точно тех же взглядов:  
Она – с ним об руку пойдет,  
Чтоб вместе бросить луч пре-  
красный,  
«Луч света в царство темноты»  
(И лишь венчаться не согласна  
Без флер д'оранжа и фаты).  
Вот – с мыслью о гражданском  
браке,  
С челом, мрачнее сентября,  
Нечесанный, в нескладном фраке  
Он предстоит у алтаря,  
Вступая в брак «принципиально»,  
—

Сей новоявленный жених.  
Священник старый, либеральный,  
Рукой дрожащей крестит их,  
Ему, как жениху, невнятны  
Произносимые слова,  
А у невесты – голова  
Кружится; розовые пятна  
Пылают на ее щеках,  
И слезы тают на глазах...

Пройдет неловкая минута —  
Они воротятся в семью,  
И жизнь, при помощи уюта,  
В свою вернется колею;

Им рано в жизнь; еще не скоро  
Здоровым горбиться плечам;  
Не скоро из ребячьих споров  
С товарищами по ночам  
Он выйдет, честный, на соломе  
В мечтах почиющий жених...  
В гостеприимном добром доме  
Найдется комната для них,  
А разрушение уклада  
Ему, пожалуй, не к лицу:  
Семейство просто будет радо  
Ему, как новому жильцу,  
Все обойдется понемногу:  
Конечно, младшей по нутру  
Народницей и недотрогой  
Дразнить замужнюю сестру,  
Второй – краснеть и заступать-  
ся,  
Сестру резоня и уча,  
А старшей – томно забываться,  
Склонясь у мужнина плеча;  
Муж в это время спорит втуне,  
Вступая в разговор с отцом  
О сощьялизме, о коммуне,  
О том, что некто – «подлецом»  
Отныне должен называться  
За то, что совершил донос...  
И вечно будет разрешаться

«Проклятый и больной вопрос»...

Нет, вешний лед круша, не смоем  
Их жизни быстрая река:  
Она оставит на покое  
И юношу, и старика —  
Смотреть, как будет лед носить-  
ся,  
И как ломаться будет лед,  
И им обоим будет сниться,  
Что их «народ зовет вперед»...  
Но эти детские химеры  
Не помешают наконец  
Кой-как приобрести манеры  
(От этого не прочь отец),  
Косоворотку на манишку  
Сменить, на службу поступить,  
Произвести на свет мальчишку,  
Жену законную любить,  
И, на посту не стоя «славно»,  
Прекрасно исполнять свой долг  
И быть чиновником исправным,  
Без взяток видя в службе толк...  
Да, этим в жизнь — до смерти ра-  
но;  
Они похожи на ребят:  
Пока не крикнет мать, — шалят;  
Они — «не моего романа»:

Им – все учиться, да болтать,  
Да услаждать себя мечтами,  
Но им навеки не понять  
Тех, с обреченными глазами:  
Другая статъ, другая кровь —  
Иная (жалкая) любовь...

Так жизнь текла в семье. Качали  
Их волны. Вешняя река  
Неслась – темна и широка,  
И льдины грозно нависали,  
И вдруг, помедлив, огибали  
Сию старинную ладью...  
Но скоро пробил час туманный —  
И в нашу дружную семью  
Явился незнакомец странный.

Встань, выйди поутру на луг:  
На бледном небе ястреб кружит,  
Чертя за кругом плавный круг,  
Высматривая, где похуже  
Гнездо припрятано в кустах...  
Вдруг – птичий щебет и движе-  
нье...  
Он слушает... еще мгновенье —  
Слетает на прямых крылах...  
Тревожный крик из гнезд сосед-  
них,

Печальный писк птенцов послед-  
них,  
Пух нежный по ветру летит —  
Он жертву бедную когтит...  
И вновь, взмахнув крылом огром-  
ным,  
Взлетел – чертит за кругом  
круг,  
Несытым оком и бездомным  
Осматривать пустынный луг...  
Когда ни взглянешь, – кружит,  
кружит...

Россия-мать, как птица, тужит  
О детях; но – ее судьба,  
Чтоб их терзали ястреба.

На вечерах у Ольги Вревской  
Был общества отборный цвет.  
Больной и грустный Достоевский  
Ходил сюда на склоне лет  
Суровой жизни скрасить бремя,  
Набраться сведений и сил  
Для «Дневника». (Он в это время  
С Победоносцевым дружил.)  
С простертой дланью вдохновен-  
но  
Полонский здесь читал стихи.

Какой-то экс-министр смиренно  
Здесь исповедывал грехи.  
И ректор университета  
Бывал ботаник здесь Бекетов,  
И многие профессора,  
И слуги кисти и пера.  
И также – слуги царской власти,  
И недруги ее отчасти.  
Ну, словом, можно встретить  
здесь  
Различных состояний смесь.  
В салоне этом без утайки,  
Под обаянием хозяйки,  
Славянофил и либерал  
Взаимно руку пожимал  
(Как, впрочем, водится издавна  
У нас, в России православной:  
Всем, слава Богу, руку жмут).  
И всех – не столько разговором,  
Сколь оживленностью и взором,

—  
Хозяйка в несколько минут  
К себе привлечь могла на диво.  
Она, действительно, слыла  
Обворожительно-красивой,  
И вместе – добрая была.  
Кто с Ольгой Павловной был свя-  
зан, —

Всяк помянет ее добром  
(Пока еще молчать обязан  
Язык писателей о том).  
Вмещал немало молодежи  
Ее общественный салон:  
Иные – в убеждениях схожи,  
Тот – попросту в нее влюблен,  
Иной – с конспиративным де-  
лом...  
И всем нужна она была,  
Все приходили к ней, – и смело  
Она участие брала  
Во всех вопросах без изъятья,  
Как и в опасных предприятиях... —  
К ней также из семьи моей  
Всех трех возили дочерей.

Средь пожилых людей и чинных,  
Среди зеленых и невинных —  
В салоне Вревской был, как свой,  
Один ученый молодой.  
Непринужденный гость, привыч-  
ный —  
Он был со многими на «ты».  
Его отмечены черты  
Печатью не совсем обычной.  
Раз (он гостиной проходил)  
Его заметил Достоевский.



«Кто сей красавец? – он спросил  
Негромко, наклонившись к Врев-  
ской: —

Похож на Байрона.» – Слово  
Крылатое все подхватили.

И все на новое лицо

Свое вниманье обратили.

На сей раз милостив был свет,  
Обыкновенно – столь упрямый.

«Красив, умен», – твердили дамы,

Мужчины морщились: «поэт»...

Но, если морщатся мужчины,

Должно быть, зависть их берет,

А чувств прекрасной половины

Никто, сам черт, не разберет...

И дамы были в восхищеньи:

«Он – Байрон, значит – демон...» –

Что ж?

Он впрямь был с гордым лордом  
схож

Лица надменным выраженьем

И чем-то, что хочу назвать

Тяжелым пламенем печали...

(Вообще, в нем странность заме-  
чали —

И всем хотелось замечать.)

Пожалуй, не было, к несчастью,

В нем только воли этой... Он

Одной какой-то тайной стра-  
стью,  
Должно быть, с лордом был срав-  
нен:  
Потомок поздний поколений,  
В которых жил мятежный пыл  
Нечеловеческих стремлений, —  
На Байрона он походил,  
Как брат болезненный на брата  
Здорового порой похож:  
Тот самый отсвет красноватый,  
И выраженье власти то ж,  
И то же порыванье к бездне.  
Но – тайно околдован дух  
Усталым холодом болезни,  
И пламень действенный потух,  
И воли бешеной усилья  
Отягчены сознанием.  
Так  
Вращает хищник мутный зрак,  
Больные расправляя крылья.

«Как интересен, как умен», —  
За общим хором повторяет  
Меньшайя дочь. И уступает  
Отец. И в дом к ним приглашен  
Наш новоявленный Байрон.  
И приглашенье принимает.

В семействе принят, как родной,  
Красивый юноша. Вначале  
В старинном доме над Невой  
Его, как гостя, привечали,  
Но скоро стариков привлек  
Его дворянский склад старинный,  
Обычай вежливый и чинный:  
Хотя свободен и широк  
Был новый лорд в своих воззре-  
ниях,  
Но вежливость он соблюдал  
И дамам ручки целовал  
Он без малейшего презренья.  
Его блестящему уму  
Противоречия прощали,  
Противоречий этих тьму  
По доброте не замечали,  
Их затмевал таланта блеск,  
В глазах какое-то горенье...  
(Ты слышишь сбитых крыльев  
треск? —  
То хищник напрягает зренье...)  
С людьми его еще тогда  
Улыбка юности роднила,  
Еще в те ранние года  
Играть легко и можно было...  
Он тьмы своей не ведал сам...

Он в доме запросто обедал  
И часто всех по вечерам  
Живой и пламенной беседой  
Пленял. (Хоть он юристом был,  
Но поэтическим примером  
Не брезговал: Констан дружил  
В нем с Пушкиным, и Штейн – с  
Флобером.)

Свобода, право, идеал —  
Все было для него не шуткой,  
Ему лишь было втайне жутко:  
Он, утверждая, отрицал  
И утверждал он, отрицая.  
(Все б – в крайностях бродить уму

---

А середина золотая  
Все не давалась ему!),  
Он ненавистное – любовью  
Искал порою окружить,  
Как будто труп хотел налить  
Живой, играющей кровью...  
«Талант», – твердили все вокруг,

---

Но, не гордясь (не уступая),  
Он странно омрачался вдруг...  
Душа больная, но молодая,  
Страшась себя (она права),  
Искала утешенья: чужды

Ей становились все слова...  
(О, пыль словесная! Что нужды  
В тебе? – Утетишишь ты едва ль,  
Едва ли разрешишь ты муки!) —  
И на покорную рояль  
Властительно ложились руки,  
Срывает звуки, как цветы,  
Безумно, дерзостно и смело,  
Как женских тряпок лоскуты  
С готового отдаться тела...  
Прядь упала на чело...  
Он сотрясался в тайной дрожи...  
(Все, все – как в час, когда на ложе  
Двоих желание сплело...)  
И там – за бурей музыкальной —  
Вдруг возникал (как и тогда)  
Какой-то образ – грустный, даль-  
ный,  
Непостижимый никогда...  
И крылья белые в лазури,  
И неземная тишина...  
Но эта тихая струна  
Тонула в музыкальной буре...  
Что ж стало? – Все, что быть  
должно:  
Рукопожатья, разговоры,  
Потупленные долу взоры...  
Грядущее отделено

Едва приметною чертою  
От настоящего... Он стал  
Своим в семье. Он красотою  
Меньшую дочь очаровал,  
И царство (царством не владея)  
Он обещал ей. И ему  
Она поверила, бледнея...  
И дом ее родной в тюрьму  
Он превратил (хотя нимало  
С тюрьмой не сходствовал сей  
дом...).

Но чуждо, пусто, дико стало  
Все, прежде милое, кругом —  
Под этим странным обаяньем  
Сулящих новое речей,  
Под этим демонским мерцаньем  
Сверлящих пламенем очей...  
Он — жизнь, он — счастье, он — сти-  
хия,  
Она нашла героя в нем, —  
И вся семья, и все родные  
Претят, мешают ей во всем,  
И все ее волненье множит...  
Она не ведает сама,  
Что уж кокетничать не может.  
Она — почти сошла с ума...  
А он? —  
Он медлит; сам не знает,

Зачем он медлит, для чего?  
И ведь нимало не прельщает  
Армейский демонизм его...  
Нет, мой герой довольно тонок  
И прозорлив, чтобы не знать,  
Как бедный мучится ребенок,  
Что счастье ребенку дать —  
Теперь – в его единой власти...  
Нет, нет... но замерли в груди  
Доселе пламенные страсти,  
И кто-то шепчет: погоди...  
То – ум холодный, ум жестокий  
Вступил в нежданные права...  
То – муку жизни одинокой  
Предугадала голова...  
«Нет, он не любит, он играет, —  
Твердит она, судьбу кляня: —  
За что терзает и пугает  
Он, беззащитную, меня...  
Он объясненья не торопит,  
Как будто сам чего-то ждет...»  
(Смотри: так хищник силы ко-  
пит:  
Сейчас – больным крылом взмах-  
нет,  
На луг опустится бесшумно  
И будет пить живую кровь  
Уже от ужаса – безумной,

Дрожащей жертвы...) – Вот – любовь  
Того вампирственного века,  
Который превратил в калек  
Достойных званья человека!

Будь трижды проклят, жалкий  
век!  
Другой жених на этом месте  
Давно отряс бы прах от ног,  
Но мой герой был слишком чещен  
И обмануть ее не мог:  
Он не гордился нравом странным,  
И было знать ему дано,  
Что демоном и Дон-Жуаном  
В тот век вести себя – смешно...  
Он много знал – себе на горе,  
Слывя недаром «чудаком»  
В том дружном человечьем хоре,  
Который часто мы зовем  
(Промеж себя) – бараньим стадом...  
Но – «глас народа – Божий глас»,  
И это чаще помнить надо,  
Хотя бы, например, сейчас:  
Когда б он был глупей немного



(Его ль, однако, в том вина?), —  
Быть может, лучшую дорогу  
Себе избрать могла она,  
И, может быть, с такою нежной  
Дворянской девушкой связав  
Свой рок холодный и мятежный,  
—

Герой мой был совсем не прав...

Но все пошло неотвратимо  
Своим путем. Уж лист, шурша,  
Крутился. И неудержимо  
У дома старилась душа.  
Переговоры о Балканах  
Уж дипломаты повели,  
Войска пришли и спать легли,  
Нева закуталась в туманах,  
И штатские пошли дела,  
И штатские пошли вопросы:  
Аресты, обыски, доносы  
И покушенья — без числа...  
И книжной крысой настоящей  
Мой Байрон стал средь этой  
мглы;  
Он диссертацией блестящей  
Стяжал отменные хвалы  
И принял кафедру в Варшаве...  
Готовясь лекции читать,

Запутанный в гражданском праве,  
С душой, начавшей уставать, —  
Он скромно предложил ей руку,  
Связал ее с своей судьбой  
И в даль увез ее с собой,  
Уже питая в сердце скуку, —  
Чтобы жена с ним до звезды  
Делила книжные труды...  
Прошло два года. Грянул взрыв  
С Екатеринина канала,  
Россию облаком покрыв.  
Все издалека предвещало,  
Что час свершится роковой.  
Что выпадет такая карта...  
И этот века час дневной —  
Последний – назван первым марта

·  
В семье – печаль. Упразднена,  
Как будто, часть ее большая:  
Всех веселила дочь меньшая,  
Но из семьи ушла она,  
А жить – и путанно, и трудно:  
То – над Россией дым стоит...  
Отец, сидя, в дым глядит...  
Тоска! От дочки вести скудны...  
Вдруг – возвращается она...  
Что с ней? Как стан прозрачный

тонок!

Худа, измучена, бледна...

И на руках – лежит ребенок.

**К**онец первой главы. 1911–1916, 4 июня.

## **Вторая глава (Вступление)**

### **I**

*В те годы дальние, глухие,  
В сердцах царили сон и мгла:  
Победоносцев над Россией  
Простер совиные крыла,  
И не было ни дня, ни ночи,  
А только – тень огромных крыл;  
Он дивным кругом очертил  
Россию, заглянув ей в очи  
Стеклянным взором колдуна;  
Под умный говор сказки чудной  
Уснуть красавице не трудно, —  
И затуманилась она,  
Заснав надежды, думы, страсти...  
Но и под игом темных чар  
Ланиты красил ей загар:  
И у волшебника во власти  
Она казалась полной сил,  
Которые рукой железной  
Зажаты в узел бесполезный...  
Колдун одной рукой кадил,  
И струйкой синей и кудрявой*

Курился росный ладан... Но —  
Он клал другой рукой костлявой  
Живые души под сукно.

## II

В те незапамятные годы  
Был Петербург еще грозней,  
Хоть не тяжеле, не серей  
Под крепостью катила воды  
Необозримая Нева...  
Штык светил, плакали куранты,  
И те же барыни и франты  
Летели здесь на острова,  
И так же конь чуть слышным  
смехом  
Коню навстречу отвечал,  
И черный ус, мешаясь с мехом,  
Глаза и губы щекотал...  
Я помню, так и я, бывало,  
Летал с тобой, забыв весь свет,  
Но... право, проку в этом нет,  
Мой друг, и счастья в этом ма-  
ло...

## III

Востока страшная заря  
В те годы чуть еще алела...  
Чернь петербургская глазела

Подобострастно на царя...  
Народ толпился в самом деле,  
В медалях кучер у дверей  
Тяжелых горячил коней.  
Городовые на панели  
Сгоняли публику... «Ура»  
Заводит кто-то голосистый,  
И царь, огромный, водянистый,  
С семейством едет со двора...  
Весна, но солнце светит глупо,  
До Пасхи – целых семь недель,  
А с крыш холодная капель  
Уже за воротник мой тупо  
Сползает, спину холодя...  
Куда ни повернись, все ветер...  
«Как тошно жить на белом свете», —  
Бормочешь, лужу обходя;  
Собака под ноги суется,  
Калоши сыщика блестят,  
Вонь кислая с дворов несется,  
И «князь» орет: «Халат, халат!»  
И, встретившись лицом с прохожим,  
Ему бы в рожу наплевал,  
Когда б желания того же  
В его глазах не прочитал...

Но перед майскими ночами  
Весь город погружался в сон,  
И расширялся небосклон;  
Огромный месяц за плечами  
Таинственно румянил лик  
Перед зарей необозримой...  
О, город мой неуловимый,  
Зачем над бездной ты возник?..  
Ты помнишь: выйдя ночью белой  
Туда, где в море Сфинкс глядит,  
И на обтесанный гранит  
Склонясь главою отяжелелой,  
Ты слышать мог: вдали, вдали,  
Как будто с моря, звук тревож-  
ный,  
Для Божьей тверди невозможный  
И необычный для земли...  
Провидел ты всю даль, как Ангел  
На шпигеле крепостном: и вот —  
(Сон, или явь) чудесный флот,  
Широко развернувший фланги,  
Внезапно заградил Неву...  
и Сам Державный Основатель  
Стоит на головном фрегате...  
Так снилось многим наяву...  
Какие ж сны тебе, Россия,  
Какие бури суждены?..  
Но в эти времена глухие

Не всем, конечно, снились сны...  
Да и народу не бывало  
На площади в сей дивный миг  
(Один любовник запоздалый  
Спешил, поднявши воротник) ...  
Но в алых струйках за кормами  
Уже грядущий день сиял,  
И дремлющими вымпелами  
Уж ветер утренний играл,  
Раскинулась необозримо  
Уже кровавая заря,  
Гроза Артуром и Цусимой,  
Гроза Девятым января...

1911

### Третья глава

Отец лежит в «Аллее Роз»[25].  
Уже с усталостью не споря,  
А сына поезд мчит в мороз  
От берегов родного моря...  
Жандармы, рельсы, фонари,  
Жаргон и пейсы вековые, —  
И вот, в лучах больной зари  
Задворки польские России...  
Здесь все, что было, все, что есть,  
Надуто мстительной химерой;  
Коперник сам лелеет месть,  
Склоняясь над пустою сферой...

«Месть! Месть!» – в холодном чу-  
гуне

Звонит, как эхо, над Варшавой:  
То Пан-Мороз на злом коне  
Бряцает шпорою кровавой...  
Вот оттепель: блеснет живею  
Край неба желтизной ленивой,  
И очи панн чертят смелей  
Свой круг ласкательный и льсти-  
вый...

Но все, что в небе, на земле,  
По-прежнему полно печалью...  
Лишь рельс в Европу в мокрой  
мгле  
Поблескивает честной сталью.

Вокзал заплеванной; дома,  
Коварно преданные вьюгам;  
Мост через Вислу, как тюрьма;  
Отец, сраженный злым недугом,

—  
Все внове баловню судеб;  
Ему и в этом мире скудном  
Мечтается о чем-то чудном;  
Он хочет в камне видеть хлеб,  
Бессмертья знак – на смертном  
ложе,  
За тусклым светом фонаря



Ему мерещится заря  
Твоя, забывший Польшу, Боже! —  
Что здесь он с юностью своей?  
О чем у ветра жадно просит? —  
Забывтый лист осенних дней,  
Да пыль сухую ветер носит!  
А ночь идет, ведя мороз,  
Усталость, сонные желанья...  
Как улиц гадостны названья!  
Вот, наконец, «Аллея Роз»!.. —  
Неповторимая минута:  
Больница в сон погружена, —  
Но в раме светлого окна  
Стоит, оборотясь к кому-то,  
Отец... и сын, едва дыша,  
Глядит, глазам не доверяя...  
Как будто в смутном сне душа  
Его застыла молодая,  
И злую мысль не отогнать:  
«Он жив еще!.. В чужой Варшаве  
С ним разговаривать о праве,  
Юристов с ним критиковать!..»  
Но все – одной минуты дело:  
Сын быстро ищет ворота  
(Уже больница заперта),  
Он за звонок берется смело  
И входит... Лестница скрипит...  
Усталый, грязный от дороги

Он по ступенькам вверх бежит  
Без жалости и без тревоги...  
Свеча мелькает... Господин  
Загородил ему дорогу  
И, всматриваясь, молвит строго:  
«Вы – сын профессора?» – «Да,  
сын...»  
Тогда (уже с любезной миной):  
«Прошу вас. В пять он умер.  
Там...»

Отец в гробу был сух и прям.  
Был нос прямой – а стал орлиный.  
Был жалок этот смятый одр,  
И в комнате, чужой и тесной,  
Мертвец, собравшийся на смотр,  
Спокойный, желтый, бессловес-  
ный...  
«Он славно отдохнет теперь», —  
Подумал сын, спокойным взгля-  
дом  
Смотря в отворенную дверь...  
(С ним кто-то неотлучно рядом  
Глядел туда, где пламя свеч,  
Под веяньем неосторожным  
Склоняясь, озарит тревожно  
Лик желтый, туфли, узость плеч,

---

И, выпрямляясь, слабо чертит  
Другие тени на стене...

А ночь стоит, стоит в окне...)

И мыслит сын: «Где ж праздник  
Смерти?»

Отцовский лик так странно  
тих...

Где язвы дум, морщины муки,  
Страстей, отчаянья и скуки?

Иль смерть смела бесследно их?»

—

Но все утомлены. Покойник  
Сегодня может спать один.

Ушли родные. Только сын

Склонен над трупом... Как разбой-  
ник,

Он хочет осторожно снять  
Кольцо с руки оцепенелой...

(Неопытному трудно смело  
У мертвых пальцы разгибать.)

И только преклонив колени  
Над самой грудью мертвеца,

Увидел он, какие тени

Легли вдоль этого лица...

Когда же с непокорных пальцев  
Кольцо скользнуло в жесткий

гроб,

Сын окрестил отцовский лоб,

Прочтя на нем печать скитальцев,  
Гонимых по миру судьбой...  
Поправил руки, образ, свечи,  
Взглянул на вскинутые плечи  
И вышел, молвив: «Бог с тобой».

Да, сын любил тогда отца  
Впервой – и, может быть, в последний,  
Сквозь скуку панихид, обедней,  
Сквозь пошлость жизни без конца...  
Отец лежал не очень строго:  
Торчал измятый клочок волос;  
Все шире с тайною тревогой  
Вскрывался глаз, сгибался нос;  
Улыбка жалкая кривила  
Неплотно сжатые уста...  
Но разложение – красота  
Неизъяснимо победила...  
Казалось, в этой красоте  
Забыл он долгие обиды  
И улыбался суете  
Чужой военной панихиды...  
А чернь старалась, как могла:  
Над гробом говорили речи;  
Цветками дама убрала

Его приподнятые плечи;  
Потом на ребра гроба лег  
Свинец полоскою бесспорной  
(Чтоб он, воскреснув, встать не  
мог).  
Потом, с печалью непритворной,  
От паперти казенной прочь  
Тащили гроб, давя друг друга...  
Бесснежная визжала вьюга.  
Злой день сменяла злая ночь.

По незнакомым площадям  
Из города в пустое поле  
Все шли за гробом по пятам...  
Кладбище называлось: «Воля».  
Да! Песнь о воле слышим мы,  
Когда могильщик бьет лопатой  
По глыбам глины желтоватой;  
Когда откроют дверь тюрьмы;  
Когда мы изменяем женам,  
А жены – нам; когда, узнав  
О поруганьи чьих-то прав,  
Грозим министрам и законам  
Из запертых на ключ квартир;  
Когда проценты с капитала  
Освободят от идеала;  
Когда... – На кладбище был мир,  
И впрямь пахнуло чем-то воль-

ным:

Кончалась скука похорон.  
Здесь радостный галдеж ворон  
Сливался с гулом колокольным...  
Как пусты ни были сердца,  
Все знали: эта жизнь – сгорела...  
И даже солнце поглядело  
В могилу бедную отца.

Глядел и сын, найти пытаюсь  
Хоть в желтой яме что-нибудь...  
Но все мелькало, расплываясь,  
Слепя глаза, стесняя грудь...  
Три дня, как три тяжелых года!  
Он чувствовал, как стынет  
кровь...  
Людская пошлость? Иль – погода?  
Или – сыновняя любовь? —  
Отец от первых лет сознанья  
В душе ребенка оставлял  
Тяжелые воспоминанья.  
Отца он никогда не знал.  
Они встречались лишь случайно,  
Живя в различных городах,  
Столь чуждые во всех путях  
(Быть может, кроме самых тай-  
ных).  
Отец ходил к нему, как гость,

Согбенный, с красными кругами  
Вкруг глаз. За вялыми словами  
Нередко шевелилась злость...  
Внушал тоску и мысли злые  
Его циничный, тяжкий ум,  
Грязня туман сыновних дум.  
(А думы глупые, младые...)  
И только добрый льстивый взор,  
Бывало, упадал украдкой  
На сына, странною загадкой  
Врываясь в нудный разговор...  
Сын помнит: в детской, на диване  
Сидит отец, куря и злясь;  
А он, безумно расшальясь,  
Вертится пред отцом в тумане...  
Вдруг (злое, глупое дитя!) —  
Как будто бес его толкает,  
И он стремглав отцу вонзает  
Булавку около локтя...  
Растерян, побледнев от боли,  
Тот дико вскрикнул...  
Этот крик  
С внезапной яркостью возник  
Здесь, над могилою, на «Воле», —  
И сын очнулся... Вьюги свист;  
Толпа; могильщик холм ровняет;  
Шуршит и бьется бурый лист...  
И женщина навзрыд рыдает

Неудержимо и светло...  
Никто с ней не знаком. Чело  
Покрыто траурной фатой.  
Что там? Небесной красотой  
Оно сияет? Или – там  
Лицо старухи некрасивой,  
И слезы катятся лениво  
По провалившимся щекам?  
И не она ль тогда в больнице  
Гроб вместе с сыном стерегла?..  
Вот, не открыв лица, ушла...  
Чужой народ кругом толпится...  
И жаль отца, безмерно жаль:  
Он тоже получил от детства  
Флобера странное наследство —  
Education sentimentale[26].  
От панихид и от обедней  
Избавлен сын: но в отчий дом  
Идет он. Мы туда пойдём  
За ним и бросим взгляд последний  
На жизнь отца (чтобы уста  
Поэтов не хвалили мира!).  
Сын входит. Пасмурна, пуста  
Сырая, темная квартира...  
Привыкли чудачком считать  
Отца – на то имели право:  
На всем покоилась печать  
Его тоскующего нрава;



Он был профессор и декан:  
Имел ученые заслуги;  
Ходил в дешевый ресторан  
Поестъ – и не держал прислуги;  
По улице бежал бочком  
Поспешно, точно пес голодный.  
В шубенке никуда не годной  
С потрепанным воротником:  
И видели его сидевшим  
На груди почернелых шпал;  
Здесь он нередко отдыхал,  
Впряясь взглядом опустевшим  
В прошедшее... Он «свел на нет»  
Все, что мы в жизни ценим стро-  
го:

Не освежалась много лет  
Его убогая берлога;  
На мебели, на грудях книг  
Пыль стлалась серыми слоями;  
Здесь в шубе он сидеть привык  
И печку не топил годами;  
Он все берег и в кучу нес:  
Бумажки, лоскутки материй,  
Листочки, корки хлеба, перья,  
Коробки из-под папирос,  
Белья нестиранного груды,  
Портреты, письма дам, родных  
И даже то, о чем в своих

Стихах рассказывать не буду...  
И наконец – убогий свет  
Варшавский падал на киоты  
И на повестки и отчеты  
«Духовно-нравственных бесед»...  
Так, с жизнью счет сводя печаль-  
ный,  
Презревши молодости пыл,  
Сей Фауст, когда-то радикаль-  
ный,  
«Правел», слабел... и все забыл:  
Ведь жизнь уже не жгла – чадила,  
И однозвучны стали в ней  
Слова: «свобода» и «еврей»...  
Лишь музыка – одна будила  
Отяжелевшую мечту:  
Брюзжащие смолкали речи;  
Хлам превращался в красоту;  
Прямилась сгорбленные плечи;  
С нежданной силой пел рояль,  
Будя неслыханные звуки:  
Проклятия страстей и скуки,  
Стыд, горе, светлую печаль...  
И наконец – чахотку злую  
Своею волей нажил он,  
И слез в лечебницу плохую  
Сей современный Гарпагон...

Так жил отец: скупцом, забытым  
Людьми, и Богом, и собой,  
Иль псом бездомным и забытым  
В жестокой давке городской.  
А сам... Он знал иных мгновений  
Незабываемую власть!  
Недаром в скуку, смрад и страсть  
Его души – какой-то гений  
Печальный залетал порой;  
И Шумана будили звуки  
Его озлобленные руки,  
Он ведал холод за спиной...  
И, может быть, в преданьях тем-  
ных  
Его слепой души, впотьмах —  
Хранилась память глаз огромных  
И крыл, изломанных в горах...  
В ком смутно брезжит память  
эта,  
Тот странен и с людьми не схож:  
Всю жизнь его – уже поэта  
Священная объемлет дрожь,  
Бывает глух, и слеп, и нем он,  
В нем почивает некий бог,  
Его опустошает Демон,  
Над коим Врубель изнемог...  
Его прозрения глубоки,  
Но их глушит ночная тьма,

И в снах холодных и жестоких  
Он видит «Горе от ума».  
Страна – под бременем обид,  
Под игом наглого насилья —  
Как Ангел, опускает крылья,  
Как женщина, теряет стыд.  
Безмолвствует народный гений,  
И голоса не подает,  
Не в силах сбросить ига лени,  
В полях затерянный народ.  
И лишь о сыне, ренегате,  
Всю ночь безумно плачет мать,  
Да шлет отец врагу проклятье  
(Ведь старым нечего терять!..).  
А сын – он изменил отчизне!  
Он жадно пьет с врагом вино,  
И ветер ломится в окно,  
Взывая к совести и к жизни...

Не так же ль и тебя, Варшава,  
Столица гордых поляков,  
Дремать принудила орава  
Военных русских пошляков?  
Жизнь глухо кроется в подпольи,  
Молчат магнатские дворцы,  
Лишь Пан-Мороз во все концы  
Свирепо рыщет на раздольи!  
Неистово взлетит над вами

Его седая голова,  
Иль откидные рукава  
Взметутся бурей над домами,  
Иль конь заржет – и звоном  
струн  
Ответит телеграфный провод,  
Иль вздернет Пан взбешенный по-  
вод,  
И четко повторит чугуна  
Удары мерзлого копыта  
По опустелой мостовой...  
И вновь, поникнув головой,  
Безмолвен Пан, тоской убитый...  
И, странствуя на злом коне,  
Бряцает шпорою кровавой...  
Мечь! Мечь! – Так эхо над Вар-  
шавой  
Звенит в холодном чугуне!

Еще светлы кафэ и бар'ы,  
Торгует телом «Новый Свет»,  
Кишат бесстыдные троттуары,  
Но в переулках – жизни нет,  
Там тьма и вьюги завыванье...  
Вот небо сжалилось – и снег  
Глушит трескучей жизни бег,  
Несет свое очарованье...  
Он вьется, стелется, шуршит.

Он – тихий, вечный и старинный...  
Герой мой милый и невинный,  
Он и тебя запорошит,  
Пока бесцельно и тоскливо,  
Едва похоронив отца,  
Ты бродишь, бродишь без конца  
В толпе больной и похотливой...  
Уже ни чувств, ни мыслей нет,  
В пустых зеницах нет сиянья,  
Как будто сердце от скитанья  
Состарилось на десять лет...  
Вот робкий свет фонарь роняет...  
Как женщина, из-за угла  
Вот кто-то льстиво подполза-  
ет...  
Вот подольстилась, подползла,  
И сердце торопливо сжала  
Невыразимая тоска,  
Как бы тяжелая рука  
К земле пригнула и прижала...  
И он уж не один идет,  
А точно с кем-то новым вме-  
сте...  
Вот быстро под гору ведет  
Его «Краковское Предместье»;  
Вот Висла – снежной бури ад...  
Ища защиты за домами,  
Стуча от холода зубами,

Он повернул опять назад...  
Опять над сферою Коперник  
Под снегом в думу погружен...  
(А рядом – друг или соперник —  
Идет тоска...) Направо он  
Поворотил – немного в гору...  
На миг скользнул ослепший взор  
По православному собору...  
(Какой-то очень важный вор,  
Его построив, не достроил...)  
Герой мой быстро шаг удвоил,  
Но скоро изнемог опять —  
Он начинал уже дрожать  
Непобедимой мелкой дрожью,  
(В ней все мучительно сплелось:  
Тоска, усталость и мороз...)  
Уже часы по бездорожью  
По снежному скитался он  
Без сна, без отдыха, без цели...  
Стихает злобный визг метели.  
И на Варшаву сходит сон...  
Куда ж еще идти? Нет мочи  
Бродить по городу всю ночь. —  
Теперь уж некому помочь!  
Теперь он – в самом сердце ночи!  
О, черен взор твой, ночи тьма,  
И сердце каменное глухо,  
Без сожаленья и без слуха,

Как те ослепшие дома!..  
Лишь снег порхает – вечный, бе-  
лый,  
Зимой – он площадь оснежит,  
И мертвое засыплет тело,  
Весной – ручьями побежит...  
Но в мыслях моего героя  
Уже почти несвязный бред...  
Идет... (По снегу вьется след  
Один, но их, как было, двое...)  
В ушах – какой-то смутный  
звон...  
Вдруг – бесконечная ограда  
Саксонского, должно быть, сада...  
К ней тихо прислонился он...

Когда ты загнан и забит  
Людьми, заботой, иль тоскою;  
Когда под гробовой доскою  
Все, что тебя пленяло, спит;  
Когда по городской пустыне,  
Отчаявшийся и больной,  
Ты возвращаешься домой,  
И тяжелит ресницы иней,  
Тогда – остановись на миг  
Послушать тишину ночную:  
Постигнешь слухом жизнь иную,  
Которой днем ты не постиг;



По-новому окинешь взглядом  
Даль снежных улиц, дым костра,  
Ночь, тихо ждущую утра  
Над белым, запущенным садом,  
И небо – книгу между книг;  
Найдешь в душе опустошенной  
Вновь образ матери склоненный,  
И в этот несравненный миг —  
Узоры на стекле фонарном,  
Мороз, оледенивший кровь,  
Твоя холодная любовь —  
Все вспыхнет в сердце благодар-  
ном,  
Ты все благословишь тогда,  
Поняв, что жизнь – безмерно бо-  
ле,  
Чем quantum satis[27] Бранда во-  
ли,  
А мир – прекрасен, как всегда.

.....

# Двенадцать

## 1

Черный вечер.  
Белый снег.  
Ветер, ветер!  
На ногах не стоит человек.  
Ветер, ветер —  
На всем Божьем свете!

Завивает ветер  
Белый снежок.  
Под снежком – ледок.  
Скользко, тяжело,  
Всякий ходок  
Скользит – ах, бедняжка!

От здания к зданию  
Протянут канат.  
На канате – плакат:  
«Вся власть Учредительному Со-  
бранию!»  
Старушка убивается – плачет,  
Никак не поймет, что значит,  
На что такой плакат,  
Такой огромный лоскут?  
Сколько бы вышло портянок для

ребят,  
А всякий – раздет, разут...

Старушка, как курица,  
Кой-как перемотнулась через сугроб.  
– Ох, Матушка-Заступница!  
– Ох, большевики загонят в гроб!

Ветер хлесткий!  
Не отстает и мороз!  
И буржуй на перекрестке  
В воротник упрятал нос.

А это кто? – Длинные волосы  
И говорит вполголоса:  
– Предатели!  
– Погибла Россия!  
Должно быть, писатель —  
Вития...

А вон и долгополый —  
Сторонкой – за сугроб...  
Что нынче невеселый,  
Товарищ поп?

Помнишь, как бывало  
Брюхом шел вперед,

И крестом сияло  
Брюхо на народ?

Вон барыня в каракуле  
К другой подвернулась:  
– Ужь[28] мы плакали, плакали...  
Поскользнулась  
И – бац – растянулась!

Ай, ай!  
Тяни, подымай!

Ветер веселый  
И зол, и рад.  
Крутит подолы,  
Прохожих косит,  
Рвет, мнет и носит  
Большой плакат:  
«Вся власть Учредительному Со-  
бранию»...  
И слова доносит:

...И у нас было собрание...  
...Вот в этом здании...  
...Обсудили —  
Постановили:  
На время – десять, на ночь – два-  
дцать пять...

...И меньше – ни с кого не брать...  
...Пойдем спать...  
Поздний вечер.  
Пустеет улица.  
Один бродяга  
Сутулится,  
Да свищет ветер...  
Эй, бедняга!  
Подходи —  
Поцелуемся...  
Хлеба!  
Что впереди?  
Проходи!  
Черное, черное небо.  
Злоба, грустная злоба  
Кипит в груди...  
Черная злоба, святая злоба...  
Товарищ! Гляди  
В оба!

## 2

Гуляет ветер, порхает снег.  
Идут двенадцать человек.

Винтовок черные ремни,  
Кругом – огни, огни, огни...

В зубах – цыгарка, примят кар-

туз,  
На спину б надо бубновый туз!

Свобода, свобода,  
Эх, эх, без креста!

Тра-та-та!

Холодно, товарищи, холодно!

– А Ванька с Катькой – в кабаке...  
– У ей керенки есть в чулке!

– Ванюшка сам теперь богат. —  
– Был Ванька наш, а стал солдат!

– Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,  
Мую, попробуй, поцелуй!

Свобода, свобода,  
Эх, эх, без креста!  
Катька с Ванькой занята —  
Чем, чем занята?..  
Тра-та-та!

Кругом – огни, огни, огни...  
Оплечь – ружейные ремни...

*Революционный держите шаг!  
Неугомонный не дремлет враг!*

*Товарищ, винтовку держи, не  
трусь!  
Пальнем-ка пулей в Святую Русь  
—*

*В кондовую,  
В избяную,  
В толстозадую!*

*Эх, эх, без креста!*

### **3**

*Как пошли наши ребята  
В красной гвардии служить —  
В красной гвардии служить —  
Буйну голову сложить!*

*Эх ты, горе-горькое,  
Сладкое житье!*

*Рваное пальтишко,  
Австрийское ружье!  
Мы на горе всем буржуям  
Мировой пожар раздуем,  
Мировой пожар в крови —*

*Господи, благослови!*

**4**

*Снег крутит, лихач кричит,  
Ванька с Катькою летит —  
Електрический фонарик  
На оглобелях...  
Ах, ах, пади!..*

*Он в шинелишке солдатской  
С физиономией дурацкой  
Крутит, крутит черный ус,  
Да покручивает,  
Да пошучивает...*

*Вот так Ванька – он плечист!  
Вот так Ванька – он речист!  
Катьку-дуру обнимает,  
Заговаривает...*

*Запрокинулась лицом,  
Зубки блещут жемчугом...  
Ах ты, Катя, моя Катя,  
Толстоморденькая...*

**5**

*У тебя на шее, Катя,  
Шрам не зажил от ножа.*



У тебя под грудью, Катя,  
Та царапина свежа!

Эх, эх, попляши!  
Больно ножки хороши!

В кружевном белье ходила —  
Походи-ка, походи!

С офицерами блудила —  
Поблуди-ка, поблуди!

Эх, эх, поблуди!  
Сердце екнуло в груди!

Помнишь, Катя, офицера —  
Не ушел он от ножа...  
Аль не вспомнила, холера?  
Али память не свежа?

Эх, эх, освежи,  
Спать с собою положи!

Гетры серые носила,  
Шоколад Миньон жрала,  
С юнкерьем гулять ходила —  
С солдатьем теперь пошла?

Эх, эх, согреси!  
Будет легче для души!

6

...Опять навстречу несется  
вскачь,  
Летит, вопит, орет лихач...

Стой, стой! Андрюха, помогай!  
Петруха, сзади забегай!..

Трах, тарарах-тах-тах-тах-тах!  
Вскрутился к небу снежный  
прах...

Лихач – и с Ванькой – наутек...  
Еще разок! Взводи курок!..

Трах-тарарах! Ты будешь знать,  
.....  
Как с девочкой чужой гулять!..

Утек, подлец! Ужо, постой,  
Расправлюсь завтра я с тобой!

А Катька где? – Мертва, мертва!  
Простреленная голова!

Что Катька, рада? – Ни гу-гу...  
Лежи ты, падаль, на снегу!

Революционный держите шаг!  
Неугомонный не дремлет враг!

7

И опять идут двенадцать,  
За плечами – ружьеца.  
Лишь у бедного убийцы  
Не видать совсем лица...

Все быстрее и быстрее  
Уторапливает шаг.  
Замотал платок на шею —  
Не оправиться никак...

– Что, товарищ, ты не весел?  
– Что, дружок, оторопел?  
– Что, Петруха, нос повесил,  
Или Катьку пожалел?

– Ох, товарищи, родные,  
Эту девку я любил...  
Ночки черные, хмельные  
С этой девкой проводил...  
– Из-за удали бедовой  
В огневых ее очах,

Из-за родинки пунцовой  
Возле правого плеча,  
Загубил я, бестолковый,  
Загубил я сгоряча... ах!

– Ишь, стервец, завел шарманку,  
Что ты, Петька, баба что ль?

– Верно, душу наизнанку  
Вздумал вывернуть? Изволь!

– Поддержи свою осанку!

– Над собой держи контроль!

– Не такое нынче время,  
Чтобы нянчиться с тобой!

Потяжеле будет бремя

Нам, товарищ дорогой!

И Петруха замедляет

Торопливые шаги...

Он головку вскидывает,

Он опять повеселел...

Эх, эх!

Позабавиться не грех!

Запирайте этажи,

Нынче будут грабежи!

Отмыкайте погреба —

Гуляет нынче голытьба!

Ох ты, горе-горькое!  
Скука скучная,  
Смертная!  
Ужь я времячко  
Проведу, проведу...  
Ужь я темячко  
Почешу, почешу...  
Ужь я семячки  
Полушу, полушу...  
Ужь я ножичком  
Полосну, полосну!..

Ты лети, буржуй, воробышком!  
Выпью кровушку  
За зазнобушку,  
Чернобровушку...

Упокой, Господи, душу рабы Твоея...

Скучно!

## 9

Не слышно шуму городского,  
Над невской башней тишина,  
И больше нет городского —  
Гуляй, ребята, без вина!

Стоит буржуй на перекрестке  
И в воротник упрятал нос.  
А рядом жметесь шерстью жест-  
кой  
Поджавший хвост паршивый пес.

Стоит буржуй, как пес голодный,  
Стоит безмолвный, как вопрос.  
И старый мир, как пес безродный,  
Стоит за ним, поджавши хвост.

## 10

Разыгралась чтой-то вьюга,  
Ой, вьюга́, ой, вьюга́!  
Не видать совсем друг друга  
За четыре за шага!

Снег воронкой завился,  
Снег столбушкой поднялся...

– Ох, пурга какая, Спасе!  
– Петька! Эй, не завирайся!  
От чего тебя упас  
Золотой иконостас?  
Бессознательный ты, право,  
Рассуди, подумай здраво —  
Али руки не в крови  
Из-за Катькиной любви?

*– Шаг держи революционный!  
Близок враг неугомонный!*

*Вперед, вперед, вперед,  
Рабочий народ!*

## 11

*...И идут без имени святого  
Все двенадцать – вдаль.  
Ко всему готовы,  
Ничего не жаль...*

*Их винтовочки стальные  
На незримого врага...  
В переулочки глухие,  
Где одна пылит пурга...  
Да в сугробы пуховые —  
Не утянешь сапога...*

*В очи бьется  
Красный флаг.*

*Раздается  
Мерный шаг.*

*Вот – проснется  
Лютый враг...*

И вьюга пылит им в очи  
Дни и ночи  
Напролет...  
Вперед, вперед,  
Рабочий народ!

## 12

...Вдаль идут державным шагом...

– Кто еще там? Выходи!  
Это – ветер с красным флагом  
Разыгрался впереди...

Впереди – сугроб холодный,  
– Кто в сугробе – выходи!..  
Только нищий пес голодный  
Ковыляет позади...

– Отвяжись ты, шелудивый,  
Я штыком пощекочу!  
Старый мир, как пес паршивый,  
Провались – поколочу!

...Скалит зубы – волк голодный —  
Хвост поджал – не отстает —  
Пес холодный – пес безродный ...  
– Эй, откликнись, кто идет?



– Кто там машет красным фла-  
гом?

– Приглядишься-ка, эка тьма!

– Кто там ходит беглым шагом,  
Хоронясь за все дома?

– Все равно, тебя добуду,  
Лучше сдайся мне живьем!

– Эй, товарищ, будет худо,  
Выходи, стрелять начнем!

Трах-тах-тах! – И только эхо  
Откликается в домах...

Только вьюга долгим смехом  
Заливается в снегах...

Трах-тах-тах!

Трах-тах-тах...

... Так идут державным шагом —

Позади – голодный пес,

Впереди – с кровавым флагом,

И за вьюгой невидим,

И от пули невредим,

Нежной поступью надвьюжной,

Снежной россыпью жемчужной,

В белом венчике из роз —

Впереди – Иус Христос.

1918

# Театр

«Балаганчик» – первая лирическая драма Блока, развернутое драматическое представление одноименного стихотворения. В издании 1916 года появилось посвящение В. Э. Мейерхольду, первому постановщику этой пьесы (он играл Пьеро).

Лирическая драма «Незнакомка», по замыслу Блока, развивает тему нескольких его стихотворений 1906 года – «Незнакомка», «Твое лицо бледней, чем было...», «Шлейф, забрызганный звездами...», «Там, в ночной, зывающей стуже...» – для которых значим образ женщины-кометы.

Драматические произведения поэта печатаются по изд.: Блок А. Собр. соч. в 6 т. Т. 3. Л., 1981.



ТЕАТРЪ

АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ  
ЛИРИЧЕСКІЯ  
ДРАМЫ

•БАЛАГАНЧИКЪ•  
•КОРОЛЬ НА ПЛОЩАДИ  
•НЕЗНАКОМКА•

# Балаганчик

*Посвящается Всеволоду Эмильевичу  
Мейерхольду*

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Коломбина.

Пьеро.

Арлекин.

Мистики обоего пола в сюртуках и модных платьях, а потом в масках и маскарадных костюмах.

Председатель мистического собрания.

Три пары влюбленных.

Паяц.

Автор.

*Обыкновенная театральная комната с тремя стенами, окном и дверью. У освещенного стола с сосредоточенным видом сидят мистики обоего пола – в сюртуках и модных платьях. Несколько поодаль, у окна, сидит Пьеро в белом балахоне, мечтательный, расстроенный, бледный, безусый и безбровый, как все Пьеро. Мистики некоторое время молчат.*

Первый мистик

*Ты слушаешь?*

Второй мистик

*Да.*

Третий мистик

*Наступит событие.*

Пьеро

*О, вечный ужас, вечный мрак!*

Первый мистик

*Ты ждешь?*

Второй мистик

*Я жду.*

Третий мистик

*Уж близко прибытие:  
За окном нам ветер подал знак.*

Пьеро

*Неверная! Где ты? Сквозь улицы  
сонные  
Протянулась длинная цепь фона-  
рей,*

И, пара за парой, идут влюблен-  
ные,  
Согретые светом любви своей.  
Где же ты? Отчего за последней  
парою  
Не вступить и нам в назначенный  
круг?  
Я пойду бренчать печальной ги-  
тарою  
Под окно, где ты пляшешь в хоре  
подруг!  
Нарумяню лицо мое, лунное, блед-  
ное,  
Нарисую брови и усы приклею.  
Слышишь ты, Коломбина, как  
сердце бедное  
Тянет, тянет грустную песню  
свою?

*Пьеро размечтался и оживился. Но из-за занавеса сбоку вылезает обеспокоенный Автор.*

Автор

Что он говорит? Почтеннейшая публика! Спешу уверить, что этот актер жестоко насмеялся над моими авторскими правами. Действие происходит зимой в Петербурге. Откуда

же он взял окно и гитару? Я писал мою драму  
не для балагана... Уверяю вас...

*Внезапно застыдившись своего неожиданного появления, прячется обратно за занавес.*

Пьеро

(Он не обратил внимания на Автора.  
Сидит и мечтательно вздыхает)

*Коломбина!*

Первый мистик

*Ты слушаешь?*

Второй мистик

*Да.*

Третий мистик

*Приближается дева из дальней страны.*

Первый мистик

*О, как мрамор – черты!*

Второй мистик

*О, в очах – пустота!*

Третий мистик

*О, какой чистоты и какой белизны!*

Первый мистик

*Подойдет – и мгновенно замрут  
голоса.*

Второй мистик

*Да. Молчанье наступит.*

Третий мистик

*Надолго ли?*

Первый мистик

*Да.*

Второй мистик

*Вся бела, как снега.*

Третий мистик

*За плечами – коса.*

Первый мистик

*Кто ж она?*

*Второй наклоняется и что-то шеп-*



*чет на ухо первому.*

Второй мистик

*Ты не выдашь меня?*

Первый мистик (*в неподдельном ужасе*)

*Никогда!*

*Автор опять испуганно высовывается,  
но быстро исчезает, как будто его от-  
тянул кто-то за фалды.*

Пьеро (*по-прежнему мечтательно*)

*Колумбина! Приди!*

Первый мистик

*Тише! Слышишь шаги!*

Второй мистик

*Слышу шелест и вздохи.*

Третий мистик

*О, кто среди нас?*

Первый мистик

*Кто в окне?*

Второй мистик

*Кто за дверью?*

Третий мистик

*Не видно ни зги.*

Первый мистик

*Посвети. Не она ли пришла в  
этот час?*

*Второй мистик поднимает свечу. Совершенно неожиданно и непонятно откуда появляется у стола необыкновенно красивая девушка с простым и тихим лицом матовой белизны. Она в белом. Равнодушен взор спокойных глаз. За плечами лежит заплетенная коса. Девушка стоит неподвижно. Восторженный Пьеро молитвенно опускается на колени. Заметно, что слезы душат его. Все для него – неизреченно. Мистики в ужасе откинулись на спинки стульев. У одного беспомощно болтается нога. Другой производит странные движения рукой. Третий выкатил глаза. Через некоторое время очнувшись, громко шепчут:*

– Прибыла!

- Как бела ее одежда!
- Пустота в глазах ее!
- Черты бледны, как мрамор!
- За плечами коса!
- Это – смерть!

*Пьеро услышал. Медленно поднявшись, он подходит к девушке, берет ее за руку и выводит на середину сцены. Он говорит голосом звонким и радостным, как первый удар колокола.*

Пьеро

Господа! Вы ошибаетесь! Это – Коломбина!  
Это – моя невеста!

*Общий ужас. Руки всплеснулись. Фалды сюртуков раскачиваются. Председатель собрания торжественно подходит к Пьеро.*

Председатель

Вы с ума сошли. Весь вечер мы ждали событий. Мы дождались. Она пришла к нам – тихая избавительница. Нас посетила смерть.

Пьеро (звонким детским голосом)

Я не слушаю сказок. Я – простой человек.  
Вы не обманете меня. Это – Коломбина. Это –

моя невеста.

Председатель

Господа! Наш бедный друг сошел с ума от страха. Он никогда не думал о том, к чему мы готовились всю жизнь. Он не измерил глубин и не приготовился встретить покорно Бледную Подругу в последний час. Простим великодушно простеца. *(Обращается к Пьеро.)* Брат, тебе нельзя оставаться здесь. Ты помещаешь нашей последней вечере. Но, прошу тебя, взглядишь еще раз в ее черты: ты видишь, как бела ее одежда; и какая бледность в чертах; о, она бела, как снега на вершинах! Очи ее отражают зеркальную пустоту. Неужели ты не видишь косы за плечами? Ты не узнаешь смерти?

*Пьеро (по бледному лицу бродит растерянная улыбка)*

Я ухожу. Или вы правы, и я – несчастный сумасшедший. Или вы сошли с ума – и я одинокий, непонятый вздыхатель. Носи меня, вьюга, по улицам! О, вечный ужас! Вечный мрак!

*Коломбина (идет к выходу вслед за Пьеро)*  
Я не оставлю тебя.

*Пьеро остановился, растерян. Председатель умоляюще складывает руки.*

**Председатель**

*Легкий призрак! Мы всю жизнь ждали тебя! Не покидай нас!*

*Появляется стройный юноша в платье Арлекина. На нем серебристыми голосами поют бубенцы.*

**Арлекин (подходит к Коломбине)**

*Жду тебя на распутьях, подруга,  
В серых сумерках зимнего дня!  
Над тобою поет моя вьюга,  
Для тебя бубенцами звеня!*

*Он кладет руку на плечо Пьеро. – Пьеро свалился навзничь и лежит без движения в белом балахоне. Арлекин уводит Коломбину за руку. Она улыбнулась ему. Общий упадок настроения. Все безжизненно повисли на стульях. Рукава сюртуков вытянулись и закрыли кисти рук, будто рук и не было. Головы ушли в воротники. Кажется, на стульях висят пустые сюртуки. Вдруг Пьеро вскочил и убежал. Занавес сдвигается. В ту же минуту на подмости*

*перед занавесом высказывает взъерошенный и взволнованный Автор.*

Автор

Милостивые государи и государыни! Я глубоко извиняюсь перед вами, но снимаю с себя всякую ответственность! Надо мной издеваются! Я писал реальнейшую пьесу, сущность которой считаю долгом изложить перед вами в немногих словах: дело идет о взаимной любви двух юных душ! Им преграждает путь третье лицо; но преграды наконец падают, и любящие навеки соединяются законным браком! Я никогда не рядил моих героев в шутовское платье! Они без моего ведома разыгрывают какую-то старую легенду! Я не признаю никаких легенд, никаких мифов и прочих пошлостей! Тем более – аллегорической игры словами: неприлично называть косой смерти женскую косу! Это порочит дамское сословие! Милостивые государи...

*Высунувшаяся из-за занавеса рука хватает Автора за шиворот. Он с криком исчезает за кулисой. Занавес быстро раздергивается.*

*Бал. Маски кружатся под тихие звуки*

танца. Среди них прогуливаются другие маски, рыцари, дамы, паяцы. Грустный Пьеро сидит среди сцены на той скамье, где обыкновенно целуются Венера и Тангейзер.

Пьеро

Я стоял меж двумя фонарями  
И слушал их голоса,  
Как шептались, закрывшись плащами,  
Целовала их ночь в глаза.

И свила серебристая вьюга  
Им венчальный перстень-кольцо.  
И я видел сквозь ночь – подруга  
Улыбнулась ему в лицо.

Ах, тогда в извозчичьи сани  
Он подругу мою усадил!  
Я бродил в морозном тумане,  
Издали за ними следил.

Ах, сетями ее он опутал  
И, смеясь, звенел бубенцом!  
Но, когда он ее закутал, —  
Ах, подруга свалилась ничком!

Он ее ничем не обидел,  
Но подруга упала в снег!  
Не могла удержаться сидя!..  
Я не мог сдержать свой смех!..

И, под пляску морозных игол,  
Вкруг подруги картонной моей —  
Он звенел и высоко прыгал,  
Я за ним плясал вкруг саней!

И мы пели на улице сонной:  
«Ах, какая потряслась беда!»  
А вверху – над подругой картон-  
ной —  
Высоко зеленела звезда.

И всю ночь по улицам снежным  
Мы брели – Арлекин и Пьеро...  
Он прижался ко мне так нежно,  
Щекотало мне нос перо!

Он шептал мне: «Брат мой, мы  
вместе,  
Неразлучны на много дней...  
Погрустим с тобой о невесте,  
О картонной невесте твоей!»

Пьеро грустно удаляется. Через неко-



*торое время на той же скамье обнару-  
живается пара влюбленных. Он в го-  
лубом, она в розовом, маски – цвета  
одежд. Они вообразили себя в церкви и  
смотрят вверх, в купола.*

Она

*Милый, ты шепчешь – «скло-  
нись...»  
Я, лицом опрокинута, в купол  
смотрю.*

Он

*Я смотрю в непомерную высь —  
Там, где купол вечернюю принял  
зарю.*

Она

*Как вверху позолота ветха.  
Как мерцают вверху образа.*

Он

*Наша сонная повесть тиха.  
Ты безгрешно закрыла глаза.*

*Поцелуй.*

Она

*...Кто-то темный стоит у колон-  
ны  
И мигает лукавым зрачком!  
Я боюсь тебя, влюбленный!  
Дай закрыться твоим плащом!*

*Молчание.*

Он

*Посмотри, как тихи свечи,  
Как заря в куполах занялась.*

Она

*Да. С тобою сладки нам встречи.  
Пусть я сама тебе предалась.*

*Прижимается к нему. Первую пару скрывает от зрителей тихий танец масок и паяцов. В середину танца врывается вторая пара влюбленных. Впереди она в черной маске и вьющемся красном плаще. Позади – он – весь в черном, гибкий, в красной маске и черном плаще. Движения стремительны. Он гонится за ней, то настигая, то обгоняя ее. Вихрь плащей.*

Он

*Оставь меня! Не мучь, не преследуй!*

*Участи темной мне не пророчь!  
Ты торжествуешь свою победу!  
Снимешь ли маску? Канешь ли в  
ночь?*

Она

*Иди за мной! Настигни меня!  
Я страстней и грустней невесты  
твоей!  
Гибкой рукой обними меня!  
Кубок мой темный до дна испей!*

Он

*Я клялся в страстной любви –  
другой!  
Ты мне сверкнула огненным  
взглядом,  
Ты завела в переулок глухой,  
Ты отравила смертельным ядом!*

Она

*Не я манила, – плащ мой летел  
Вихрем за мной – мой огненный  
друг!  
Ты сам вступить захотел  
В мой очарованный круг!*

Он

*Смотри, колдунья! Я маску сниму!*

*И ты узнаешь, что я безлик!*

*Ты смелá мне черты, завела во тьму,*

*Где кивал, кивал мне – черный двойник!*

Она

*Я – вольная дева! Путь мой – к победам!*

*Иди за мной, куда я веду!*

*О, ты пойдешь за огненным следом*

*И будешь со мной в бреду!*

Он

*Иду, покорен участи строгой,  
О, вейся, плащ, огневой проводник!  
Но трое пойдут зловещей дорогой:*

*Ты – и я – и мой двойник!*

*Исчезают в вихре плащей. Кажется, за ними вырвался из толпы кто-то третий, совершенно подобный влюбленному, весь – как гибкий язык черного пла-*

*мени.*

*В среде танцующих обнаружилась третья пара влюбленных. Они сидят посреди сцены.*

*Средневековье. Задумчиво склонившись, она следит за его движениями. – Он, весь в строгих линиях, большой и задумчивый, в картонном шлеме, – чертит перед ней на полу круг огромным деревянным мечом.*

Он

Вы понимаете пьесу, в которой мы играем не последнюю роль?

Она *(как тихое и внятное эхо)*

Роль.

Он

Вы знаете, что маски сделали нашу сегодняшнюю встречу чудесной?

Она

Чудесной.

Он

Так вы верите мне? О, сегодня вы прекрасней, чем всегда.

Она

Всегда.

Он

Вы знаете все, что было и что будет. Вы поняли значение начертанного здесь круга.

Она

Круга.

Он

О, как пленительны ваши речи! Разгадчица души моей! Как много ваши слова говорят моему сердцу!

Она

Сердцу.

Он

О, Вечное Счастье! Вечное Счастье!

Она

Счастье.

Он *(со вздохом облегчения и торжества)*

Близок день. На исходе – эта зловещая  
ночь.

Она

Ночь.

*В эту минуту одному из паяцов пришло в голову выкинуть шутку. Он подбегает к влюбленному и показывает ему длинный язык. Влюбленный бьет с размаху паяца по голове тяжким деревянным мечом. Паяц перегнулся через*

*рампу и повис. Из головы его брызжет струя клюквенного сока.*

*Паяц (пронзительно кричит)*

*Помогите! Истекаю клюквенным соком!*

*Поболтавшись, удаляется.*

*Шум. Суматоха. Веселые крики: «Факелы! Факелы! Факельное шествие!» Появляется хор с факелами. Маски толпятся, смеются, прыгают.*

*Хор*

*В сумрак – за каплей капля смолы  
Падает с легким треском!  
Лица, скрытые облаком мглы,  
Озаряются тусклым блеском!  
Капля за каплей, искра за искрой!  
Чистый, смолистый дождь!  
Где ты, сверкающий, быстрый,  
Пламенный вождь!*

*Арлекин выступает из хора, как корифей.*

*Арлекин*

*По улицам сонным и снежным  
Я таскал глупца за собой!  
Мир открылся очам мятежным,*

Снежный ветер пел надо мной!  
О, как хотелось юной грудью  
Широко вздохнуть и выйти в мир!  
Совершить в пустом безлюдьи  
Мой веселый весенний пир!  
Здесь никто понять не смеет,  
Что весна плывет в вышине!  
Здесь никто любить не умеет,  
Здесь живут в печальном сне!  
Здравствуй, мир! Ты вновь со  
мною!  
Твоя душа близка мне давно!  
Иду дышать твоей весною  
В твое золотое окно!

Прыгает в окно. Даль, видимая в окне,  
оказывается нарисованной на бумаге.  
Бумага лопнула. Арлекин полетел  
вверх ногами в пустоту. В бумажном  
разрыве видно одно светящееся небо.  
Ночь истекает, копошится утро. На  
фоне занимающейся зари стоит, чуть  
колеблемая дорассветным ветром, –  
Смерть, в длинных белых пеленах, с  
матовым женственным лицом и с ко-  
сой на плече. Лезвие серебрится, как  
опрокинутый месяц, умирающий  
утром. Все бросились в ужасе в разные



стороны. Рыцарь споткнулся на деревянный меч. Дамы разроняли цветы по всей сцене. Маски, неподвижно прижавшиеся, как бы распятые у стен, кажутся куклами из этнографического музея. Любовницы спрятали лица в плащи любовников. Профиль голубой маски тонко вырезывается на утреннем небе. У ног ее испуганная, коленопреклоненная розовая маска прижалась к его руке губами. Как из земли выросший Пьеро медленно идет через всю сцену, простирая руки к Смерти. По мере его приближения черты Ее начинают оживать. Румянец заиграл на матовости щек. Серебряная коса теряется в стелющемся утреннем тумане. На фоне зари, в нише окна, стоит с тихой улыбкой на спокойном лице красивая девушка – Коломбина. В ту минуту, как Пьеро подходит и хочет коснуться ее руки своей рукой, – между ним и Коломбиной просовывается торжествующая голова Автора.

Автор

Почтеннейшая публика! Дело мое не проиграно! Права мои восстановлены! Вы види-

те, что преграды рухнули! Этот господин провалился в окошко! Вам остается быть свидетелями счастливого свиданья двух влюбленных после долгой разлуки! Если они потратили много сил на преодоление препятствий, – то теперь зато они соединяются навек!

*Автор хочет соединить руки Коломбины и Пьеро. Но внезапно все декорации взвиваются и улетают вверх. Маски разбегаются. Автор оказывается склоненным над одним только Пьеро, который беспомощно лежит на пустой сцене в белом балахоне своем с красными пуговицами. Заметив свое положение, Автор убегает стремительно.*

Пьеро (приподнимается и говорит жалобно и мечтательно)

*Куда ты завел? Как угадать?  
Ты предал меня коварной судьбе.  
Бедняжка Пьеро, довольно ле-  
жать,  
Пойди, поищи невесту себе.*

(Помолчав.)

*Ах, как светла – та, что ушла*

*(Звенящий товарищ ее увел).  
Упала она (из картона была).  
А я над ней смеяться пришел.*

*Она лежала ничком и бела.  
Ах, наша пляска была весела!  
А встать она уж никак не могла.  
Она картонной невестой была.*

*И вот, стою я, бледен лицом,  
Но вам надо мной смеяться грешно.  
Что делать! Она упала ничком...  
Мне очень грустно. А вам смешно?*

*Пьеро задумчиво вынул из кармана дудочку и заиграл песню о своем бледном лице, о тяжелой жизни и о невесте своей Коломбине.*

1906

## Незнакомка

*На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована в черном шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона; волосы, по-видимому темно-русые, были убраны просто, по-домашнему; глаза темные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худая лицом, может быть, и бледна...*  
Достоевский

– А как вы узнали, что это я? Где вы меня видели прежде? Что это, в самом деле, я как будто его где-то видела?

– Я вас тоже будто видел где-то?

– Где? – Где?

– Я ваши глаза точно где-то видел... да этого быть не может! Это я так... Я здесь никогда и не был... Может быть, во сне...

Достоевский

# ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Незнакомка.

Голубой.

Звездочет.

Поэт.

Посетители кабачка и гостиной.

Два дворника.

## Первое видение

*Уличный кабачок. Подрагивает бело-матовый свет ацетиленового фонаря в смятом колпачке. На обоях изображены совершенно одинаковые корабли с огромными флагами. Они взрезают носами голубые воды. За дверью, которая часто раскрывается, впуская посетителей, и за большими окнами, украшенными плющом, идут прохожие в шубах и девушки в платочках – под голубым вечерним снегом. За прилавком, на котором водружена бочка с гномом и надписью «Кружка-бокал», – двое совершенно похожих друг на друга: оба с коками и проборами, в зеленых фартуках; только у хозяина усы вниз, а у брата его, полового, усы вверх. У одного окна, за столиком, сидит пьяный старик – вылитый Вер-*

лэн, у другого – безусый бледный человек – вылитый Гауптман. Несколько пьяных компаний.

## Разговор в одной компании

Один

Купил я эту шубу за двадцать пять рублей. А тебе, Сашка, меньше тридцати ни за что не уступлю.

Другой (убедительно и с обидой)

Да врешь ты!.. Да вот поди ж ты... Я тебе...

Третий (усатый, кричит)

Молчать! Не ругаться! Еще бутылочку, любезный.

*Половой подбегает. Слышно, как булькает пиво. Молчание. Одинокий посетитель поднимается из угла и неверной походкой идет к прилавку. Начинает шарить в блестящей посудине с вареными раками.*

Хозяин

Позвольте, господин. Так нельзя. Вы у нас всех раков руками переберете. Никто кушать не станет.

*Посетитель, мыча, отходит.*

## Разговор в другой компании

Семинарист

И танцевала она, милый друг ты мой, скажу я тебе, как небесное создание. Просто взял бы ее за белые ручки и прямо в губки, скажу тебе, поцеловал...

Собутыльник (*визгливо хохочет*)

Эка, эка, Васинька-то наш, размигтался, заалел, как маков цвет! А что она тебе за любовь-то? За любовь-то что?.. А?..

*Все визгливо хохочут.*

Семинарист (*совсем красный*)

И, милый друг ты мой, скажу тебе, нехорошо смеяться. Так бы вот взял ее, и унес бы от нескромных взоров, и на улице плясала бы она передо мной на белом снегу... как птица, летала бы. И откуда мои крылья взялись, – сам полетел бы за ней, над белыми снегами...

*Все хохочут.*

Второй собутыльник

Ты, Васька, смотри, того, по первопутку-то не очень полетишь...

Первый собутыльник

Тебе бы по морозцу-то легче, а то с твоей милой как раз в грязь угодишь...

Второй собутыльник

Мичтатель.

Семинарист (*совсем осоловел*)

Эх, милые друзья, в семинарии не учась, скажу я вам, вы нежных чувств не понимаете. А впрочем, еще бы пивца...

Верлэн (*бормочет громко, сам с собою*)

Каждому свое. Каждому свое...

*Гауптман делает выразительные знаки половому. Входят рыжий мужчина и девушка в платочке.*

Девушка (*половому*)

Бутылку портеру, Миша. (*Продолжает быстро рассказывать мужчине.*) ... только она, милый мой, вышла, хватить – забыла хозяйку пивом угостить. Сейчас – назад, а уж он комод открыл, да и роется, все перерыл, все перерыл, думал – не скоро вернется... Она, милый мой, кричат, а он, милый мой, ей рот зажимать. Ну, все-таки хозяйка прибежала, да сама кричат, да дворника позвала; так его, милый мой, сейчас в участок... (*Быстро пре-*



рывает.) Дай двугривенный.

*Мужчина хмуро вынимает двугривенный.*

Девушка

Тебе нешто жалко?

Мужчина

Пей, да помалкивай.

*Молчат. Пьют. Вбегают молодой человек и радостно бросается к Гауптману.*

Молодой человек

Костя, друг, она у дверей дожидает!..

Гауптман

Ладно. Пошляется еще. Давай выпьем.

Верлэн (*громко бормочет*)

И всем людям – свое занятие... И каждому – свое беспокойство.

*Входит Поэт. Подзывает полового.*

Поэт

Угостить вас?

Половой (*прирожденный юморист*)

Великая честь-с... От знаменитого лица-с...

*Убегает за пивом. Поэт вынимает за-*

*писную книжку. Тишина. Ацетилен шипит. Похрустывают бублики. Половой приносит Поэту бутылку пива и садится на край стула против него.*

Поэт

Вы послушайте только. Бродить по улицам, ловить отрывки незнакомых слов. Потом – прийти вот сюда и рассказать свою душу подставному лицу.

Половой

Непонятно-с, но весьма утонченно-с...

*Срывается со стула и бежит на зов посетителя. Поэт пишет в книжке.*

Девушка (*напевает*)

*Как люблю я ее...  
А она за любовь...*

*Половой возвращается к Поэту.*

Поэт (*пьет*)

Видеть много женских лиц. Сотни глаз, больших и глубоких, синих, темных, светлых. Узких, как глаза рыси. Открытых широко, младенчески. Любить их. Желать их. Не может быть человека, который не любит. И вы

их должны любить.

Половой

Слушаю-с.

Поэт

И среди этого огня взоров, среди вихря взоров, возникнет внезапно, как бы расцветет под голубым снегом – одно лицо; единственно прекрасный лик Незнакомки, под густую, темной вуалью... Вот качаются перья на шляпе... Вот узкая рука, стянутая перчаткой, держит шелестящее платье... Вот медленно проходит она... проходит она...

*Жадно пьет.*

Верлэн (бормочет)

И все проходит. И каждому – своя забота.

Семинарист (заплетающимся языком)

Танцевала она, как небесный, скажу вам, ангел, а вы, черти и разбойники, не стойте ее мизинца. А впрочем, выпьем.

Собутыльник

Мичтатель. Оттого и пьешь. И все мы – мичтатели. Поцелуй меня, дружок.

*Обнимаются.*

Семинарист

И никто ее так не полюбит, как я. И будем мы на белом снегу свою грустную жизнь доживать. Она – плясать, а я – на шарманке играть. И полетим. И под самый серебряный месяц залетим. И туда, черт возьми, скажу я вам, дурацким вашим грязным носам, милые друга, не соваться. И все-таки я очень вас люблю и высоко ставлю. Кто из одной бутылки не пивал, тот и дружбы не видал.

*Все хохочут.*

Собутыльник

Ай да Васька! Уж очень складно! Поцелуемся, дружок.

Молодой человек (*Гауптману*)

Однако ж будет. Что ей столько на морозе дожидать? Замерзнет совсем. Пойдем, брат Костя.

Гауптман

Брось. Если женскому нраву потакать, так от мужчины ничего не останется – только ему в рожу плюнуть. Пусть пошляется, а мы еще посидим.

*Молодой человек послушался. Все посе-*

*тители пьют и хмелеют. Человек в желтом трепаном пальто, сидевший отдельно, встает и обращается к честной компании с речью.*

Человек в пальто

Государи мои! Есть у меня небольшая вещь – весьма ценная миниатюра. (*Вытаскивает из кармана камю.*) Вот-с, не угодно ли: с одной стороны – изображение эмблемы, а с другой – приятная дама в тюнике на земном шаре сидит и над этим шаром держит скипетр: подчиняйтесь, мол, повинуйтесь – и больше ничего!

*Все одобрительно смеются. Некоторые подходят и рассматривают камю.*

Поэт (*захмелевший*)

Вечная сказка. Это – Она – Мироправительница. Она держит жезл и повелевает миром. Все мы очарованы Ею.

Человек в пальто

Рад служить русской интеллигенции. Дешево продам, хотя досталось не дешево, но уж, как говорится, только по дружбе. Вижу,

что любитель. Ну, так по рукам.

*Поэт дает ему монету. Берет камешку, рассматривает ее. Человек в пальто садится на свое место. Разговор продолжается только между двумя, сидящими за отдельным столиком.*

*Первый (берет юмористический журнал)*

*А теперь пришло время нам повеселиться. Ну, Ваня, слушай (торжественно разворачивает журнал и читает): «Любящие супруги. Муж: – Ты, милочка, зайди сегодня к мамаше и попроси ее...»*

*Заранее отчаянно хохочет.*

*Второй*

*Ишь, черт возьми, здорово!*

*Первый (продолжает читать)*

*«...И попроси ее... подарить Катеньке куколку...»*

*Страшно хохочет.*

*Первый (читает)*

*«Жена: – Что ты, милочка! Катеньке уж скоро двадцать лет. (Еле может прочесть от смеха.) Ей уж не куколку, а женишка пора по-*

дарить».

*Громовой хохот.*

Второй

Вот так здорово!

Первый

Что называется, отбрила!

Второй

Черт их дери, ловко пишут!..

*И опять одинокий посетитель шарит в посудине. Он вытаскивает красных раков за клешни. Поддержит и положит. И опять хозяин отгоняет его.*

Поэт (рассматривает камю)

Вечное возвращение. Снова Она объемлет шар земной. И снова мы подвластны Ее очарованию. Вот Она кружит свой процветающий жезл. Вот Она кружит меня... И я кружусь с Нею... Под голубым... под вечерним снегом...

Семинарист

Танцует... Танцует... Я на шарманке, а она под шарманку... (Делает пьяные жесты, как будто что-то ловит.) Вот, не поймал... опять не поймал... но и вам, черти, не поймать, если

уж мне не поймать...

*Медленно, медленно начинают кружиться стены кабачка. Потолок наклоняется, один конец его протягивается вверх бесконечно. Корабли на обоях, кажется, плывут близко, а все не могут доплыть. Сквозь смутный общий говор Человек в пальто, уже присоседившийся к кому-то, кричит.*

Человек в пальто

Нет-с, я любитель! Люблю острый сыр, знаете, такой круглый! (Делает кругообразные жесты.) Забыл название.

Его собеседник (неуверенно)

А вы... пробовали?

Человек в пальто

Что пробовал? Вы думаете, нет? Я рошефор кушал!

Собеседник (под которым качается стул)

А знаете... люксем-бургский... так пахнет нехорошо... и шевелится, шевелится... (Чмокает губами, шевелит пальцами.)

Человек в пальто (вдохновенно встает)

Швейцарский!.. Вот что-с! (Щелкает пальцами.)



Собеседник (*мигает и сомневается*)

Ну, этим не удивите...

Человек в пальто (*громко, как ружейный залп*)

Бри!

Собеседник

Ну это... это... знаете...

Человек в пальто (*угрожающе*)

Что знаете?

Собеседник (*уничтожен*)

Все вертится, кажется, перевернется сейчас. Корабли на обоях плывут, вспенивая голубые воды. Одну минуту кажется, что все стоит вверх ногами.

Верлэн (*бормочет*)

И всему свой черед... И всем пора идти домой...

Гауптман (*орет*)

Шлюха она, ну и пусть шляется! А мы выпьем!

Девушка (*поет в ухо мужчине*)

Прощай, желанный мой...

Семинарист

Снег танцует. И мы танцуем. И шарманка плачет. И я плачу. И мы все плачем.

Поэт

Синий снег. Кружится. Мягко падает. Синие очи. Густая вуаль. Медленно проходит Она. Небо открылось. Явись! Явись!

*Весь кабачок как будто нырнул куда-то. Стены расступаются. Окончательно наклонившийся потолок открывает небо – зимнее, синее, холодное. В голубых вечерних снегах открывается —*

### **Второе видение**

*Тот же вечер. Конец улицы на краю города. Последние дома, обрываясь внезапно, открывают широкую перспективу: темный пустынный мост через большую реку. По обеим сторонам моста дремлют тихие корабли с сигнальными огнями. За мостом тянется бесконечная, прямая, как стрела, аллея, обрамленная цепочками фонарей и белыми от инея деревьями. В воздухе порхает и звездится снег.*

**З**вездочет (на мосту)

*Ночь полнозвездная светла.  
У взора – только два крыла.*

Но счет звездам вести нельзя —  
Туманна млечная стезя,  
И бедный взор туманится...  
Кто этот пьяница?

Два дворника волокут под руки пьяного Поэта.

Разъяренные дворники

Он – посетитель кабачка,  
И с ним расправа коротка!  
Эй, Ванька, дай ему щелчка!  
Эй, Васька, дай ему толчка!

Волокут Поэта дальше.

Звездочет

Восходит новая звезда.  
Всех ослепительней она.  
Недвижна темная вода,  
И в ней звезда отражена.  
Ах! падает, летит звезда...  
Лети сюда! сюда! сюда!

По небу, описывая медленную дугу, ска-  
тывается яркая и тяжелая звезда. Че-  
рез миг по мосту идет прекрасная  
женщина в черном, с удивленным взо-

ром расширенных глаз. Все становится сказочным – темный мост и дремлющие голубые корабли. Незнакомка застывает у перил моста, еще храня свой бледный падающий блеск. Снег, вечно юный, одевает Ее плечи, опускает стан. Она, как статуя, ждет. Такой же Голубой, как Она, восходит на мост из темной аллеи. Так же в снегу. Так же прекрасен. Он колеблется, как тихое, синее пламя.

Голубой

В блеске зимней ночи тающая,  
Обрати ко мне свой лик.  
Ты, снегами тихо веющая,  
Подари мне легкий снег.

Она обращает очи к нему.

Незнакомка

Очи – звезды умирающие,  
Уклонившись от пути.  
О тебе, мой легковеющий,  
Я грустила в высоте.

Его голубой плащ осыпан снежными звездами.

Голубой

*В синеве твоей морозной  
Много звезд.  
Под рукой моей железной  
Светлый меч.*

Незнакомка

*Опусти в руке железной  
Светлый меч.  
В синеве моей морозной  
Звезд не счесть.*

*Голубой дремлет в бледном свете. На  
фоне плаща его светится луч, как буд-  
то он оперся на меч.*

Голубой

*Протекали столетья, как сны,  
Долго ждал я тебя на земле.*

Незнакомка

*Протекали столетья, как миги.  
Я звездою в пространствах тек-  
ла.*

Голубой

*Ты мерцала с твоей высоты*

*На моем голубом плаще.*

Незнакомка

*Ты гляделся в мои глаза.  
Часто на́ небо смотришь ты?*

Голубой

*Больше взора поднять не могу:  
Тобою, падучей, скован мой взор.*

Незнакомка

*Ты можешь сказать мне земные  
слова?  
Отчего ты весь в голубом?*

Голубой

*Я слишком долго в небо смотрел:  
Оттого – голубые глаза и плащ.*

Незнакомка

*Кто ты?*

Голубой

*Поэт.*

Незнакомка

*О чем ты поешь?*

Голубой

*Все о тебе.*

Незнакомка

*Давно ли ты ждешь?*

Голубой

*Много столетий.*

Незнакомка

*Ты мертв или жив?*

Голубой

*Не знаю.*

Незнакомка

*Ты юн?*

Голубой

*Я красив.*

Незнакомка

*Падучая дева-звезда  
Хочет земных речей.*

Голубой

*Только о тайнах знаю слова,*

*Только торжественны речи мои.*

Незнакомка

*Знаешь ты имя мое?*

Голубой

*Не знаю – и лучше не знать.*

Незнакомка

*Видишь ты очи мои?*

Голубой

*Вижу. Как звезды – они.*

Незнакомка

*Ты видишь мой стройный стан?*

Голубой

*Да. Ослепительна ты.*

*В голосе Ее просыпается земная  
страсть.*

Незнакомка

*Ты хочешь меня обнять?*

Голубой



*Я коснуться не смею тебя.*

Незнакомка

*Ты можешь коснуться уст.*

*Плащ Голубого колеблется, исчезая  
под снегом.*

Незнакомка

*Ты знаешь ли страсть?*

Голубой (тихо)

*Кровь молчалива моя.*

Незнакомка

*Ты знаешь вино?*

Голубой (еще тише)

*Звездный напиток – слаще вина.*

Незнакомка

*Ты любишь меня?*

*Голубой молчит.*

Незнакомка

*Кровь запекает во мне.*

*Тишина.*

Незнакомка

*Ядом исполнено сердце.  
Я стройнее всех ваших дев.  
Я красивее ваших дам.  
Я страстнее ваших невест.*

*Голубой дремлет, весь осыпанный снегом.*

*Как сладко у вас на земле!*

*Голубого больше нет. Закружился голубоватый снежный столб, и кажется, на этом месте и не было никого. Зато рядом с Незнакомкой проходящий господин приподнимает котелок.*

Господин

*Вы с кем-то беседу вели?  
Но здесь не видать никого.*

*Прелестный ваш голос звучал  
В пространстве пустом...*

Незнакомка

*Где он?*

Господин

*О, да, без сомнения, вы  
Кого-то ждали сейчас!  
Позвольте – нескромный вопрос...  
Кто был ваш незримый друг?*

Незнакомка

*Он был красив. В голубом плаще.*

Господин

*О, романтика женской души!  
И на улице видите вы  
Мужчин в голубых плащах!  
Но как же звали его?*

Незнакомка

*Он назвал себя: поэт.*

Господин

*Я тоже поэт! я тоже поэт!  
По крайней мере, смотря  
В прекрасные ваши глаза,  
Я мог бы спеть вам куплет:  
«Ах, как ты хороша!»*

Незнакомка

*Ты хочешь любить меня?*

Господин

*О, да! И очень не прочь.*

Незнакомка

*Ты можешь обнять меня?*

Господин

*Хотел бы знать, почему  
Не могу я тебя обнять?*

Незнакомка

*И, уст касаясь моих,  
Ты будешь ласкать меня?*

Господин

*Пойдем, красотка моя!  
«Исполню все, что велишь»,  
Как сказал старичок Шекспир...  
Ты видишь теперь, что и я  
Поэзии очень не чужд!*

*Незнакомка покорно дает ему руку.*

Господин

*Как имя твое?*

Незнакомка

*Постой.  
Дай вспомнить. В небе, среди  
звезд,  
Не носила имени я...  
Но здесь, на синей земле,  
Мне нравится имя Мария...  
Мария – зови меня.*

Господин

*Как хочешь, красотка моя.  
Ведь мне лишь только бы знать,  
Что ночью тебе шептать.*

*Уводит Незнакомку под руку. След их  
заметает голубой снег. Звездочет сно-  
ва на мосту. Он – в тоске. Простирает  
руки в небо. Поднял взоры.*

Звездочет

*Нет больше прекрасной звезды!  
Синяя бездна пуста!  
Я ритмы утратил  
Астральных песен моих!  
Отныне режут мне слух  
Дребезжащие песни светил!  
Сегодня в башне моей  
Скорбной рукой занесу  
В длинные свитки мои*

Весть о паденьи светлейшей звезд-  
ды...  
И тихо ее назову  
Именем дальним,  
Именем, нежащим слух:  
Мария – да будет имя ее.  
В желтых свитках  
Начертано будет  
Моей одинокой рукой:  
«Пала Мария – звезда.  
Больше не будет смотреть мне в  
глаза.  
Звездочет остался один!»

Тихо плачет. Поэт поднимается на  
мост из аллеи.

Поэт

О, заклинаю вас всем святым!  
Вашей тоской!  
Вашей невестой, когда  
Есть невеста у вас!  
Скажите, была ли здесь  
Высокая женщина в черном?

Звездочет

Грубые люди! Оставьте меня.  
Я женщин не вижу с тех пор,

*Как пала моя звезда.*

Поэт

*Понятна мне ваша скорбь.  
Я так же, как вы, одинок.  
Вы, верно, как я, – поэт.  
Случайно не видели ль вы  
Незнакомку в снегах голубых?*

Звездочет

*Не помню. Здесь многие шли,  
И очень прискорбно мне,  
Что вашей не мог я узнать...*

Поэт

*О, если б видели вы, —  
Забыли б свою звезду!*

Звездочет

*Не вам говорить о звездах;  
Чересчур легкомысленны вы,  
И я попросил бы вас  
В мою профессию нос не совать.*

Поэт

*Все ваши обиды снесу!  
Поверьте, унижен я  
Ничуть не меньше, чем вы...*

*О, если б я не был пьян,  
Я шел бы следом за ней!  
Но двое тащили меня,  
Когда я заметил ее...  
Потом я упал в сугроб,  
Они, ругаясь, ушли,  
Решившись бросить меня...  
Не помню, долго ль я спал...  
Проснувшись, вспомнил, что снег  
Замел ее нежный след!*

Звездочет

*Я смутно припомнить могу  
Печальную вещь для вас;  
Действительно, вас вели,  
Вам давали толчки и пинки,  
И был неуверен ваш шаг...  
Потом я помню сквозь сон,  
Как на мост дама взошла,  
И к ней подошел голубой господин...*

Поэт

*О, нет!.. Голубой господин...*

Звездочет

*Не знаю, о чем говорили они.  
Я больше на них не смотрел.*



*Потом они, верно, ушли...  
Я так был занят своим...*

Поэт

*И снег замел их следы!..  
Мне больше не встретить Ее!  
Встречи такие  
Бывают в жизни лишь раз...*

*Оба плачут под голубым снегом.*

Звездочет

*Стоит ли плакать об этом?  
Гораздо глубже горе мое:  
Я утратил астральный ритм!*

Поэт

*Я ритм души потерял.  
Надеюсь, это – важней!*

Звездочет

*Скорбь занесет в мои свитки:  
«Пала звезда – Мария!»*

Поэт

*Прекрасное имя: Мария!  
Я буду писать в стихах:  
«Где ты, Мария?»*

*Не вижу зари я».*

Звездочет

*Ну, ваше горе пройдет!  
Вам надо только стихи  
Как можно длинней сочинять!  
О чем же плакать тогда?*

Поэт

*А вам, господин звездочет,  
Довольно в свитки свои  
На пользу студентам вписать:  
«Пала Мария – Звезда!»*

*Оба грустят под голубым снегом. Пропадают в нем. И снег грустит. Он запылил уже и мост, и корабли. Он построил белые стены на канве деревьев, вдоль стен домов, на телеграфных проволоках. И даль земная, и даль речная поднялись белыми стенами, так что все бело, кроме сигнальных огней на кораблях и освещенных окон домов. Снежные стены уплотняются. Они кажутся близкими одна к другой. Понемногу открывается —*

**Третье видение**

большая гостиная комната с белыми стенами, на которых ярко горят электрические лампы. Дверь в переднюю открыта. Тоненький звонок часто извещает о приходе гостей. На диванах, креслах и стульях уже сидят хозяева и гости; хозяйка дома – пожилая дама, как бы проглотившая аршин; перед нею – корзинка с бисквитами, ваза с фруктами и чашка дымящегося чаю; против нее – глухой старик с глупым лицом жует и хлебает. Молодые люди, в безукоризненных смокингах, частью разговаривают с другими дамами, частью толпятся стадами в углах. Общий гул бессмысленных разговоров. Хозяин дома встречает гостей в передней и каждому сначала деревянным голосом кричит: «А-а-а!», а потом говорит пошлость. В настоящий момент он занят тем же.

**Х**озяин дома (в передней)

А-а-а! Ну и закутались же вы, батюшка!  
Голос гостя

И холод же, доложу я вам! В шубе – и то замерз.

Гость сморкается. Так как разговор

*в гостиной почему-то исчерпался, слышно, как хозяин конфиденциально говорит гостю:*

Хозяин

А где шили?

Гость

У Шевалье.

*Из двери торчат фалды хозяйского сюртука. Хозяин рассматривает шубу.*

Хозяин

А сколько платили?

Гость

Тысячу.

*Хозяйка, стараясь замять разговор, кричит:*

Хозяйка

Сher[29] Иван Павлович! Идите скорее! Только вас и ждали! Вот, Аркадий Романович обещался нам сегодня спеть!

*Аркадий Романович, подходя к хозяйке, делает различные жесты, должствующие показать, что он невысокого о себе мнения. Хозяйка жестами же старается показать ему обратное.*

Молодой человек Жорж

Совершенная дура твоя Серпантини, Миша. Так танцевать, как она вчера, значит – не иметь никакого стыда.

Молодой человек Миша

Ты, Жорж, ровно ничего не понимаешь! Я совершенно влюблен. Это – для немногих. Вспомни, у нее совсем классическая фигура – руки, ноги...

Жорж

Я пошел туда затем, чтобы наслаждаться искусством. На ножки я могу смотреть и в другом месте.

Хозяйка

О чем это вы там, Георгий Николаевич? Ах, о Серпантини! Какой ужас, не правда ли? Во-первых, – интерпретировать музыку – это уж одно – наглость. Я так страстно люблю музыку и ни за что, ни за что не допущу, чтоб над ней надругались. Потом – танцевать без костюма – это... это я не знаю что! Я увела мою дочь.

Жорж

Я совершенно согласен с вами. А вот Михаил Иванович – другого мнения...

Хозяйка

Что вы, Михаил Иванович! По-моему, здесь двух мнений не может быть! Я понимаю, молодым людям свойственно увлекаться, но на публичном концерте... когда ногами изображают Баха... Я сама музыкантша... страстно люблю музыку... Как хотите...

*Старик, сидящий против хозяйки, неожиданно и просто выпаливает:*

Старик

Публичный дом.

*Продолжает хлебать чай и жевать бисквиты. Хозяйка краснеет и обращается к одной из дам.*

Миша

Ах, Жорж, все вы ничего не понимаете! Разве это – интерпретация музыки? Серпантини сама – воплощение музыки. Она плывет на волнах звуков, и, кажется, сам плывешь за нею. Неужели тело, его линии, его гармонические движения – сами по себе не поют так же, как звуки? Тот, кто истинно чувствует музыку, не оскорбляется за нее. У вас отвлеченное отношение к музыке...

Жорж

Мечтатель! Завел машину. Строишь какие-то теории и ничего не слушаешь и не видишь. Я о музыке даже не говорю, и мне в конце концов наплевать! И я был бы очень рад видеть все это в отдельном кабинете. Но согласишься же, не объявить на афише, что Серпантини будет завернута в одну тряпку, – это значит поставить всех в пренеловкое положение. Если б я знал, я не повел бы туда мою невесту. *(Миша рассеянно шарит в корзинке с бисквитами.)* Послушай, оставь бисквиты. Ведь противно есть, если все перетрогаешь. Смотри, как на тебя смотрит кузина. А все оттого, что ты рассеян. Эх, мечтатели.

*Миша, сконфуженно мыча, удаляется в другой угол.*

Старик *(внезапно, хозяйке)*

Нина! Сиди смирно. У тебя на спине платье расстегнулось.

Хозяйка *(вспыхнув)*

Да полно, дядя, нельзя же при всех! Вы слишком... откровенны...

*Старается незаметно застегнуть*

*платье. В комнату впархивает молодая дама, за ней идет огромный рыжий господин.*

Дама

Ах, здравствуйте, здравствуйте! Вот, позвольте вас познакомить: мой жених.

Рыжий господин

Очень приятно.

*Угрюмо удаляется в угол.*

Дама

Пожалуйста, не обращайтесь на него внимания. Он очень застенчив. Ах, представьте, какой случай!..

*Торопливо пьет чай и шепотом рассказывает хозяйке что-то пикантное, судя по тому, что обе ерзают по дивану и хихикают.*

Дама (вдруг оборачивается к жениху)

У тебя мой платок?

*Жених угрюмо вытаскивает платок.*

Дама

Тебе жалко, что ли?

Рыжий господин (неожиданно угрюмо)



Пей, да помалкивай.

*Молчат. Пьют. Вбегает молодой человек и радостно бросается к другому. В последнем легко узнать того, кто увел Незнакомку.*

Молодой человек

Костя, друг, да она у дверей дожидает...

*Запинается на полуслове. Все становится необычайно странным. Как будто все внезапно вспомнили, что где-то произносились те же слова и в том же порядке. Михаил Иванович смотрит странными глазами на Поэта, который входит в эту минуту. Поэт, бледный, делает общий поклон на пороге притихшей гостиной.*

Хозяйка (с натянутым видом)

Мы только вас и ждали. Надеюсь, вы прочтете нам что-нибудь. Сегодня престранный вечер! Наша мирная беседа не клеится.

Старик (выпаливает)

Точно кто-нибудь умер. Богу душу отдал.

Хозяйка

Ах, дядя, перестаньте! Вы всех окончательно спугнете... Господа! Обновим наш разгово-

вор... (Поэту.) Вы прочтете нам что-нибудь,  
не правда ли?

Поэт

С удовольствием... если это займет...

Хозяйка

Господа! Молчание! Наш прекрасный поэт  
прочтет нам свое прекрасное стихотворение,  
и, надеюсь, опять о прекрасной даме...

*Все замолкают. Поэт становится у  
стены, прямо против двери в перед-  
нюю, и читает:*

Поэт

*Уже сбегали с плит снега,  
Блестели, обнажаясь, крыши,  
Когда в соборе, в темной нише,  
Ее блеснули жемчуга.  
И от иконы в нежных розах  
Медлительно сошла Она...*

*Тоненький звонок в передней. Хозяйка  
умоляюще складывает руки по направ-  
лению к Поэту. Он прерывает чтение.  
Все с любопытством заглядывают в  
переднюю.*

Хозяин

Сию минуту. Прошу извинения.

*Выходит в переднюю, но не кричит там: «А-а-а!» Молчание.*

Голос хозяина

Чем могу служить?

*Женский голос отвечает что-то. Хозяин появляется на пороге.*

Хозяин

Ниночка, какая-то дама. Ничего не могу разобрать. Вероятно, к тебе. Извините, господа, извините...

*Сконфуженно улыбается во все стороны. Хозяйка идет в переднюю и запирает за собой дверь. Гости шепчутся.*

Молодой человек (в углу)

Да не может быть...

Другой (прячась за него)

Да уверяю тебя... вот скандал!.. Я слышал ее голос...

*Поэт стоит неподвижно против дверей. Двери открываются. Хозяйка вводит Незнакомку.*

Хозяйка

Господа, приятный сюрприз. Моя очаровательная новая знакомая. Надеюсь, мы примем ее с радостью в наш дружеский кружок. Мария... извините, я не расслышала, как вас называть?

Незнакомка

Мария.

Хозяйка

Но... ваше отчество?

Незнакомка

Мария. Я зову себя: Мария.

Хозяйка

Хорошо, милочка. Я буду звать вас: Мэри. В вас есть некоторая эксцентричность, не правда ли? Но тем веселее мы проведем сегодняшней вечер с нашей восхитительной гостьей. Не правда ли, господа?

*Все сконфужены. Неловкое молчание. Хозяин замечает, что один из гостей проскользнул в переднюю, и выходит за ним. Слышен извиняющийся шепот, слова: «Не совсем здоров». Поэт стоит неподвижно.*

Хозяйка

Итак, может быть, наш прекрасный поэт

продолжит прерванное чтение? Дорогая Мэри, когда вы вошли, наш известный поэт как раз читал нам... читал нам.

Поэт

Простите. Позвольте мне прочесть в другой раз. Я так извиняюсь. Никто не выражает неудовольствия. Поэт подходит к хозяйке, которая некоторое время делает умоляющие жесты, но скоро перестает. Поэт спокойно садится в дальний угол. Задумчиво смотрит на Незнакомку.

*Горничная разносит, что полагается. Из общего бессмысленного говора вырывается хохот, отдельные слова и целые фразы:*

Нет, как она танцевала! Да ты послушай! Русская интеллигенция...

Кто-то (особенно громко)

Да и вам не поймать! Да и вам не поймать!

*Все забыли о Поэте. Он медленно поднимается со своего места. Он проводит рукою по лбу. Делает несколько шагов назад и вперед по комнате. По лицу его заметно, что он с мучительным усилием припоминает что-то. В*

*это время из общего говора доносятся слова: «рокфор», «камамбер». Вдруг толстый человек, в страшном увлечении, делая кругообразные жесты, выскакивает на середину комнаты с криком:*

**Бри!**

*Поэт сразу останавливается. Мгновение кажется, что он вспомнил все. Он делает несколько быстрых шагов в сторону Незнакомки. Но дорогу ему заслоняет Звездочет в голубом вицмундире, входящий из передней.*

**Звездочет**

Извините, я в вицмундире и запоздал. Прямо из заседания. Пришлось делать доклад. Астрономия...

*Поднимает палец кверху.*

**Хозяин (подходя)**

Вот и мы только что говорили о гастрономии. Ниночка, не пора ли ужинать?

**Хозяйка (встает)**

Господа, прошу вас!

*Все выходят вслед за нею. В потемнев-*

*шей гостиной остаются некоторое время Незнакомка, Звездочет и Поэт. Поэт и Звездочет стоят в дверях, готовые выйти. Незнакомка медлит в глубине у темной полуоткрытой занавеси окна.*

Звездочет

Нам опять привелось встретиться с вами. Я очень рад. Но пусть обстоятельства нашей первой встречи останутся между нами.

Поэт

Прошу о том же и вас.

Звездочет

Я только что сделал доклад в астрономическом обществе – о том, чему вы были невольным свидетелем. Поразительный факт: звезда первой величины...

Поэт

Да, это очень интересно.

Звездочет (*восторженно*)

Да! Я занес в мои списки новый параграф: «Пала звезда Мария!» Наука в первый раз... Ах, извините, что я не спрашиваю вас о результатах ваших поисков...

Поэт

Поиски мои были безрезультатны.

*Он оборачивается в глубь комнаты.  
Безнадежно смотрит. На лице его –  
томление, в глазах – пустота и мрак.  
Он шатается от страшного напряже-  
ния. Но он все забыл.*

Хозяйка (на пороге)

Господа! Идите же в столовую! Я не вижу  
Мэри...

*Грозит им пальцем.*

Ах, молодые люди! Вы спрятали куда-ни-  
будь мою Мэри?

*Всматривается в глубь комнаты.*

Где же Мэри? Да где же Мэри?

*У темной занавеси уже нет никого. За  
окном горит яркая звезда. Падает го-  
лубой снег, такой же голубой, как виц-  
мундир исчезнувшего Звездочета.*

1906



# Проза поэта

## Душа писателя (заметки современника)

**П**исательская судьба – трудная, жуткая, коварная судьба. В наше время, в России – особенно. Кажется, никогда еще не приводилось писателям попадать в такое ложное положение, как теперь.

Последнее и единственно верное оправдание для писателя – голос публики, неподкупное мнение читателя. Что бы ни говорила «литературная среда» и критика, как бы ни захваливала, как бы ни злобствовала, – всегда должна оставаться надежда, что в самый нужный момент раздастся голос читателя, ободряющий или осуждающий. Это – даже не слово, даже не голос, а как бы легкое дуновение души народной, не отдельных душ, а именно – коллективной души. Без такой последней надежды едва ли можно даже слушать как следует голос критики: не все ли равно, что говорит обо мне такой-то, когда я

не знаю и никогда не узнаю, что думают обо мне «все»?

Если у нас и есть надежда услышать когда-нибудь это чудодейственное дуновение всеобщей души, – то это слабая, еле мерцающая надежда. Даже Леонид Андреев, самый «читаемый» и изучаемый из современных писателей, – тот, я думаю, никогда не знал этой высшей санкции, этого благословения или проклятия. Если бы знал, то исчезла бы навсегда его нервная торопливость, его метание из одного угла в противоположный, его плодовитость часто бесплодная.

Если уж говорить о вине, то вина в отсутствии таких санкций лежит, конечно, на самих писателях. Есть много талантливых писателей, и нет ни одного, который был бы «больше себя». Оттого нет «литературы». А ведь эта народная санкция, это безмолвное оправдание может поведать только одно: «Ты много ошибался, ты много падал, но я слышу, что ты идешь в меру своих сил, что ты бескорыстен и, значит, – можешь *стать больше себя*. И потому – этим вздохом о тебе я оправдываю тебя и благословляю тебя, – иди еще даль-

ше».

Всеобщая душа так же действенна и так же заявит о себе, когда понадобится, как всегда. Никакая общественная усталость не уничтожает этого верховного и векового закона. И, значит, приходится думать, что писатели не достойны услышать ее дуновение. Последним слышавшим был, кажется, Чехов. Все, кто после него, осуждены пока идти одиноко, без этой единственно-необходимой поддержки: идти и слушать за литературным и критическим гиканьем и свистом – угрожающее «безмолвие народа».

Не удивительно после этого, что почти все скоро теряют почву под ногами. Собственный голос начинает смешиваться с голосами близких соседей, случается, что лица и души становятся похожи одно на другое, как в кабаке. В литературном воздухе витает дух плагиата; обнагление и покаяние сменяют друг друга и теряют последнюю свою ценность – ценность первоначальности. С возрастанием всех этих явлений (а они растут с быстротою поганых грибов на гнилом пне) – литературное шествие приобретает характер случайной, улич-

ной давки, характер «домашних дел» и «дрязг», для усмирения которых часто довольно обыкновенного городского.

«Городовой» оказывается единственным «принципиальным» лицом в такой «беспочвенной» толпе. У него задача по крайней мере определенная: сделать так, чтобы не толпились, не мяли друг друга и не таскали кошельков из кармана. Он исполнит свою обязанность, разгонит кучку хулиганов, устроивших «литературное выступление», – и новые «теории» «беспочвенников» разлетаются пухом. Скверная, черная работа – работа городского, но, право, иногда, когда живешь на той самой улице, где происходило буйство, хочется благодарить его только за то, что он навел тишину и благообразие, прекратил наглый шум, от которого уши вянут. Случается, конечно, и так, что в безобразной давке, усмиряя хулиганов, он помнет и живую душу, а может быть, и навеки ее искалечит. Так искалечит, что потом уже не помогут никакие пособия, выдаваемые пострадавшей душе из участка.

Нет ничего легче, как потерять почву, за-

нимаясь исключительно «домашними делами». Это и есть «ахиллесова пята» всякой кружковщины; нигде не развиваются всякие болезни с такой быстротой, как в кружках.

Однако не всегда можно сказать с уверенностью, каким делом занимается писатель, – домашним или не домашним. Убеждаться в том или другом нужно с великой осмотрительностью, чтобы не принять случайного за постоянное, и наоборот.

Первым и главным признаком того, что данный писатель не есть величина случайная и временная, – является чувство *пути*. Эту истину, слишком известную, следует напоминать постоянно, и, особенно, в наше время. Рассматривая современных писателей с этой точки зрения, приходится усомниться во многих, даже признанных, а иных и совсем отвергнуть. Однако и при такой оценке нужно соблюдать осторожность, принимая во внимание все личные особенности и все особенности среды, из которой вышел писатель.

Писатель – растение многолетнее. Как у ириса или у лилии росту стеблей и листьев

сопутствует периодическое развитие корневых клубней, – так душа писателя расширяется и развивается периодами, а творения его – только внешние результаты подземного роста души. Потому путь развития может представляться прямым только в перспективе, следуя же за писателем по всем этапам пути, не ощущаешь этой прямизны и неуклонности, вследствие постоянных остановок и искривлений.

Как ирис и лилия требуют постоянного удобрения почвы, подземного брожения и гниения, так писатель может жить, только питаясь брожением среды. Очень часто (и теперь особенно) писатель быстро истощает свои силы, стараясь дать больше, чем он может. Подобное незнание меры своих сил можно наблюдать и у растений. Стебель увядает очень быстро, вытянув из клубней последние соки; когда почва не может восполнить соков, растение хиреет в течение нескольких лет, а иногда и вовсе погибает.

Несмотря на незыблемость и общеизвестность этих законов, очень многие молодые писатели склонны как будто их игнориро-

вать. Они уподобляются сорным травам, засевшим рядом с благородными породами и заглушающим их. В лучшем случае жирным «декоративным» растениям, страшно истощающим почву.

Очень трудно разглядеть дичающий ирис на поляне, покрытой огромными лопухами и затянувшейся снизу мокрицей. Всякий голос звучит фальшиво в огромной пустой зале, где из всех углов отвечает уродливое стократное эхо.

И потому – игнорирование всех этих пустоцветов и затыкание ушей от назойливого эхо собственного голоса (едва отзвучавшего) представляет еще одну трудную работу, притом – самодовлеющую, то есть – бесплодную. Впрочем, главное затруднение от этих досадных подробностей своего почвенного обихода писатель испытывает, главным образом, в необходимые и неизбежные периоды остановок в пути, прислушиваний, ощупыванья почвы и искания соков, чтобы напоить ими клубни для дальнейшего развития и роста.

Только наличием пути определяется

внутренний «такт» писателя, его *ритм*. Всего опаснее – утрата этого ритма. Неустанное напряжение внутреннего слуха, прислушивание как бы к отдаленной музыке есть неперемное условие писательского бытия. Только слыша музыку отдаленного «оркестра» (который и есть «мировой оркестр» души народной), можно позволить себе легкую «игру». Забвение этих истин, тоже очень известных художникам-профессионалам, сплошь и рядом производит недоумение и путаницу в современной критике. Критики вдруг способны «позволить играть» тем, кто не слышал ни отзвука «мирового оркестра» (многие современные поэты), и, наоборот, способны вдруг вознегодовать на игру, обусловленную законами ритма (например, в творчестве Федора Сологуба). Между тем предпосылкой всякого художественно-критического исследования должно быть непременно определение «ритмических фондов» художника, что касается поэтов и прозаиков в равной мере.

Раз ритм налицо, значит, творчество художника есть отзвук целого оркестра, то есть – отзвук души народной. Вопрос только в



степени удаленности от нее или близости к ней.

Знание *своего* ритма – для художника самый надежный щит от всякой хулы и похвалы. У современных художников, слушающих музыку, надежда на благословение души народной робка только потому, что они бесконечно удалены от нее. Но те, кто исполнен музыкой, услышат вздох всеобщей души, если не сегодня, то завтра.

*Февраль 1909*

## **Искусство и газета**

**М**ногие люди любят красивое. Красивое «в порядке вещей», оно – наше, здешнее. Не любить красивого просто очень трудно, для этого нужно – или быть уже очень забитым, замученным жизнью, или... знать что-нибудь о том, что больше, чем красивое, и больше, чем безобразное: о Прекрасном.

Прекрасного не любит почти никто. Точнее, Прекрасного не взять силами той любви, которой люди любят красивое, или умное, или доброе, или правдивое; которой они любят закат солнца, красивую женщину, строй-

ную диалектику, добрые дела.

Как все красивое в мире есть только блестящий покров, раскинутый над чем-то иным, к чему красивое – относится лишь как условный знак, – так сквозь все многообразные силы любви может пробиться струя иной силы, которую, может быть, и нельзя назвать силою любви; так сквозь все слова о красивом, о добром, о правдивом можно расслышать иные слова, по отношению к которым вся россыпь внешних слов окажется лишь покровом; так россыпь звезд, звездная риза, о которой говорят поэты, кроет за собою иное, о чем звезды только рассказывают нам на языке своих мерцаний.

Красивые звезды, на которые смотрит девушка с балкона, когда ночь благоухает розами и сеном; умные звезды, на которые смотрел Гейне; добрые звезды, которые указывали путь мореходам; все они – только покров, и за этим покровом сквозит Прекрасное; Прекрасное снится и девушке, и Гейне, и мореходу.

Прекрасное – вот мир тех сущностей, с которыми имеет дело искусство. Вот почему искусство нельзя любить как природу, как жен-

щину, как диалектику. Оно – не тот материал, с которым можно заигрывать или фамильярничать; его нельзя превозносить, им нельзя поступаться для чего бы то ни было. Им нельзя поступиться, от него можно только отступить. Оно – величаво. Об этом думал Пушкин, когда говорил:

*Служенье Муз не терпит суеты.  
Прекрасное должно быть велича-  
во.*

Только – величаво. Величавой может быть жизнь, величавой может быть смерть, величавой может быть гибель даже. Что несут с собою те миры, которые называются на нашем языке мирами искусства, какими бурями они нас ослепят, какие звуки преобладают в этом неведомом нам мировом оркестре, – мы не знаем; знаем мы лишь одно:

*Прекрасное должно быть велича-  
во.*

Искусство никого не обманет, не надо же им обманываться. Широкие круги публики к нему никогда не влеклись и теперь не влекутся, – и не надо им об этом знать; лучше че-

ловеку не слышать о Данте, Эсхиле, Шекспире, Пушкине, чем разменивать их на мелкие монеты, пленяться их правдами, их нравственностями, их красотами.

Чин отношения к искусству должен быть – медленный, важный, не суетливый, не рекламный. Речи об искусстве обязаны быть таковыми, и, если они таковыми не будут, рано или поздно зачинщики суеты будут наказаны, на голову их падет та медленная кара, которая тяжелее всех скорых людских кар. Искусство мстит само за себя, как древнее божество или как народная душа, испепеляя, стирая с лица земли все то, в чем лежит признак суеты, что пытается своими маленькими, торопливыми, задышающимися ритмами – заглушить его единственный и мерный ритм.

Газета по самой природе своей тороплива и буйна; чем быстрее ритм жизни, тем бешенее кричит политическая и всякая иная повседневность.

Является вопрос, можно ли в самом деле говорить на газетных страницах об искусстве, которое не имеет ничего общего с политикой. Которое даже не враждует с ней, потому что

миры искусства, до сей поры никогда в мире вполне не воплощавшиеся, относятся к политике приблизительно так же, как море относится к кораблю. Я говорю, конечно, не о содержании отношения, а указываю только масштабы.

По морю плывет рыбаки в Исландию или «Титаник» в Америку – все равно. Это – маленькая цивилизация, в которую вкраплены, как всегда, редкие бриллианты великих культур.

Поднимается буря или встречается ледяная гора – это неизвестная стихия, подобная стихии искусства, до сих пор не исследованная даже мировыми гениями, которые, даже величайшие из них, были несовершенными сравнительно «инструментами божества», не могли, отвлеченные, как все люди, заботами, услышать весь голос стихий.

В минуту бури или столкновения с ледяной горой над морем, над стихией возникает видение Креста, как в бретонских легендах. Это – религия, которая исполняет предчувствием и мирит со стихией, вероятно, и до сих пор скорее некультурных рыбаков, чем

цивилизированных миллиардеров с «Титаника».

Этой схемой, очень приблизительной, я хочу только указать на химический состав того воздуха, которым, по моему мнению, дышит и должен дышать как всякий художник, так и всякий толкующий о художестве, художественный критик. Ясное дело, что меньше всего в его душе «цивилизации», выборов в парламент, партийных интересов, банковских счетов.

Итак, душа искусства, которая во все времена имеет целью, – пользуясь языком, цветами и формами нашего мира как средством, воссоздавать «миры иные», – и душа газеты, которая имеет целью борьбу и заботы только нашего мира, или еще уже – нашей родины, или еще уже – нашего государства, – что им друг до друга?

В большинстве русских газет до сего времени взорам нашим представляется необыкновенно пошлая, но зато очень поучительная картина, смахивающая на какой-то трагический фарс, чье содержание сводится к тому, что тот, кого беспощадно унижают и секут,

все время преисполнен мыслью, что не только его не секут и не унижают, но сам он судит и рядит и держит в руках своих бразды правления. Этот фарс, представляемый с успехом на многих сценах русской жизни нашего переходного времени, – для нас, художников, особенно поучителен, *разумеется, в области отношений искусства к газете и газеты к искусству.*

В самом деле: в большинстве газет отдел искусства представляет из себя отдел для чтения между делом, для легкого чтения или для осведомления публики о театральных зрелищах, о художественных предприятиях. Приспособляясь к этой потребности, он все более проникается общим духом газеты, что всего заметнее сказывается на его языке. О театральных впечатлениях, о взломе кассы, об очередной повести известного писателя – рассказывают часто люди одного и того же порядка, различающиеся лишь тем, что один из них сделал своей профессией (точнее: жизнь когда-то принудила его выбрать профессию) газетную хронику, другой – театральное репортерство, а третий – литературную критику.

ку. Эти-то люди и секут жестоко самих себя, сами того не ведая. Они не унижают искусства даже тогда, когда, по тем или иным соображениям, выдвигают бездарное или смешивают с грязью талантливое; даже тогда, когда они служат «злобам художественного дня», который часто не менее пошл, чем день заседания городской думы; даже тогда, наконец, когда сами они *очень талантливы* и талант их заставляет забывать о пустоте, скрывающейся под ним. Эти «напрасные таланты», как выразился на днях в одной из своих статей Мережковский, суть один из самых страшных бичей нашего времени, потому что именно они – и главным образом они – уронили русскую литературу наших дней в глазах читающей публики, число которой растет с каждым днем, которая идет к литературе с открытой душой. Это – все еще те знакомые нам пустоцветы революции, которые не могут увянуть, люди без духовной культуры, без языка, без идей, без понятия о прекрасном, люди, исполненные того особого нигилизма, той неисправимой иронии, насмешки над всем, и в частности – над самими собой, кото-



рая, как щитом, защищает их от нападений с одной стороны, но зато и от общения с высоким и прекрасным – с другой.

Великое в мире всегда сопровождается бедствиями, болезнями, чумой. Чудесное, что витало над нами в 1905 году и обогатило нас великими возможностями, привело с собой в ряды литературы отряд людей зачумленных, «напрасных талантов», или хулиганов в глубочайшем смысле этого слова.

Они думают, что то, о чем они говорят, называется искусством и литературой; публика думает то же, так как они убеждают ее в этом и если что знают в совершенстве, – так это приемы, которыми можно действовать на дурные инстинкты толпы. Но у толпы есть и другие, здоровые, а не больные инстинкты, и в силу этих инстинктов – толпа постепенно отстраняется как от этих «художественных критиков», так и от тех, о ком они говорят, с похвалой ли, с порицанием ли – все равно; ведь их похвалы часто во много раз ядовитей и вредней их порицаний; публика же полагает, что те, о ком они говорят, заодно с ними, что все это – «одна шайка».

Описание всевозможных видов и оттенков хулиганства и хамства по отношению к искусству можно растянуть до бесконечности; есть порожденное революцией, есть не с ней начавшееся и не с ней кончающееся, извечное, «рассейское» или еврейское, талантливое или бездарное, более и менее разлагающее; я веду речь к тому, чтобы указать, что общий уровень отношения к искусству в русских журналах и газетах, *отношения не по чину*, ведет за собою ослабление интереса, подозрительность к произведениям искусства и литературы вообще – у публики. Этим не унижается искусство, которого нельзя унижить, ибо оно *не наше*, но только понижается общий уровень культуры. В частных же случаях (которых гораздо больше, чем можно предполагать) не происходит даже и этого: многие русские люди с быстротой, свойственной здоровой русской душе, перерастают всю эту безыдейную суматоху и все низкие понятия, распространяемые литературными и иными газетными рецензентами, а эти последние, все еще считая себя вождями, больно секут самих себя каждой новой своей литературно-газет-

но-еврейско-нейрастенической выходкой на глазах у людей, чуждых суете и рекламе. Это и есть – трагический фарс, разыгрываемый на страницах многих газет.

Итак: с речами о художествах, настроенными на шумный и суетливый политический лад, пора покончить.

И можно ли вообще говорить на языке искусства в газете, которая служит злобе дня?

Я думаю, что пора сделать такой опыт, которого никто еще не пробовал производить в целом. Не надо говорить много, надо говорить *важно*. Язык художественного отдела ничем не должен походить на язык телеграмм и хроник. Об искусстве должны бы говорить люди, качественно отличающиеся от людей, говорящих о политике, о злобах дня. Ведь преемство литературное и преемство политическое не имеют между собой ничего общего, и, в зависимости от этого, речи о политике и речи об искусстве не должны согласовываться друг с другом.

Нечего скрывать ни от себя, ни от кого, что существует противоречие вечное и трагическое между искусством и жизнью, что мосты

между ними до сих пор в мире были только легкими, воздушными, радужными мостами, которые исчезали, едва проходили те великолепные грозы, которые создали их, едва умирали те мировые гении, которые лишь силой своей гениальности создавали эти мосты, соединяя в самих себе и жизнь и искусство лишь на краткий и чудесный миг.

Постройка этих мостов неумелыми руками есть или безумие, или, что чаще всего, отсутствие подлинного чутья как к искусству, так и к жизни, или – дурной воспитательный прием, которым едва ли можно обмануть *настоящего свежего* человека.

Мне думается, что в России уже существует довольно таких читателей, которым смертельно надоело выискивание в произведениях искусства политических, публицистических и иных идей, которые понимают, что противоречия жизни, культуры, цивилизации, искусства, религии – не разрешаются ни словами, ни теориями, ни ироническим отходом от их разрешения; что эти противоречия сами по себе глубоко поучительны и воспитательны; что каждый несет их на своих пле-

чах, насколько хватает у него сил; что разрешение их – дело будущего и дело соборное.

Такого-то читателя, по-моему, должны иметь в виду те люди, которые хотят говорить на языке искусства, хотя бы – со страниц газет; они должны говорить не сентиментальничая, не политиканствуя и не иронизируя.

Политика и искусство в газете – это как город и деревня. Если в городе должно переносить запах фабричной гари и, может быть, желать даже, чтобы город скорее превратился в стальное чудовище, сжимающее в когтях своих людей («что делаешь, делай скорее»), то в деревне, в десяти верстах от города, должна являться иная жизнь, там можно и должно не суетиться, там заметен первый снег и первые фиалки.

Лишь при таком отношении к искусству можно наложить строгое и решительное veto художника на тот обман, который мы наблюдаем ежедневно, на ту чудовищную вульгаризацию ценностей, которая уже принесла свои плоды, извратив в умах читающей и интересующейся искусством публики смысл многих

явлений в области Прекрасного.

*Конец ноября – начало декабря 1912*

## **Интеллигенция и революция[30]**

«Россия гибнет», «России больше нет», «вечная память России», слышу я вокруг себя.

Но передо мной – Россия: та, которую видели в устрашающих и пророческих снах наши великие писатели; тот Петербург, который видел Достоевский; та Россия, которую Гоголь назвал несущейся тройкой.

Россия – буря. Демократия приходит «опоясанная бурей», говорит Карлейль.

России суждено пережить муки, унижения, разделения; но она выйдет из этих унижений новой и – по-новому – великой.

В том потоке мыслей и предчувствий, который захватил меня десять лет назад, было смешанное чувство России: тоска, ужас, покаяние, надежда.

То были времена, когда царская власть в последний раз достигла, чего хотела: Витте и Дурново скрутили революцию веревкой; Столыпин крепко обмотал эту веревку о свою

нервную дворянскую руку. Столыпинская рука слабела. Когда не стало этого последнего дворянина, власть, по выражению одного весьма сановного лица, перешла к «поденщикам»; тогда веревка ослабла и без труда отвалилась сама.

Все это продолжалось немного лет; но немногие годы легли на плечи как долгая, бессонная, наполненная призраками ночь.

Распутин – все, Распутин – всюду; Азефы разоблаченные и неразоблаченные; и, наконец, годы европейской бойни; казалось минуте, что она очистит воздух; казалось нам, людям чрезмерно впечатлительным; на самом деле она оказалась достойным венцом той лжи, грязи и мерзости, в которых купалась наша родина.

Что такое война?

Болота, болота, болота; поросшие травой или занесенные снегом; на западе – унылый немецкий прожектор – шарит – из ночи в ночь; в солнечный день появляется немецкий фоккер; он упрямо летит одной и той же дорожкой; точно в самом небе можно протоптать и загадить дорожку; вокруг него разбега-

ются дымки: белые, серые, красноватые (это мы его обстреливаем, почти никогда не попадая; так же, как и немцы – нас); фоккер стесняется, колеблется, но старается держаться своей поганой дорожки; иной раз методиче-ски сбросит бомбу; значит, место, куда он це-лит, истыкано на карте десятками рук немец-ких штабных; бомба упадет иногда – на клад-бище, иногда – на стадо скотов, иногда – на стадо людей; а чаще, конечно, в болото; это – тысячи народных рублей в болоте.

Люди глазеют на все это, изнывая от скуки, пропадая от безделья; сюда уже успели пере-тащить всю гнусность довоенных квартир: измены, картеж, пьянство, ссоры, сплетни.

Европа сошла с ума: цвет человечества, цвет интеллигенции сидит годами в болоте, сидит с убеждением (не символ ли это?) на узенькой тысячеверстной полоске, которая называется «фронт».

Люди – крошечные, земля – громадная. Это вздор, что мировая война так заметна: до-вольно маленького клочка земли, опушки ле-са, одной полянки, чтобы уложить сотни тру-пов людских и лошадиных. А сколько их мож-



но свалить в небольшую яму, которую скоро затянет трава или запорошит снег! Вот одна из осязаемых причин того, что «великая европейская война» так убога.

Трудно сказать, что тошнотворнее: то кровопролитие или то *безделье*, та *скука*, та *пошлятина*, имя обоим – «великая война», «отечественная война», «война за освобождение угнетенных народностей», или как еще? Нет, под этим знаком – никого не освободишь.

Вот, под игом грязи и мерзости запустения, под бременем сумасшедшей скуки и бессмысленного безделья, люди как-то рассеялись, замолчали и ушли в себя: точно сидели под колпаками, из которых постепенно выкачивался воздух. Вот когда действительно хамело человечество, и в частности – российские патриоты.

Поток предчувствий, прошумевший над иными из нас между двух революций, также ослабел, заглох, ушел где-то в землю. Думаю, не я один испытывал чувство болезни и тоски в годы 1909–1916. Теперь, когда весь европейский воздух изменен русской революцией, начавшейся «бескровной идиллией» фев-

ральских дней и растущей безостановочно и грозно, кажется иногда, будто и не было тех недавних, таких древних и далеких годов; а поток, ушедший и землю, протекавший бесшумно в глубине и тьме, – вот он опять шумит, и в шуме его – новая музыка.

Мы любили эти диссонансы, эти ревы, эти звоны, эти неожиданные переходы... в оркестре. Но, если мы их действительно любили, а не только щекотали свои нервы в людном театральном зале после обеда, мы должны слушать и любить те же звуки теперь, когда они вылетают из мирового оркестра; и, слушая, понимать, что это – о том же, все о том же.

Музыка ведь не игрушка; а та *бестия*, которая полагала, что музыка – игрушка, – и vedi себя теперь как бестия: дрожи, пресмыкайся, береги свое добро!

Мы, русские, переживаем эпоху, имеющую немного равных себе по величию. Вспоминаются слова Тютчева:

*Блажен, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые,*

*Его призвали всеблагие,  
Как собеседника на пир,  
Он их высоких зрелищ зритель...*

Не дело художника – смотреть за тем, как исполняется задуманное, печься о том, исполнится оно или нет. У художника – все бытовое, житейское, быстро сменяющееся – найдет свое выражение потом, когда перегорит в жизни. Те из нас, кто уцелеет, кого не «изомнет с налету вихорь шумный», окажутся властителями неисчислимых духовных сокровищ. Овладеть ими, вероятно, сможет только новый гений, пушкинский Арион; он, «выброшенный волною на берег», будет петь «прежние гимны» и «ризу влажную свою» сушить «на солнце, под скалою».

Дело художника, *обязанность* художника – видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которой гремит «разорванный ветром воздух».

Что же задумано?

*Переделать все.* Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью.

Когда *такие* замыслы, искони таящиеся в человеческой душе, в душе народной, разрывають сковывавшие их путы и бросаются бурным потоком, доламывая плотины, обсыпая лишние куски берегов, – это называется революцией. Меньшее, более умеренное, более низменное – называется мятежом, бунтом, переворотом. Но *это* называется *революцией*.

Она сродни природе. Горе тем, кто думает найти в революции исполнение только своих мечтаний, как бы высоки и благородны они ни были. Революция, как грозовой вихрь, как снежный буран, всегда несет новое и неожиданное; она жестоко обманывает многих; она легко калечит в своем водовороте достойного; она часто выносит на сушу невредимыми недостойных; но – это ее частности, это не меняет ни общего направления потока, ни того грозного и оглушительного гула, который издает поток. Гул этот, все равно, всегда – *о великом*.

Размах русской революции, желающей охватить весь мир (меньшего истинная революция желать не может, исполнится это желание или нет, – гадать не нам), таков: она ле-

леет надежду поднять мировой циклон, который донесет в заметенные снегом страны – теплый ветер и нежный запах апельсинных рощ; увлажнит спаленные солнцем степи юга – прохладным северным дождем.

«Мир и братство народов» – вот знак, под которым проходит русская революция. Вот о чем ревет ее поток. Вот музыка, которую имеющий уши должен слышать.

Русские художники имели достаточно «предчувствий и предвестий» для того, чтобы ждать от России именно таких заданий. Они никогда не сомневались в том, что Россия – большой корабль, которому суждено большое плаванье. Они, как и народная душа, их вспоившая, никогда не отличались расчетливостью, умеренностью, аккуратностью: «все, все, что гибелью грозит», таило для них «неизъяснимы наслажденья» (Пушкин). Чувство неблагополучия, незнание о завтрашнем дне, сопровождало их повсюду. Для них, как для народа, в его самых глубоких мечтах, было *все или ничего*. Они знали, что только о прекрасном стоит думать, хотя «прекрасное

трудно», как учил Платон.

Великие художники русские – Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой – погружались во мрак, но они же имели силы пребывать и таиться в этом мраке: ибо они верили в свет. Они знали свет. Каждый из них, как весь народ, выносивший их под сердцем, скрежетал зубами во мраке, отчаянье, часто – злобе. Но они знали, что, рано или поздно, *все будет по-новому*, потому что жизнь прекрасна.

Жизнь прекрасна. Зачем жить тому народу или тому человеку, который втайне разуверился во всем? Который разочаровался в жизни, живет у нее «на подаянии», «из милости»? Который думает, что жить «не особенно плохо, но и не очень хорошо», ибо «все идет своим путем»: путем... эволюционным; люди же так вообще плохи и несовершенны, что дай им только бог прокряхтеть свой век кое-как, сколачиваясь в общества и государства, ограждаясь друг от друга стенками прав и обязанностей, условных законов, условных отношений...

Так думать не стоит; а тому, кто так думает, ведь и жить не стоит. Умереть легко: уме-

реть можно безболезненно; сейчас в России – как никогда: можно даже без попа; поп не обидит отпевальной взяткой...

Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни: все или ничего; ждать неожиданного; верить не в «то, чего нет на свете», а в то, что должно быть на свете; пусть сейчас этого нет и долго не будет. Но жизнь отдаст нам это, ибо она – прекрасна.

Смертельная усталость сменяется животной бодростью. После крепкого сна приходят свежие, умытые сном мысли; среди бела дня они могут показаться дурацкими, эти мысли. Лжет белый день.

Надо же почуять, откуда плывут такие мысли. Надо вот сейчас понять, что народ русский, как Иванушка-дурачок, только что с кровати схватился и что в его мыслях, для старших братьев если не враждебных, то дурацких, есть великая творческая сила.

Почему «учредилка»? (Между прочим, это вовсе не так обидно. У крестьян есть обычное – «потребилка».) – Потому, что мы сами рядили о «выборных агитациях», сами судили чиновников за «злоупотребления» при этих

агитациях; потому, что самые цивилизованные страны (Америка, Франция) сейчас захлебнулись в выборном мошенничестве, выборном взяточничестве.

Потому, что (я по-дурацки) самому все хочется «проконтролировать», сам все хочу, не желаю, чтоб меня «представляли» (в этом – великая жизненная сила: сила Фомы Неверного); потому еще, что некогда в многоколонном зале раздастся трубный голос весьма сановного лица: «Законопроект такой-то в тридцать девятом чтении отклоняется»; в этом трубном голосе будет такой тупой, такой страшный сон, такой громовой зевок «организованной общественности», такой ужас без имени, что опять и опять наиболее чуткие, наиболее музыкальные из нас (русские, французы, немцы – все одинаково) бросятся в «индивидуализм», в «бегство от общественности», в глухую и одинокую ночь. Потому, наконец, что бог один ведает, как выбирала, кого выбирала, куда выбирала неграмотная Россия сегодняшнего дня; Россия, которой нельзя втолковать, что Учредительное Собрание – не царь.



Почему «долой суды»? – Потому, что есть томы «уложений» и томы «разъяснений», потому, что судья-барин и «аблакат»-барин толкуют промеж себя о «деликте»; происходит «судоговорение»; над несчастной головой жулика оно происходит. Жулик – он жулик и есть; уж согрешил, уж потерял душу; осталась одна злоба или одни покаянные слезы: либо удрать, либо на каторгу; только бы с глаз долой. Чего же еще над ним, напакостившим, измываться?

Либерального «аблаката» описал Достоевский; Достоевского при жизни травили, а после смерти называли «певцом униженных и оскорбленных». Описал еще то, о чем я говорю, Толстой. А кто обносил решеточкой могилу этого чудака? Кто теперь голосит о том, как бы над этой могилой не «надругались»? А почем вы знаете, может быть, рад бы был Лев Николаевич, если б на его могиле поплевали и побросали окурков? Плевки – Божьи, а решеточка – не особенно.

Почему дырявят древний собор? – Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой.

Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? – Потому, что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа.

Почему валят столетние парки? – Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему – мощной, а дураку – образованностью.

Все так.

Я знаю, что говорю. Конем этого не объедешь. Замалчивать этого нет возможности; а все, однако, замалчивают.

Я не сомневаюсь ни в чьем личном благородстве, ни в чьей личной скорби; но ведь за прошлое – отвечаем мы? Мы – звенья единой цепи. Или на нас не лежат грехи отцов? – Если этого не чувствуют все, то это должны чувствовать «лучшие».

Не беспокойтесь. Неужели может пропасть хоть крупинка истинно-ценного? Мало мы любили, если трусим за любимое. «Совершенная любовь изгоняет страх». Не бойтесь разрушения кремлей, дворцов, картин, книг. Беречь их для народа надо; но, потеряв их, на-

род не все потеряет. Дворец разрушаемый – не дворец. Кремль, стираемый с лица земли, – не кремль. Царь, сам свалившийся с престола, – не царь. Кремли у нас в сердце, цари – в голове. Вечные формы, нам открывшиеся, отнимаются только вместе с сердцем и с головой.

Что же вы думали? Что революция – идиллия? Что творчество ничего не разрушает на своем пути? Что народ – паинька? Что сотни обыкновенных жуликов, провокаторов, черносотенцев, людей, любящих погреть руки, не постараются ухватить то, что плохо лежит? И, наконец, что так «бескровно» и так «безболезненно» и разрешится вековая распря между «черной» и «белой» костью, между «образованными» и «необразованными», между интеллигенцией и народом?

Не вас ли надо будить теперь от «векового сна»? Не вам ли надо крикнуть: «*Noli tangere circulos meos*»? [31] Ибо вы мало любили, а с вас много спрашивается, больше, чем с кого-нибудь. В вас не было этого хрустального звона, этой музыки любви, вы оскорбляли художника – пусть художника, – но через него

вы оскорбляли самую душу народную. Любовь творит чудеса, музыка завораживает зверей. А вы (все мы) жили без музыки и без любви. Лучше уж молчать сейчас, если нет музыки, не слышат музыки. Ибо все, кроме музыки, все, что без музыки, всякая «сухая материя» – сейчас только разбудит и озлит зверя. До человека без музыки сейчас достучаться нельзя.

А лучшие люди говорят: «Мы разочаровались в своем народе»; лучшие люди ехидничают, надмеваются, злобствуют, не видят вокруг ничего, кроме хамства и зверства (а человек – тут, рядом); лучшие люди говорят даже: «никакой революции и не было»; те, кто места себе не находил от ненависти к «царизму», готовы опять броситься в его объятия, только бы забыть то, что сейчас происходит; вчерашние «пораженцы» ломают руки над «германским засильем», вчерашние «интернационалисты» плачутся о «Святой Руси»; безбожники от рождения готовы ставить свечки, молясь об одолении врага внешнего и внутреннего.

Не знаю, что страшнее: красный петух и

самосуды в одном стане или эта гнетущая немзыкальность – в другом?

Я обращаюсь ведь к «интеллигенции», а не к «буржуазии». Той никакая музыка, кроме фортепьян, не снилась. Для той все очень просто: «в ближайшем будущем наша возьмет», будет «порядок», и все – по-старому; гражданский долг заключается в том, чтобы беречь добро и шкуру; пролетарии – «мерзавцы»; слово «товарищ» – ругательное; свое убеждение – и сутки прочь: можно и посмеяться над дураками, задумавшими всю Европу взбалмутить, потрясти брюхом, благо удалось урвать где-нибудь лишний кусок.

С этими не поспоришь, ибо дело их – бесспорное: брюшное дело. Но ведь это – «полупросвещенные» или совсем «непросвещенные» люди; слышали они разве только о том, что нахрюкали им в семье и школе. Что нахрюкали, то и спрашивается:

*Семья:* «Слушайся папу и маму». «Прикапливай деньги к старости». «Учись, дочка, играть на рояли, скоро замуж выйдешь». «Не играй, сынок, с уличными мальчишками, чтобы не опорочить родителей и не изорвать

пальто».

*Низшая школа:* «Слушайся наставников и почитай директора». «Ябедничай на скверных мальчишек». «Получай лучшие отметки». «Будь первым учеником». «Будь услужлив и угодлив». «Паче всего – закон божий».

*Средняя школа:* «Пушкин – наша национальная гордость». «Пушкин обожал царя». «Люби царя и отечество». «Если не будете исповедоваться и причащаться, вызовут родителей и сбавят за поведение». «Замечай за товарищами, не читает ли кто запрещенных книг». «Хорошенькая горничная – ты».

*Высшая школа:* «Вы – соль земли». «Существование Бога доказать невозможно». «Человечество движется по пути прогресса, а Пушкин воспевал женские ножки». «Вам еще рано принимать участие в политической жизни». «Царю показывайте кукиш в кармане». «Заметьте, кто говорил на сходке».

*Государственная служба:* «Враг внутренний есть студент». «Бабенка недурна». «Я тебе покажу, как рассуждать». «Сегодня приедет его превосходительство, всем быть на местах». «Следите за Ивановым и доложите

мне».

Что спрашивать с того, кто все это добросовестно слушал и кто всему этому поверил? Но ведь интеллигенты, кажется, «переоценили» все эти ценности? Им приходилось ведь слышать и другие слова? Ведь их просвещали наука, искусство и литература? Ведь они пили из источников не только загаженных, но также – из источников прозрачных и головокружительно бездонных, куда взглянуть опасно и где вода поет неслыханные для непосвященных песни?

У буржуа – почва под ногами определенная, как у свиньи – навоз: семья, капитал, служебное положение, орден, чин, бог на иконе, царь на троне. Вытащи это – и все полетит вверх тормашками.

У интеллигента, как он всегда хвалился, такой почвы никогда не было. Его ценности невещественны.

Его царя можно отнять только с головой вместе. Уменьше, знание, методы, навыки, таланты – имущество кочевое и крылатое. Мы бездомны, бессемейны, бесчинны, нищи, – что же нам терять?

Стыдно сейчас надмеваться, ухмыляться, плакать, ломать руки, ахать над Россией, над которой пролетает революционный циклон.

Значит, рубили тот сук, на котором сидели? Жалкое положение: со всем сладострастием ехидства подкладывали в кучу отсыревших под снегами и дождями коряг – сухие полешки, стружки, щепочки; а когда пламя вдруг вспыхнуло и взвилось до неба (как знамя), – бегать кругом и кричать: «Ах, ах, стогрим!»

Я не говорю о политических деятелях, которым «тактика» и «момент» не позволяют показывать душу. Думаю, не так уж мало сейчас в России людей, у которых на душе весело, которые хмурятся по обязанности.

Я говорю о тех, кто политики не делает; о писателях, например (если они делают политику, то грешат против самих себя, потому что «за двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь»: политики не сделают, а свой голос потеряют). Я думаю, что не только право, но и обязанность их состоит в том, чтобы быть нетактичными, «бестактными»: слу-



шать ту великую музыку будущего, звуками которой наполнен воздух, и не выискивать отдельных визгливых и фальшивых нот в величавом реве и звоне мирового оркестра.

Русской интеллигенции – точно медведь на ухо наступил: мелкие страхи, мелкие словечки. Не стыдно ли издеваться над безграмотностью каких-нибудь объявлений или писем, которые писаны доброй, но неуклюжей рукой? Не стыдно ли гордо отмалчиваться на «дурацкие» вопросы? Не стыдно ли прекрасное слово «товарищ» произносить в кавычках?

Это – всякий лавочник умеет. Этим можно только озлобить человека и разбудить в нем зверя.

Как аукнется – так и откликнется. Если считаете всех жуликами, то одни жулики к вам и придут. На глазах – сотни жуликов, а за глазами – миллионы людей, пока «непросвещенных», пока «темных». Но просветятся они не от вас.

Среди них есть такие, которые сходят с ума от самосудов, не могут выдержать крови, которую пролили в темноте (своей); такие, кото-

рые бьют себя кулаками по несчастной голове: мы – глупые, мы понять не можем; а есть и такие, в которых еще спят творческие силы; они могут в будущем сказать такие слова, каких давно не говорила наша усталая, несвежая и книжная литература.

Надменное политиканство – великий грех. Чем дольше будет гордиться и ехидствовать интеллигенция, тем страшнее и кровавее может стать кругом. Ужасна и опасна эта эластичная, сухая, невкусная «адогматическая догматика», приправленная снисходительной душевностью. За душевностью – кровь. Душа кровь притягивает. Бороться с ужасами может лишь дух. К чему загораживать душевностью пути к духовности? Прекрасное и без того трудно.

А дух есть музыка. Демон некогда повелел Сократу слушаться духа музыки.

Всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слушайте Революцию.

*9 января 1918*

## Сограждане

Болото вымостили булыжником. Среди булыжника поставили каменные ящики и перегородили их многими переборками. Каждый маленький ящик оклеили бумагой. В ящик положили: стол, стул, кровать, умывальник, Ивана Ивановича и его жену.

У Ивана Ивановича есть бессмертная душа. У его жены – тоже есть. У Ивана Ивановича и его жены вместе – меньше бессмертной души, потому что они сильно отличаются друг от друга: Иван Иванович – мужчина и служит; жена его – женщина и хозяйничает. Различаясь так сильно, они часто не ладят друг с другом и тем взаимно истребляют свои бессмертные души.

За переборкой живут такой же Иван Иванович и такая же жена его. Если снять переборку, то у всех сложенных вместе окажется еще меньше бессмертной души, потому что не поладят друг с другом не только Иван Иванович с другим Иваном Ивановичем и жена одного с женою другого, но также два стола, двенадцать стульев, четыре кровати и два

умывальника.

Если снять все переборки в большом ящике и соединить вместе все, что сохранялось за всеми переборками, то не получится не только бессмертной души, но самый даже разговор о ней покажется страшным и неприличным. Всем этим соединенным вместе – какая может управлять бессмертная душа, если все ее полномочия переданы – выбранному всеми гражданами, здесь живущими, домовому комитету?

– А немцы вчера бросали прокламации с аэроплана: завтра, мол, придем, а коли не поспеем, – так в субботу, – сказал мне председатель домового комитета, очень почтенный человек. У него были старинные седые бакены, синяя рубашка в полоску и старые подтяжки. Через дорогу у него была мелочная лавка, ныне переданная в ведение домового кооператива.

С председателем домового комитета не поспоришь. Не знаю, кто выбирал его. Говорят, выбрали единогласно все граждане, населяющие тот дом, в котором я живу. Я не выбирал, но я не уверен, принадлежу ли я к числу

гражданин, населяющих дом. Во всяком случае, если бы я принадлежал к ним, я бы, конечно, тоже выбрал его. Он, должно быть, очень почтенный и расположенный к добру человек.

Я с ним и не спорил; но у меня было совершенно особое чувство; пока было самодержавие, я всегда верил тому, что мне рассказывали; скажет какой-нибудь господин: завтра такого-то назначат министром народного просвещения. Так уж и знаешь, что проснешься завтра, а уж вся Россия ликует: у нас такой-то новый министр народного просвещения! И в газетах сказано, что вся Россия ликует.

Тут я, однако, усумнился про себя. Произошло это потому, что неделю тому назад, когда я пришел менять продовольственные карточки, председатель домового комитета сообщил мне: — Вильгельм сам сказал, что в среду будет здесь. Две недели тому назад председатель говорил о том же, и так повторялось уже месяца три.

Усумнившись, я, однако, не подал никакого вида, потому что ни мало не хотел огорчать почтенного старика, который делился со мной своей скромной, заветной радостью.

Председатель принимал вечером, и я возвращался от него к себе домой вечером, в час страшно поздний: в шесть часов вечера. По двору у нас пройти – и скользко, и – того гляди – угодишь в сугроб, да и небезопасно; все граждане, населяющие дом, сознали это, и каждую ночь шесть из них, способных носить оружие, сидят в дворницкой, вооруженные револьверами системы наган, до рассвета и по очереди окликают каждого, кто стучится в ворота.

Едва я вышел от председателя, меня обступила эта вооруженная толпа. Один из них узнал меня; меня пропустили; но едва я сделал два шага, я услышал за собой быструю походку; передо мною во мраке стоял один из вооруженных граждан. Он знал, что я – осведомленный журналист; я же знал, что он когда-то командовал одним из наших больших кораблей, которые нанесли непоправимый ущерб соединенному германскому и турецкому плаванию в водах Черного моря у самого входа в Дарданеллы, оберегаемых П. Н. Милюковым от алчных appetitов Четверного союза.

Капитан броненосца наклонился к моему уху и прошептал конфиденциально:

– Как вы думаете, немцы придут?

– Не думаю, – ответил я.

– Так, значит, буржуев резать будут?

– А может быть, наоборот, – сказал я.

– Как наоборот? – спросил он тревожно.

– Ну вот, как, например, в южной Франции в 1794 году или в Париже после Коммуны, во время белого террора.

Я увидел, что лицо капитана собралось в улыбку.

– Но ведь то были французы, – сказал он, – а ведь это – черт знает кто...

В эту минуту у калитки ворот раздался робкий стук.

– Кто там? – страшным голосом заревел капитан.

Все шестеро вооруженных твердо пошли к воротам.

– Это я, – произнес за воротами дрожащий женский голос.

– Ваш пропуск! – прорычал капитан.

В щель калитки просунулась бумажка. Капитан стал читать ее при тусклом свете фона-

ря. Послышалось щелканье взводимых курков.

– Это – из номера сто одиннадцатого, – сказал с облегчением капитан.

Калитка открылась, и в нее вошла испуганная горничная. Ее осмотрели с ног до головы, и она бросилась в глухой мрак своего подъезда сквозь строй смелых и хорошо вооруженных граждан.

Когда я поднимался к себе домой, меня встретил на лестнице прекрасно одетый господин в полной походной форме защитного цвета, с охотничьей двухстволкой за плечами. Он спросил любезно:

– Вы ничего не имеете против того, что меня выбрали комендантом лестницы?

– Помилуйте, я так рад, – отвечал я.

Я знал, что это – бывший член первого департамента Правительствующего сената, бывший вице-губернатор одной из губерний, ныне временно занятых неприятелем.

Проходя на днях по нашей улице, я остановился перед окном нового магазина и стал рассматривать бумагу, вставочки, папиросы и спички.



Вдруг из двери выбежал комендант лестницы. – Идите покупать к нам! – радушно закричал он.

За прилавком сидела жена его, рожденная княгиня Б.

– Как у вас мило, – непринужденно сказал я, оглядывая полки магазина.

– Мыло у нас тоже есть, – веско сказал бывший вице-губернатор.

1 мая 1918

## Крушение гуманизма

### 1

Понятием *гуманизм* привыкли мы обозначать прежде всего то мощное движение, которое на исходе средних веков охватило сначала Италию, а потом и всю Европу и лозунгом которого был *человек* – свободная человеческая личность. Таким образом, основной и изначальный признак гуманизма – *индивидуализм*.

Четыре столетия подряд – с половины XIV до половины XVIII века – образованное общество средней Европы развивалось под знаком этого движения; в его потоке наука была

неразрывно связана с искусством, и человек был верен духу музыки. Этим духом были проникнуты как великие научные открытия и политические течения, так и отдельные личности того времени.

Стилем движения был стиль Ренессанса, перешедший затем в стиль Барокко – в тот стиль, который в XIX столетии принято было считать упадочным (признак забвения новейших гуманистов о своем великом прошлом) и который только в наше время переоценен и считается стилем, соответствующим периодам искусства, клонящегося к старости.

Чьи имена связаны в нашем сознании с понятием «гуманизма»? – Прежде всего имена Петрарки, Боккачио, Пико де ла Мирандола; вслед за ними – имена Эразма, Рейхлина, Гуттена. Позже и менее резко возникают к нашему сознанию имена французских и английских гуманистов: Монтеня или Томаса Мора; во Франции и Англии движение гуманизма не было самостоятельным.

Имена великих гуманистов возникают в нашем сознании как бы в сопровождении му-

зыкального аккомпанемента. Мы сознаем, что все эти люди – художники, артисты, хотя многие из них не были художниками и артистами по ремеслу. Каждая из этих громадных фигур представляется нам символом и может быть представлена художником символически. Под картиной, изображающей сцены итальянского Ренессанса, мы прочтем без удивления имя Боккачио. Нас не удивит, если в заглавии поэмы, посвященной изображению германской Реформации, мы увидим одно короткое имя: Ульрих фон Гуттен. До такой степени певучи, проникнуты духом музыки – самые имена этих людей.

## 2

Движение, исходной точкой и конечной целью которого была человеческая личность, могло расти и развиваться до тех пор, пока личность была главным двигателем европейской культуры. Мы знаем, что первые гуманисты, создатели независимой науки, светской философии, литературы, искусства и школы, относились с открытым презрением к грубой и невежественной толпе. Можно хулить их за это с точки зрения христианской

этики, но они были и в этом верны духу музыки, так как массы в те времена не были движущей культурной силой, их голос в оркестре мировой истории не был преобладающим. Естественно, однако, что, когда на арене европейской истории появилась новая движущая сила – не личность, а масса, – наступил кризис гуманизма.

Начало этого кризиса следует искать, по-видимому, в движении Реформации. Разразился же он накануне XIX века. В Великой Революции Европа услышала новые для себя песни. С тех пор Франция стала очагом тех движений, которые получали свое истинное истолкование, по-видимому, вне ее пределов. Более юные, чем она, средняя и восточная Европа использовали уроки ее революций, кажется, в гораздо большей мере, чем она сама.

Германские буря и натиск отмечены двумя необычайными фигурами. Если б я был художником, я никогда не представил бы Шиллера и Гете – братски пожимающими друг другу руки. Я представил бы Шиллера в виде юноши, наклонившегося вперед и бестрепетно смотрящего в открывающуюся перед ним

туманную бездну. Этот юноша стоит под сенью другой, громадной и загадочной фигуры – Гете, как бы отшатнувшейся в тени прошлого перед ослепительным видением будущего, которое он зоркими глазами провидит в туманной бездне.

Оба одинаково дороги и близки нам сейчас. Но один – громаден; он – вежа на рубеже двух столетий; Гете – столько же конец, сколько начало. В его застывшем образе умирающий гуманизм (индивидуализм, античность, связь науки с искусством) как бы пронизан той музыкой, которая поднимается из туманной бездны будущего, – музыкой масс (II часть «Фауста»).

Фигура Шиллера меньше, но она не менее дорога и близка нам, потому что Шиллер – последний великий европейский гуманист, последний из стаи верных духу музыки. Маркиз Поза в последний раз поет человечество; в следующую минуту о человечестве заговорят с кафедры, о нем нагромоздят томы почтенных книг.

Обе фигуры озарены широким пыльным солнечным лучом; закатный луч этот прони-

кает, как будто, в круглое стекло старого храма в стиле барокко; этот храм – просвещенная Европа: прощальный луч постепенно гаснет, и в тенях, заволакивающих стены, открывается бездна, в которую смотрят оба.

Когда луч погаснет, храм просвещенной Европы погрузится во мрак; Шиллер будет рано похищен смертью для того, чтобы не вперяться глазами в этот чуждый ему сумрак и не слушать той невнятной для него музыки, которая возникает из сумрака. С Шиллером умрет и стиль гуманизма – барокко. Гете останется один – без юного Шиллера и без старого барокко; он различит во мраке очертания будущего; будет наблюдать языки огня, которые начнут скоро струиться в этом храме на месте солнечных лучей; Гете будет слушать музыку этого огня. Он, застывший в своей неподвижности, с загадочной двойственностью относящийся ко всему, подает руку Рихарду Вагнеру, автору темы огней в «Валкирии», – через голову неистовствующего, сторающего в том же огне будущего, Генриха Гейне.

Все они – столь разные – будут уже равно одиноки и равно гонимы, потому что они од-

ни – носители культуры и музыки будущего, заглушаемой пока нестройным хором голосов носителей безмузыкальной цивилизации. Эта тайная связь их между собой раскрывается хотя бы в двойственности отношений Гете к Гейне и Гейне к Гете.

### 3

Знамя гуманизма, которое бестрепетно держал Шиллер, судорожно подхватили сотни трепетных и нервных рук людей XIX века – века, исполненного непрестанной тревоги.

История культуры называет этот век «переходной эпохой, менее определенной, чем все предыдущие». Явления этой эпохи «поражают своей пестротой; отзывы о них и об их руководителях шатки и противоречивы; не от личного взгляда и не от случая зависит разногласие в суждениях самых серьезных умов... Мы видим удивляющее нас богатство содержания, и при этом – отсутствие цельного, ясного понимания и взгляда... процесс движения вперед, но без всякой сознательной гармонии или какой бы то ни было определенной цели; основная черта современного общества состоит в его разрозненности, в от-

сутствии всякого прочного единства. Во всех слоях общества мы замечаем необыкновенную тревожность, какое-то болезненное волнение и искание чего-то».

Слова, которые я сейчас цитировал, принадлежат Гонеггеру, исследователю, которого никак нельзя заподозрить в антигуманизме. Это – типичный ученый XIX века, рядовой исследователь, пытавшийся схватить общие черты столетия в шестидесятых годах. Каждый результат своих объективных наблюдений он пытается сейчас же истолковать на своем, характернейшем для эпигонов гуманизма, языке; так, например, говоря о том, что «характер века определяется массами гораздо вернее, чем отдельными личностями», он сейчас же прибавляет: «посредственность берет перевес; наш век теряет величие».

«Основное направление нашего века состоит в решительном отрицании, – продолжает Гонеггер. – Наш творческий дух посвящен преимущественно критике. Мы наследовали от второй половины прошлого столетия в теории – это отрицание, а на практике – перевороты. Правы ли те, кто полагает, что пе-



революты предвещают и ускоряют конец целого периода всемирной истории?»

В государственном отношении историк констатирует разъединение при общем стремлении к единству: «в обществе царит резкий, самому себе враждебный, индивидуализм в виде конкуренции»; «массы ропщут, писатели предрекают неотразимое падение дряхлой, изнеможенной Европы»; развитие торговли и промышленности «свидетельствует о дряхлости цивилизации» и, «отличаясь исключительным материализмом, наносит вред гуманизму». «Механизм – одно из главных зол нашего времени». «Наряду с государственными переворотами, производимыми революциями и контрреволюциями, ничто так не содействует распространению коммунистических идей, как контраст все более разительный между богачом и бедным... Расширяется пропасть между колоссальными богатствами и величайшей нищетой. Злоупотребления кредита, ажиотаж, биржевая игра, страсть к спекуляции, погоня за приобретением развращают современное общество...». «Кто не сознает, что социальный вопрос есть

великий двигатель настоящего времени, а тем более будущего, – тот или слишком туп и ничего не в состоянии видеть, или слишком ослеплен и не хочет видеть...»

«Можно считать всю историю XIX века повторением в более обширных размерах краткого кровавого эпизода 1789–1794 годов». Только совершенно новый характер придают движению «обширность сцены действия и несравненно большее количество народных масс, вовлеченных в движение».

Констатируя полную ненормальность социальных отношений и одряхление государства, которое «сомневается в самом себе и не видит ничего дальше своих текущих потребностей», при непомерном развитии бюрократизма и необходимости содержать постоянные громадные армии, – Гонеггер определяет век как век науки по преимуществу, и прибавляет: *«Наше поколение вполне антихудожественно; в нем нет ни увлечения искусством, ни понимания его».*

Охарактеризовав столетие всеми этими и многими другими меткими и жестокими чертами, историк считает, однако, возможным

высказать надежду на приближение «мирового единства гуманизма» и на «неизбежное возвышение рабочих масс в отношении умственного развития».

Столь оптимистические выводы из объективных данных, представляющих картину полного и всеобщего неблагополучия, совершенно не укладываются в моем сознании. Историк едва ли могло быть неизвестно, что так называемые массы никогда не были затронуты великим движением гуманизма.

Возникает вопрос, мог ли народ вообще быть затронут движением индивидуалистическим по существу; движением, в котором он не принимал участия, или – его отгоняли, когда он стремился принять участие, потому что свои стремления он выражал на диком и непонятном для гуманистов языке – на варварском языке бунтов и кровавых расправ.

Сверх того, это самое индивидуалистическое движение возникло из возрождения древней цивилизации, которой, в свою очередь, никогда не была затронута толща народная, та «варварская масса», которая в конце концов затопила своим же потоком эту са-

мую цивилизацию, смела Римскую империю с лица земли.

Отчего не сказать себе наконец с полной откровенностью, что никогда в мире никакая масса не была затронута цивилизацией? Что во всей известной нам мировой истории мы знаем, может быть, лишь одно исключение, не нарушающее правила: маленькую афинскую общину VI столетия до рождения Христа? Да и она не была исключением, потому что Афины Софокла и Перикла были не центром цивилизации, но центром культуры.

Отчего нужно непременно думать, что народ рано или поздно (а для ученых, преследующих педагогические цели, даже непременно «рано» и «скоро») проникается духом какой бы то ни было из известных нам цивилизаций? Полицейское государство в этом случае гораздо реалистичнее новейших гуманистов: оно откровенно поставило на первый план вопрос о подчинении и властвовании, а так как властвование требует прежде всего разделения (то есть натравливанья одной части населения на другую, одного класса на другой, – *divide et impera*[32]), то всякие по-

пытки связыванья, если они даже исходят от некоторых органов полицейского государства, терпят неизбежное крушение; да и сами эти органы – различные министерства народного просвещения – всегда занимают второе место в полицейском государстве, занятом по необходимости (в целях самосохранения) прежде всего содержанием армии военных и чиновников.

Если предположить, наконец, что проникновение *масс цивилизацией* станет некогда возможно, то возникнет вопрос, нужно ли оно? Ответ на этот вопрос, ясный для меня, дает картина близкой нам европейской цивилизации.

Цивилизовать массу не только невозможно, но и не нужно. Если же мы будем говорить о приобщении человечества к *культуре*, то неизвестно еще, кто кого будет приобщать с большим правом: цивилизованные люди – варваров, или наоборот: так как цивилизованные люди изнемогли и потеряли культурную цельность; в такие времена бессознательными хранителями культуры оказываются более свежие варварские массы.

Когда мы перечитываем теперь «Дон-Карлоса» Шиллера, мы поражаемся величиной архитектуры, тем многообразием замыслов, тем, идей, которые так свободно и спокойно вместил Шиллер в одну трагедию. Элементы исторической науки, искусства, музыки, живописи – все налицо в одной трагедии. Современный художник сделал бы из этого матерьяла десять драм, и каждая из них была бы все-таки по нынешним временам необыкновенно обширна и полнозвучна, далеко опередила бы все короткие и судорожные мысли нашего века!

Какое же творческое спокойствие, какой творческий досуг, какая насыщенная музыкой атмосфера окружала Шиллера! Надо ли, однако, художникам XX столетия вспоминать о его времени как о золотом для искусства веке? Я думаю, что не надо, потому что новые времена несут с собою и новые песни.

Лицо Шиллера – последнее спокойное, уравновешенное лицо, какое мы вспоминаем в Европе. Мы видели после него много лиц, возмущенных или обезображенных и иска-

женных внутренней тревогой; мы видели еще гораздо больше лиц сытых, самодовольных; но это уже не старая добрая сытость: на этих лоснящихся лицах мы всегда замечали бегающие злые глаза.

Утратилось равновесие между человеком и природой, между жизнью и искусством, между наукой и музыкой, между цивилизацией и культурой – то равновесие, которым жило и дышало великое движение гуманизма. Гуманизм утратил свой стиль; стиль есть ритм; утративший ритм гуманизм утратил и цельность. Как будто мощный поток, встретившись на пути своем с другим потоком, разлетелся на тысячи мелких ручейков; в брызгах, взлетевших над разбившимся потоком, радугою заиграл отлетающий дух музыки. Дружный шум потока превратился в нестройное журчание отдельных ручейков, которые, разбегаясь и ветвясь все больше при встречах с новыми и новыми препятствиями, послужили силами для тех образований, которые мы привыкли, обобщая, называть образованиями европейской цивилизации. Старая «соль земли» утратила свою силу, и под

знак культуры, ритмической цельности, музыки встало другое – встречное движение, натиск лишь внешне христианизированных масс, которые до сих пор не были причастны европейской культуре.

Так великое движение, бывшее фактором мировой культуры, разбилось на множество малых движений, ставших факторами европейской *цивилизации*. Цивилизация, все более терявшая черты культуры, все более приобретающая характер разрозненности, лишаящаяся духа цельности, музыкальной спаянности, – все более держалась, однако, за свое гуманистическое происхождение. Потеряв право на имя, цивилизация тем крепче держалась за это имя, как вырождающийся аристократ держится за свой титул.

Это удивительное в своем роде явление – оберегание титула при потере прав на него, хранение прерогатив просвещенной Европы во времена зарождения новой культуры – имело роковое и трагическое значение для европейской цивилизации. Его объяснение нужно искать в той же разлученности с духом музыки; явление стало возможным



вследствие духовного изнеможения носителей гуманизма.

Недаром Иммануил Кант – этот лукавейший и сумасшедший мистик – именно в ту эпоху поставил во главу своего учения учение о пространстве и времени. Ставя предел человеческому познанию, сооружая свою страшную теорию познания, он был провозвестником цивилизации, одним из ее духовных отцов. Но, предпосылая своей системе лейтмотив о времени и пространстве, он был безумным артистом, чудовищным революционером, взрывающим цивилизацию изнутри.

Есть как бы два времени, два пространства; одно – историческое, календарное, другое – нечислимое, музыкальное. Только первое время и первое пространство неизменно присутствуют в цивилизованном сознании; во втором мы живем лишь тогда, когда чувствуем свою близость к природе, когда отдаемся музыкальной волне, исходящей из мирового оркестра. Нам не нужно никакого творческого равновесия сил для того, чтобы жить в днях, месяцах и годах; эта ненужность затраты творчества быстро низводит боль-

шинство цивилизованных людей на степень обывателей мира. Но нам необходимо равновесие для того, чтобы быть близкими к музыкальной сущности мира – к природе, к стихии; нам нужно для этого прежде всего устроенное тело и устроенный дух, так как мировую музыку можно услышать только всем телом и всем духом вместе. Утрата равновесия телесного и духовного неминуемо лишает нас музыкального слуха, лишает нас способности выходить из календарного времени, из ничего не говорящего о мире мелькания исторических дней и годов, – в то, другое, нечислимое время.

Эпохи, когда такое равновесие не нарушается, я назвал бы культурными эпохами – в противоположность – другим, когда целостное восприятие мира становится непосильным для носителей старой культуры вследствие прилива новых звуков, вследствие переполнения слуха доселе неизвестными созвучиями. Этот прилив идет медленно, если измерять его только календарным временем; новая историческая сила вступает в историю человечества постепенно. Но то, что происхо-

дит медленно по законам одного времени, совершается внезапно по законам другого: как бы одного движения дирижерской палочки достаточно для того, чтобы тянущаяся в оркестре мелодия превратилась в бурю. С этой точки зрения все привычные для нас построения могут быть подвергнуты сомнению и подлежат пересмотру.

Так случилось некогда с Римской империей; она погибла окончательно лишь в V столетии нашей эры; но еще до наступления нашей эры ее сотрясали постоянные музыкальные бури; а в начале эры Тацит пел мощь и свежесть грядущей в мир новой, варварской расы. Это значило, что смертный приговор римской цивилизации уже произнесен: громадная империя как бы погрузилась в тень и вышла из мира задолго до окончания своего земного исторического пути, и в мире того времени действовала уже другая сила, новая культурная сила, хранившаяся до времени под землю, в христианских катакомбах, а затем – вступившая в союз с движением, пришедшим на смену культуре античной, выродившейся в римскую цивилизацию.

Один из основных мотивов всякой революции – мотив о возвращении к природе; этот мотив всегда перетолковывается ложно; его силу пытается использовать цивилизация; она ищет, как бы пустить его воду на свое колесо; но мотив этот – ночной и бредовой мотив; для всякой цивилизации он – мотив похоронный; он напоминает о верности иному музыкальному времени, о том, что жизнь природы измеряется не так, как жизнь отдельного человека или отдельной эпохи; о том, что ледники и вулканы спят тысячами, прежде чем проснуться и разбушеваться потоками водной и огненной стихии.

Роковая ошибка тех, кто оказался наследником гуманистической культуры, роковое противоречие, в которое они вступили, произошло от изнеможения; дух целостности, дух музыки покинул их, и они слепо поверили историческому времени; они не почувствовали того, что мир уже встал под знак нового движения, которое обладает признаками совершенно иными; они продолжали верить, что массы вольются в индивидуализирующееся движение цивилизации, не помня того,

что эти массы были носительницами другого духа. Отсюда – вся история XIX столетия – история лихорадочного строительства гуманной цивилизации и параллельное ему крушение надежд на то, что «массы с течением времени цивилизуются».

## 5

**М**ногообразие явлений жизни Западной Европы XIX века не скроет от историка культуры, а, напротив, – подчеркнет для него особую черту всей европейской цивилизации, ее нецелостность, ее раздробленность. Просвещенное человечество пошло сразу сотней путей – политических, правовых, научных, художественных, философских, этических; каждый из этих путей все более удалялся от другого, некогда смежного с ним; каждый из них, в свою очередь, разбивался на сотни маленьких дорожек, уводящих в разные стороны, разлучающих людей, которые при встречах начинали уже чувствовать друг в друге врагов.

Нет сомнения, что это разделение было заложено в самом основании гуманизма, в его индивидуальном духе, в способах возрожде-

ния античности; что оно изначально подтачивало корни гуманистической культуры. Но именно теперь, накануне XIX века, оно проявилось с особой силой и привело к кризису гуманизма.

В области науки именно в эту минуту резко определяются два поприща – науки о природе и науки исторические; те и другие орудуют разными методами; те и другие дробятся на сотни дисциплин, начинающих, в свою очередь, работать различными методами. Отдельные дисциплины становятся постепенно недоступными не только для непосвященных, но и для представителей соседних дисциплин. Является армия специалистов, отделенная как от мира, так и от своих бывших собратий стеной своей кабинетной посвященности. «Научные работы, – говорит цитированный мной историк культуры, – приняли столь огромные размеры, что обыкновенным умам стало едва возможным овладеть даже отраслью или частью великого целого, и ученый почти с сожалением оглядывается на доброе старое время, когда он мог одним взглядом обнять все направления мысли, не

теряясь в подавляющей массе матерьялов. Разделение труда развилось в науке совершенно так же и с совершенно аналогичными последствиями, как и в физическом труде» («разделение труда при машинной работе, – по словам того же историка, – влечет за собой механический атомизм работы и, лишая ее в глазах работников всякого смысла, превращает его самого в машину»).

Научные работники, превращенные, таким образом, в массу своей – в машины для производства разрозненных опытов и наблюдений, становятся во враждебные отношения друг к другу; натуралисты воюют с филологами, представители одних дисциплин – с представителями других. Все эти маленькие внутренние гражданские войны разбивают силы воюющих сторон, каждая из которых продолжает, однако, писать на своих знаменах старые гуманистические лозунги. Предлог для разделений и раздоров – многообразие научных поприщ, открывшихся перед человечеством; но тайная и настоящая причина их – все та же оставленность духом музыки; он один обладает мощной способностью спаять

воедино человечество и его творения.

Между тем, за внутренними раздорами, неогуманисты все более забывают о том, что непосвященные волею истории становятся хозяевами как своих собственных, так и их судеб. Они напоминают о себе непрекращающимися революциями; но носители цивилизации, борясь с одряхлевшими формами государственности, полагают, что всякая революция есть вода на их мельницу. Государственные формы, обнаруживающие все явственнее свою упадочную бюрократическую структуру, они справедливо называют средостением; в этом названии есть, однако, печальное для цивилизации недоразумение; эти самые формы, старательно расшатываемые цивилизацией, с одной стороны, и революциями – с другой, являются единственной защитой цивилизации от революций; находящиеся по одну сторону стены, убаюканные оптимизмом цивилизации люди не предполагают, что едва в стене образуется достаточно широкая брешь, на них самих хлынет стихийный поток, который станет угрозой собственному их существованию.



Оптимизм вообще – несложное и небогатое мирозерцание, обыкновенно исключаящее возможность взглянуть на мир как на целое. Его обыкновенное оправдание перед людьми и перед самим собою в том, что он противоположен пессимизму; но он никогда не совпадает также и с *трагическим* мирозерцанием, которое одно способно дать ключ к пониманию сложности мира.

У бывших гуманистов, превратившихся в одиноких оптимистов, от времени до времени возникает тоскливое стремление к цельности. Один из выразителей такого стремления – явление по существу уродливое, но завоевавшее себе огромное, неподобающее место. Это – популяризация знаний, глубокий компромисс, дилетантизм, губительный как для самой науки, так и для воспринимающих ее в столь безвкусном растворе. Популяризации, разделению наук на высшие и низшие мы обязаны тем полумраком, полусветом, который хуже полного мрака и который царствует до сих пор в головах людей средних условий, в головах европейских буржуа.

Популяризация, завоевывающая себе гро-

мадное поприще, как завоевывало его себе вообще все второсортное в прошлом столетии, совершенно заглушает другие лозунги. Между тем из рядов художников, которых пока никто не слышит, раздаются одинокие музыкальные призывы; призывы к цельному знанию, к синтезу, к *gaia scienza*[33]. Эти призывы пока совершенно никому непонятны; даже имена носителей их вычеркиваются из списка порядочных и цивилизованных людей. Составлением проскрипционных списков занята армия гуманных критиков-аналитиков, которая далеко превышает своей численностью и даже обученностью небольшую всегда группу людей, стремящихся к синтетическому миропониманию.

То же явление раздробленности, при тщетных попытках вернуть утраченную цельность, мы наблюдаем во всех областях.

В политике – бесконечное мелькание государственных форм, судорожное перекраивание границ. Посленаполеоновская эпоха полна исканиями единства; результаты тех же исканий – единая Германия, единая Италия. Ответом на искания национальных, государ-

ственных и прочих единств служат революции; их пытаются ввести и частично вводят в русла, определяя и их как движения национальные или движения освободительные; при этом забывается или замалчивается то главное, что несет в себе и с собою всякая революция: волевой, музыкальный, синтетический ее порыв всегда оказывается неопределимым, не вводимым ни в какие русла.

В искусстве – такое же дробление на направления и на школы, на направления в направлениях. Все искусства разлучаются между собою; хоровод Муз становится немислимым, ибо скульптор уже не понимает живописца, живописец – музыканта, и все трое – писателя, который трактуется как поставщик чего-то грузного, питательного, умственного и гуманного – в отличие от легкомысленных художников. Наконец, каждый отдельно и все вместе перестают понимать ремесленника, вследствие чего во всех отраслях искусства распространяется некое белоручничество, совершенно непонятное и недопустимое у подлинных гуманистов старого времени и знакомое разве только эпохе александризма.

В ответ раздаются синтетические призывы Вагнера; много других призывов, которых следует искать не столько в трактатах об этом вопросе (каков, например, трактат Вагнера «Опера и драма»), сколько в музыкальных звуках, наводняющих отдельные творения эпохи. В звуки эти цивилизация не вслушивается; или – она старается перетолковать эти звуки; их смысл, для нее роковой, остается для нее невнятным; все трагическое оптимистам недоступно.

То же обилие разрозненных методов и взаимно исключаящих друг друга приемов мы найдем в юриспруденции, в педагогике, в этике, в философии, в технике. Пытаясь обогатить мир, цивилизация его загромождает. Ее строительство нередко сравнивается со строительством Вавилонской башни. Творческий труд сменяется безрадостной работой, открытия уступают первое место изобретениям. Все множественно, все не спаяно; не стало цемента, потребного для спайки; дух музыки отлетел, и «чувство недовольства собою и окружающим», по признанию историка, «доводит до изнеможения. Мы имеем право сказать о себе

словами Паскаля, что человек бежит от самого себя. Таков недуг нашей эпохи, и симптомы его так же очевидны для человека мыслящего, как физическое ощущение приближения грозы».

## 6

Стихийный и грозовой характер столетия спочувствовали европейские художники – те носители музыки, которые жестоко преследовались в свое время и лишь в наше время признаны гениальными; признаны, однако, всегда – с должными оговорками. Их можно назвать живыми катакомбами культуры, так как на протяжении всей истории XIX века мы можем наблюдать ряд гонений, воздвигаемых цивилизацией против носителей духа культуры, и ряд попыток приспособления цивилизации к этому духу, ей враждебному. Нет уже возможности говорить о единстве цивилизации и культуры; можно говорить о непрерывной борьбе цивилизации с музыкой и об ее неудачных попытках воспользоваться матерьялом, с которым она не умеет обращаться, для создания собственного единства. Однако карточные домики цивилиза-

ции разлетаются при первом дыхании жизни; а гонимые ею музыкальные ритмы растут и крепнут, так как в этих ритмах, а не в рационалистических обобщениях, отражена действительная жизнь века.

Европейская цивилизация применяла тончайшие методы в борьбе с музыкой. Едва ли кто может отрицать, что европейское общественное мнение и европейская критика жестоко мстили своим художникам за «измену» началам гуманной цивилизации. Эту злобную мстительность испытывал на себе Гейне в течение всей своей жизни. Вагнеру не могли простить его гениальных творений до тех пор, пока не нашли способа истолковать их по-своему. Стриндберг сам описывает гонения, которым он подвергался; его пытали тончайшей из пыток – преследованиями в оккультной форме. Жизнь всех без исключения великих художников века была невыносимо тяжела, потому что они или были беззащитны и тогда – гонимы, или должны были тратить творческие силы на развитие противоядий, на сопротивление окружающей их плотной среде цивилизации, которая имела

своих агентов и шпионов, следивших за нами.

Картина, которую я описываю, необыкновенно уродлива и ужасна; свежий человек, попавший в среду XIX века, мог бы сойти с ума; что, казалось бы, можно придумать невероятнее и жесточе? Зачем представителям цивилизации нужно так последовательно преследовать представителей культуры? – Однако картина такова. Я утверждаю, что она правдива, потому что чувствую в великом искусстве XIX века действительную опасность для цивилизации. Эти уютные романы Диккенса – очень страшный и взрывчатый материал; мне случалось ощущать при чтении Диккенса ужас, равного которому не внушает сам Э. По. Во флюберовском «Сентиментальном воспитании» заключено столь древнее воспоминание, перед которым гуманные основы общежития начинают казаться пустой побрякушкой. Вагнер всегда возмущает ключи; он был вызывателем и заклинателем древнего хаоса. Ибсен уводит на опасные и острые скалы. В XIX веке оказалось вообще, что искусство способно сделать «как-то суч-

ным разумный возраст человека» и «похитить непохищаемое у жизни», как выражался Гоголь; когда такое слово произнесено, – становится очевидным, что такое искусство, чему оно сродни, на что оно способно; оно – голос стихий и стихийная сила; в этом – его единственное назначение, его смысл и цель, все остальное – надстройка над ним, дело беспокойных рук цивилизации. Самые произведения художников в свете такого сознания отходят на второй план, ибо все они до сих пор – несовершенные создания, обрывки замыслов, гораздо более великих, резервуары звуков, успевшие вобрать в себя лишь малую часть того, что носилось в бреду творческого сознания. Сама Милосская Венера есть некий звуковой чертеж, найденный в мраморе, и она обладает бытием независимо от того, разобьют ее статую или не разобьют.

Все то в искусстве, над чем дрожала цивилизация, – все Реймские соборы, все Мессины, все старые усадьбы – от всего этого, может быть, не останется ничего. Останется несомненно только то, что усердно гнала и преследовала цивилизация, – дух музыки.



В Западной Европе, где хранилась память о культуре, о великом музыкальном прошлом гуманизма, конечно, чувствовалось все это. Поэтому цивилизация, воздвигая свои гонения, все время силилась, однако, вступить во взаимодействие с новой силой, на стороне которой дышал дух музыки. Там не только бешено зажимали уши, чтобы не слушать непонятных и угрожающих звуков; там звукам отводили русла, там их тонко, с педагогическими целями, перетолковывали по-своему, пускали их течение на свои колеса; там, наконец, искали в них приятных для гуманного слуха мелодий, решительно ополчаясь на них лишь тогда, когда не было никаких средств отыскать такие мелодии, когда музыкой начинали озаряться мрачные области, от которых бежала цивилизация. Иногда случалось наоборот: в недрах самой цивилизации начинала звучать музыка. У истории есть свои прихоти и свои капризы. Музыка действительно вертела кое-какие колеса, услаждала иногда, нередко соглашалась не выходить из русла: это – малая музыка века; но была и большая; она сообщила веку то скрытое вели-

чие, которое он наружно утратил; она же поломала немало колес и порвала много барабанных перепонок у критики.

Все эти тончайшие взаимодействия, сплетения, заигрыванья цивилизации с культурой станут предметом исследований; часто очень нелегко различить в одном направлении, в одной личности даже, где кончается цивилизация и где начинается культура. Однако главная задача будущего историка культуры XIX столетия – проследить эти сплетения во всех тонкостях, найдя для них сжатую формулу, которая была бы для будущего человечества остерегающим маяком, а не новой многотомной диссертацией.

Конечно, не так было в бедной молодой России, где никакой исторической памяти не хранилось; потому здесь будут наблюдать гораздо более грубые и простые, а потому – и более искренние проявления разделения. Здесь поднимали неприличный для европейца вопрос о том, что выше – сапоги или Шекспир; здесь же не раз возникали давно забытые Европой споры о пользе искусства – споры, которые я назвал бы истинно культурными,

они – в их первобытной наивности и цельности – слишком противны духу цивилизации. Вообще у нас были темы, перед которыми растерялась бы всякая цивилизация, если бы не отвела им заранее русла, по которому они пока могли до времени течь без помехи (такие русла называются всего чаще «художественной литературой»).

Рассматривая культурную историю XIX века как историю борьбы духа гуманной цивилизации с духом музыки, мы должны были бы переоценить многое и извлечь из громадного наследия то, что действительно нужно нам сейчас, как хлеб; нам действительно нужно то, что относится к культуре; и нам не особенно нужно то, что относится к цивилизации. Вопрос о выборе – вопрос насущный; особенно роскошествовать сейчас не приходится. В наше катастрофическое время всякое культурное начинание приходится мыслить как катакомбу, в которой первые христиане спасали свое духовное наследие. Разница в том, что под землю ничего уже не спрячешь; путь спасения духовных наследий – иной; их надо не прятать, а являть миру, и являть так,

чтобы мир признал их неприкосновенность, чтобы сама жизнь защитила их. Я думаю, что жизнь не защитит, а жестоко уничтожит все то, что не спаяно, не озарено духом истинной культуры. Вряд ли много продуктов цивилизации сохранится, вряд ли надолго их спасет случай.

## 7

Всякое движение рождается из духа музыки, оно действует, проникнутое им, но, по истечении известного периода времени, это движение вырождается, оно лишается той музыкальной влаги, из которой родилось, и тем самым обрекается на гибель. Оно перестает быть культурой и превращается в цивилизацию. Так случилось с античным миром, так произошло и с нами.

Хранителем духа музыки оказывается та же стихия, в которую возвращается музыка (*revertitur in terram suam unde erat*[34]), тот же народ, те же варварские массы. Поэтому не парадоксально будет сказать, что варварские массы оказываются хранителями культуры, не владея ничем, кроме духа музыки, в те эпохи, когда обескрылевшая и отзвучавшая ци-

цивилизация становится врагом культуры, несмотря на то, что в ее распоряжении находятся все факторы прогресса – наука, техника, право и т. д. Цивилизация умирает, зарождается новое движение, растущее из той же музыкальной стихии, и это движение отличается уже новыми чертами, оно не похоже на предыдущее.

Культура будущего копила не в разрозненных усилиях цивилизации поправить непоправимое, вылечить мертвого, воссоединить гуманизм, а в синтетических усилиях революций, в этих упругих ритмах, в музыкальных потягиваниях, волевых напорах, приливах и отливах, лучший выразитель которых есть Вагнер. Вся усложненность ритмов стихотворных и музыкальных (особенно к концу века), к которым эпигоны гуманизма были так упорно глухи и враждебны, есть не что иное, как музыкальная подготовка нового культурного движения, отражение тех стихийных природных ритмов, из которых сложилась увертюра открывающейся перед нами эпохи.

Музыка проструилась своими, ей ведомы-

ми путями; она, как бы осенив радугою брызг последних гуманистов (Шиллер), образовала пары и тучи, которые пролились дождями и осели туманами на человечество XIX столетия (этих дождей и туманов много в голосах лучших европейских лириков того времени); дожди и туманы, в которых заблудились одни и стали перекликаться другие, напоили собою землю; там, под землей, родились музыкальные шумы и гулы, которые зазвучали в голосах стихий, в голосах варварских масс и в голосах великих художников века; так ширился тот новый поток, который в течение столетия струился под землей, ломая кору цивилизации то там, то здесь, и который в наши дни вырвался из-под нее с неудержимой силой, упоенный духом музыки.

Музыка эта – дикий хор, нестройный вопль для цивилизованного слуха. Она почти невыносима для многих из нас, и сейчас далеко не покажется смешным, если я скажу, что она для многих из нас и смертельна. Она – разрушительна для тех завоеваний цивилизации, которые казались незыблемыми; она противоположна привычным для нас мело-

диям об «истине, добре и красоте»; она прямо враждебна тому, что внедрено в нас воспитанием и образованием гуманной Европы прошлого столетия.

Между тем мы уже не можем отрицать того факта, что некоторое новое и враждебное цивилизованному миру движение распространяется; что цивилизация уже является не материком, а группой островов, которые могут быть скоро залиты сокрушительным потоком; что драгоценнейшие, с точки зрения гуманитарной, этические, эстетические, правовые продукты цивилизации, вроде личной собственности, Реймского собора, международного права, – или смыты потоком, или находятся в положении угрожаемом. Если мы действительно цивилизованные гуманисты, мы с этим никогда не помиримся; но если мы не помиримся, если останемся с тем, что гуманная цивилизация провозгласила незабываемыми ценностями, – не окажемся ли мы скоро отрезанными от мира и от культуры, которую несет на своем хребте разрушительный поток?

Главный факт, которого нельзя отрицать:

движение, которое происходит в настоящее время во всем мире, невозможно измерить никакими гуманными мерами, истолковать никакими цивилизованными способами. Цивилизация во все последние годы делала отчаянные попытки приспособиться к движению; самый внушительный пример – приспособление к пошлейшей и грандиознейшей из войн, каких мир до сих пор не видел. Своим резко антимзыкальным согласием на эту войну цивилизация подписала смертный приговор себе самой.

В наши дни цивилизация все еще старается приспособиться к движению. Весьма сомнительные и частичные успехи этих попыток могут быть объясняемы только временной убылью музыки в Европе; но слишком ясно уже, что не стоит больше убаюкивать себя календарным временем; ясно и то, что реставрация гуманизма повлекла бы за собой кровопролитие более ужасное, чем когда бы то ни было. Если не откроет ворот новому движению Европа, то за нее откроет эти ворота кто-нибудь другой; ибо музыка в мире не убывает.



Во всяком случае, исход борьбы, которая длилась полтора столетия, внутренне решен: побежденной оказалась гуманная цивилизация, победителем – дух музыки.

Во всем мире звучит колокол антигуманизма; мир омывается, сбрасывая старые одежды; человек становится музыкальнее.

Человек – животное; человек – растение, цветок; в нем сквозят черты чрезвычайной жестокости, как будто не человеческой, а животной, и черты первобытной нежности – тоже как будто не человеческой, а растительной. Все это – временные личины, маски, мелькание бесконечных личин. Это мелькание знаменует собою изменение породы; весь человек пришел в движение, он проснулся от векового сна цивилизации; душа и тело захвачены вихревым движением; в вихре революций духовных, политических, социальных, имеющих космические соответствия, производится новый отбор, формируется новый человек: человек – животное гуманное, животное общественное, животное нравственное перестраивается в *артиста*, говоря языком Вагнера.

Я пытался различить в прошлом минуту кризиса гуманизма; я различал свидетелей и участников этого кризиса – художников XIX века, верных духу музыки; теперь, мне кажется, настало время связывать и оценивать их по этому признаку; по признаку чуткости, артистичности, по той степени совершенства, с которой жизнь мира отражалась в их ритмах. Я думаю, что все остальные признаки, включая национальные, или второстепенны, или вовсе несущественны.

Я различаю еще в той борьбе, которой наполнен XIX век, как будто преобладание работы рас германской и отчасти славянской – и, наоборот, – молчание рас романской и англосаксонской. Это естественно, так как у англичан и французов музыкальная память слабее, и потому в великой битве против гуманизма, против безмузыкальной цивилизации они более сэкономили свою кровь, чем германцы.

У нас нет исторических воспоминаний, но велика память стихийная; нашим пространствам еще суждено сыграть великую роль. Мы слушали пока не Петрарку и не Гуттена, а ветер, носившийся по нашей равнине; музы-

кальные звуки нашей жестокой природы всегда звенели в ушах у Гоголя, у Толстого, у Достоевского.

Я утверждаю, наконец, что исход борьбы решен и что движение гуманной цивилизации сменилось новым движением, которое также родилось из духа музыки; теперь оно представляет из себя бурный поток, в котором несутся щепы цивилизации; однако в этом движении уже намечается новая роль личности, новая человеческая порода; цель движения – уже не этический, не политический, не гуманный человек, а *человек-артист*, он, и только он, будет способен *жадно жить и действовать* в открывшейся эпохе вихрей и бурь, в которую неудержимо устремилось человечество.

*7 апреля 1919*

## О назначении поэта

Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собою многие дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними – это легкое имя: Пушкин.

Пушкин так легко и весело умел нести свое творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта – не легкая и не веселая; она трагическая; Пушкин вел свою роль широким, уверенным и вольным движением, как большой мастер; и, однако, у нас часто сжимается сердце при мысли о Пушкине: праздничное и триумфальное шествие поэта, который не мог мешать внешнему, ибо дело его – внутреннее – культура, – это шествие слишком часто нарушалось мрачным вмешательством людей, для которых печной горшок дороже бога [35].

Мы знаем Пушкина – человека, Пушкина – друга монархии, Пушкина – друга декабристов. Все это бледнеет перед одним: Пушкин –

поэт.

Поэт – величина неизменная. Могут устареть его язык, его приемы; но сущность его дела не устареет.

Люди могут отворачиваться от поэта и от его дела. Сегодня они ставят ему памятники; завтра хотят «сбросить его с корабля современности»[36]. То и другое определяет только этих людей, но не поэта; сущность поэзии, как всякого искусства, неизменна; то или иное отношение людей к поэзии в конце концов безразлично.

Сегодня мы чтим память величайшего русского поэта. Мне кажется уместным сказать по этому поводу о *назначении поэта* и подкрепить свои слова мыслями Пушкина. Что такое поэт? Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Он называется поэтом не потому, что он пишет стихами; но он пишет стихами, то есть приводит в гармонию слова и звуки, потому что он – сын гармонии, поэт.

Что такое гармония? Гармония есть согласие мировых сил, порядок мировой жизни. Порядок – космос, в противоположность беспорядку – хаосу. Из хаоса рождается космос,

мир, учили древние. Космос – родной хаосу, как упругие волны моря – родные грудам океанских валов. Сын может быть непохож на отца ни в чем, кроме одной тайной черты; но она-то и делает похожими отца и сына.

Хаос есть первобытное, стихийное безначалие; космос – устроенная гармония, культура; из хаоса рождается космос; стихия таит в себе семена культуры; из безначалия создается гармония.

Мировая жизнь состоит в непрестанном созидании новых видов, новых пород. Их баюкает безначальный хаос; их взращивает, между ними производит отбор культура; гармония дает им образы и формы, которые вновь расплываются в безначальный туман. Смысл этого нам непонятен; сущность темна; мы утешаемся мыслью, что новая порода лучше старой; но ветер гасит эту маленькую свечку, которой мы стараемся осветить мировую ночь. Порядок мира тревожен, он – родное дитя беспорядка и может не совпадать с нашими мыслями о том, что хорошо и что плохо.

Мы знаем одно: что порода, идущая на сме-

ну другой, нова; та, которую она сменяет, стара; мы наблюдаем в мире вечные перемены; мы сами принимаем участие в сменах пород; участие наше, большей частью, бездеятельно: вырождаемся, стареем, умираем; изредка оно деятельно: мы занимаем какое-то место в мировой культуре и сами способствуем образованию новых пород.

Поэт – сын гармонии; и ему дана какая-то роль в мировой культуре. Три дела возложены на него: во-первых, освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают; во-вторых, – привести эти звуки в гармонию, дать им форму; в-третьих, – внести эту гармонию во внешний мир.

Похищенные у стихии и приведенные в гармонию звуки, внесенные в мир, сами начинают творить свое дело. «Слова поэта суть уже его дела»[37]. Они проявляют неожиданное могущество: они испытывают человеческие сердца и производят какой-то отбор в грудях человеческого шлама; может быть, они собирают какие-то части старой породы, носящей название «человек»; части, годные для создания новых пород; ибо старая, по-видимо-

му, быстро идет на убыль, вырождается и умирает.

Нельзя сопротивляться могуществу гармонии, внесенной в мир поэтом; борьба с нею превышает и личные и соединенные человеческие силы. «Когда бы все так чувствовали силу гармонии!» – томится одинокий Сальери. Но ее чувствуют все, только смертные – иначе, чем бог – Моцарт. От знака, которым поэзия отмечает на лету, от имени, которое она дает, когда это нужно, – никто не может уклониться, так же, как от смерти. Это имя дается безошибочно.

Так, например, никогда не заслужат от поэта дурного имени те, кто представляет из себя простой осколок стихии, те, кому нельзя и не дано понимать. Не называются чернью люди, похожие на землю, которую они пахнут, на клочок тумана, из которого они вышли, на зверя, за которым охотятся. Напротив, те, которые не желают понять, хотя им должно многое понять, ибо и они служат культуре, – те клеймятся позорной кличкой: *чернь*; от этой клички не спасает и смерть; кличка остается и после смерти, как осталась она за



графом Бенкендорфом, за Тимковским, за Булгариним – за всеми, кто мешал поэту выполнять его миссию.

На бездонных глубинах духа, где человек перестает быть человеком, на глубинах, недоступных для государства и общества, созданных цивилизацией, – катятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объемлющим вселенную; там идут ритмические колебания, подобные процессам, образующим горы, ветры, морские течения, растительный и животный мир.

Эта глубина духа заслонена явлениями внешнего мира. Пушкин говорит, что она заслонена от поэта, может быть, более, чем от других людей: «среди детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он»[38].

Первое дело, которое требует от поэта его служение, – бросить «заботы суетного света» для того, чтобы поднять внешние покровы, чтобы открыть глубину. Это требование выводит поэта из ряда «детей ничтожных мира»:

*Бежит он, дикий и суровый,  
И звуков и смятенья полн,*

*На берега пустынных волн,  
В широкошумные дубровы.*

Дикий, суровый, полный смятенья потому, что вскрытие духовной глубины так же трудно, как акт рождения. К морю и в лес потому, что только там можно в одиночестве собрать все силы и приобщиться к «родимому хаосу»[39], к безначальной стихии, катящей звуковые волны.

Таинственное дело совершилось: покров снят, глубина открыта, звук принят в душу. Второе требование Аполлона заключается в том, чтобы поднятый из глубины и чужеродный внешнему миру звук был заключен в прочную и осязательную форму слова; звуки и слова должны образовать единую гармонию. Это – область мастерства. Мастерство требует вдохновения так же, как приобщение к «родимому хаосу»; «вдохновение, – сказал Пушкин, – есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных» [40]; поэтому никаких точных границ между первым и вторым делом поэта провести нельзя; одно совершенно связано с другим: чем

больше поднято покровов, чем напряженнее приобщение к хаосу, чем труднее рождение звука, – тем более ясную форму стремится он принять, тем он протяжней и гармоничней, тем неотступнее преследует он человеческий слух.

Наступает очередь для третьего дела поэта: принятые в душу и приведенные в гармонию звуки надлежит внести в мир. Здесь происходит знаменитое столкновение поэта с чернью.

Вряд ли когда бы то ни было чернью называлось простонародье. Разве только те, кто сам был достоин этой клички, применяли ее к простому народу. Пушкин собирал народные песни, писал простонародным складом; близким существом для него была деревенская няня. Поэтому нужно быть тупым или злым человеком, чтобы думать, что под чернью Пушкин мог разуместь простой народ. Пушкинский словарь выяснит это дело – если русская культура возродится.

Пушкин разумел под именем черни приблизительно то же, что и мы. Он часто присоединял к этому существительному эпитет

«светский», давая собирательное имя той родовой придворной знати, у которой не осталось за душой ничего, кроме дворянских званий; но уже на глазах Пушкина место родовой знати быстро занимала бюрократия. Это чиновники и суть – наша чернь; чернь вчерашнего и сегодняшнего дня: не знать и не простонародье; не звери, не комья земли, не обрывки тумана, не осколки планет, не демоны и не ангелы. Без прибавления частицы «не» о них можно сказать только одно: они люди; это – не особенно лестно; люди – дельцы и пошляки, духовная глубина которых безнадежно и прочно заслонена «заботами суетного света»[41].

Чернь требует от поэта служения тому же, чему служит она: служения внешнему миру; она требует от него «пользы», как просто говорит Пушкин; требует, чтобы поэт «сметал сор с улиц», «просвещал сердца собратьев» [42], и пр.

Со своей точки зрения, чернь в своих требованиях права. Во-первых, она никогда не сумеет воспользоваться плодами того несколько большего, чем сметание сора с

улиц, дела, которое требуется от поэта. Во-вторых, она инстинктивно чувствует, что это дело, так или иначе, быстро или медленно, ведет к ее ущербу. Испытание сердец гармонией не есть занятие спокойное и обеспечивающее ровное и желательное для черни течение событий внешнего мира.

Сословие черни, как, впрочем, и другие человеческие сословия, прогрессирует весьма медленно. Так, например, несмотря на то, что в течение последних столетий человеческие мозги разбухли в ущерб всем остальным функциям организма, люди догадались выделить из государства один только орган – цензуру, для охраны порядка своего мира, выражающегося в государственных формах. Этим способом они поставили преграду лишь на третьем пути поэта: на пути внесения гармонии в мир; казалось бы, они могли догадаться поставить преграды и на первом, и на втором пути: они могли бы изыскать средства для замутнения самих источников гармонии; что их удерживает – недогадливость, робость или совесть, – неизвестно. А может быть, такие средства уже изыскиваются?

Однако дело поэта, как мы видели, совершенно несоизмеримо с порядком внешнего мира. Задачи поэта, как принято у нас говорить, общекультурные; его дело – историческое. Поэтому поэт имеет право повторить вслед за Пушкиным:

*И мало горя мне, свободно ли печать  
Морочит олухов, иль чуткая цензура  
В журнальных замыслах стесняет балагура[43].*

Говоря так, Пушкин закреплял за чернью право устанавливать цензуру, ибо полагал, что число олухов не убавится.

Дело поэта вовсе не в том, чтобы достучаться непременно до всех олухов; скорее, добытая им гармония производит отбор между ними, с целью добыть нечто более интересное, чем среднечеловеческое, из груды человеческого шлама. Этой цели, конечно, рано или поздно, достигнет истинная гармония; никакая цензура в мире не может помешать этому основному делу поэзии.

Не будем сегодня, в день, отданный памя-

ти Пушкина, спорить о том, верно или неверно отделял Пушкин свободу, которую мы называем личной, от свободы, которую мы называем политической. Мы знаем, что он требовал «иной», «тайной» свободы. По-нашему, она «личная»; но для поэта это не только личная свобода:

*...Никому  
Отчета не давать; себе лишь самому  
Служить и угождать; для власти,  
для ливреи  
Не гнуть ни совести, ни помыслов,  
ни шеи;  
По прихоти своей скитаться  
здесь и там,  
Дивясь божественным природы  
красотам,  
И пред созданьями искусств и  
вдохновенья —  
Безмолвно утопать в восторгах  
умиленья —  
Вот счастье! вот права!..*

Это сказано перед смертью. В юности Пушкин говорил о том же:

*Любовь и тайная свобода*

Эта *тайная свобода*, эта *прихоть* – слово, которое потом всех громче говорил Фет («Безумной прихоти певца!»[45]), вовсе не личная только свобода, а гораздо большая: она тесно связана с первыми двумя делами, которых требует от поэта Аполлон. Все перечисленное в стихах Пушкина есть необходимое условие для освобождения гармонии. Позволяя мешать себе в деле испытания гармонией людей, в третьем деле, Пушкин не мог позволить мешать себе в первых двух делах; и эти дела – не личные.

Между тем жизнь Пушкина, склоняясь к закату, все больше наполнялась преградами, которые ставились на его путях. Слабел Пушкин – слабела с ним вместе и культура его поры: единственной культурной эпохи в России прошлого века. Приближались роковые сороковые годы. Над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского. Этот лепет казался нам совершенно противоположным, совершенно враждебным вежливому голосу графа Бенкендорфа. Он кажется



нам таковым и до сих пор. Было бы слишком больно всем нам, если бы оказалось, что это – не так. И, если это даже не совсем так, будем все-таки думать, что это совсем не так. Пока еще ведь

*Тьмы низких истин нам дороже  
Нас возвышающий обман[46].*

Во второй половине века то, что слышалось в младенческом лепете Белинского, Писарев орал уже во всю глотку.

От дальнейших сопоставлений я воздержусь, ибо довести картину до ясности пока невозможно; может быть, за патиною времени, откроется совсем не то, что мелькает в моих разлетающихся мыслях, и не то, что прочно хранится в мыслях, противоположных моим; надо пережить еще какие-то события; приговор по этому делу – в руках будущего историка России.

Пушкин умер. Но «для мальчиков не умирают Позы»[47] сказал Шиллер. И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура.

*Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит.*

Это – предсмертные вздохи Пушкина, и также – вздохи культуры пушкинской поры.

*На свете счастья нет, а есть покой и воля[48].*

*Покой и воля.* Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл.

Любезные чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонией сердца, навсегда сохранили за собой кличку черни. Но они мешали поэту лишь в третьем его деле. Испытание сердец поэзией Пушкина во всем ее объеме уже произведено без них.

Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначе-

ние.

Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неизвестны и не могут быть известны. Оно единосущно и нераздельно. Я хотел бы ради забавы провозгласить три простых истины:

Никаких особенных искусств не имеется; не следует давать имя искусства тому, что называется не так; для того чтобы создавать произведения искусства, надо уметь это делать.

В этих веселых истинах здравого смысла, перед которым мы так грешны, можно поклясться веселым именем Пушкина.

*11 февраля 1921*

## Ни сны, ни явь

**М**ы сидели на закате всем семейством под липами и пили чай. За сиренями из оврага уже поднимался туман.

Стало слышно, как точат косы. Соседние мужики вышли косить купеческий луг. Не орут, не ругаются, как всегда. Косы зашаркали по траве, слышно – штук двадцать.

Вдруг один из них завел песню. Без усилия полился и сразу наполнил и овраг, и рощу, и сад сильный серебряный тенор. За сиренью, за туманом ничего не разглядеть, по голосу узнаю, что поет Григорий Хрипунов; но я никогда не думал, что у маленького фабричного, гнилого Григория такой сильный голос.

Мужики подхватили песню. А мы все страшно смутились.

Я не знаю, не разбираю слов; а песня все растет. Соседние мужики никогда еще так не пели. Мне неловко сидеть, щекочет в горле, хочется плакать. Я вскочил и убежал в далекий угол сада.

После этого все и пошло прахом. Мужики, которые пели, принесли из Москвы сифилис и разнесли по всем деревням. Купец, чей луг косили, вовсе спился и с пьяных глаз сам поджег сенные сараи в своей усадьбе. Дьякон нарожал незаконных детей. У Федота в избе потолок совсем провалился, а Федот его не чинит. У нас старые стали умирать, а молодые стариться. Дядюшка мой стал говорить глупости, каких никогда еще не говорил. Я тоже на следующее утро пошел рубить старую сирень.

Сирень была столетняя, дворянская: кисти цветов негустые и голубоватые, а ствол такой, что топор еле берет. Я ее всю вырубил, а за ней – березовая роща. Я срубил и рощу, а за рощей – овраг. Из оврага мне уж ничего и не видно, кроме собственного дома над головой: он теперь стоит открытый всем ветрам и бурям. Если подкопаться под него, он упадет и накроет меня собой.

Все вообще возмутились. Невозмутимым остался один только «политический», который все время тут путался по дорогам на ве-

лосипеде, нелегально. Урядник всегда ездил низом, прямо через болото, а «политический» – верхом, по дороге. Бывало, урядник ушмыгнет в кусты на своих беговых дрожках, как курица, мокрый от водки; а уж с горки соколом катит на велосипеде «политический»; на штанах у него прилипли и в педалях велосипеда застряли репьи. Собаки совершенно осипли, крутят хвостами в облаке пыли.

Итак, все мы кончили довольно плохо: «изменились скоро, во мгновение ока, по последней трубе», как и предупреждал дьякон.

Но ведь «политический», что бы ни произошло, всегда останется «политическим» и «нелегальным». Такая его порода. Впрочем, я ведь всегда считал основой жизни мир, который, однако, вольно и невольно, сам же и нарушал.

Всю жизнь мы прождали счастья, как люди в сумерки долгие часы ждут поезда на открытой, занесенной снегом платформе. Слепли от снега, а все ждут, когда появятся

на повороте три огня.

Вот наконец высокий узкий паровоз; но уже не на радость: все так устали, так холодно, что нельзя согреться даже в теплом вагоне.

Усталая душа присела у порога могилы. Опять весна, опять на крутизнах цветет миндаль. Мимо проходят Магдалина с сосудом, Петр с ключами; Саломея несет голову на блюде; ее лиловое с золотом платье такое широкое и тяжелое, что ей приходится откидывать его ногой.

– Душа моя, где же твое тело?

– Тело мое все еще бродит по земле, стараюсь не потерять душу, но давно уже ее потеряв.

Окончательно разозлившийся чорт придумал самую жестокую муку и посылает бедную душу в Россию. Душа смиренно соглашается на это. Остальные черти рукоплещут старшему за его чудовищную изобретательность.

Душа мытарствует по России в двадцатом столетии...

Весенние лесные проталины. Снег почти сошел; только под старыми елями сереет ледяная корка. Душистый воздух. Среди елей образовалась огромная заводь; в ней отражается утро.

За лесом – необъятная равнина. На равнине – необъятная толпа мужиков. Один подвывает лапоть; другой умывает лицо талым снегом; третий засучивает рукав рубахи; собрались куда-то.

Из большой, наскоро сложенной кузни валит дым. Мужики тащат плуги и бороны в переплав. А за деревней на холмах остановились богатыри: сияние кольчуг, больше ничего не разобрать. Один выехал вперед, конь крепко уперся ногами в землю, всадник протянул руку, показывает далеко – за лес.

Вдруг толпа двинулась по направлению, указанному рукой богатыря. На плечи взмываются вилы; у других – странные старинные мечи. Мужики идут, по колена утопают в озерах тали, и весь лес наполнился шелестом лаптей.

Теперь – тише. Наступает молчание... Я за-



крываю глаза, и передо мной проходят обрывки образов, частью знакомых, частью – нет. Они стесняют грудь, так что становится душно. Перед закрытыми веками проплывают радужные пятна...

Я открываю глаза – все та же лампа, и на кресле, под лампой, она: верхняя половина ее лица в тени; освещен приоткрытый рот; в темноте, сквозь приспущенные веки, меня по-прежнему преследуют эти всегда пьяные глаза.

Однажды, стараясь уйти от своей души, он прогуливался по самым тихим и самым чистым улицам. Однако душа упорно следовала за ним, как ни трудно было ей, потрепанной, поспевать за его молодой походкой.

Вдруг над крышей высокого дома, в серых сумерках зимнего дня, появилось лицо. Она протягивала к нему руки и говорила:

– Я давно тянусь к тебе из чистых и тихих стран неба. Едкий городской дым кутает меня в грязную шубу. Руки мне режут телеграфные провода. Перестань называть меня разными именами – у меня одно имя. Перестань искать

меня там и тут – я здесь.

Никакого ответа на его тоскливые жалобы. Только фонтан роняет струйки; а длинные травы в узком хрустале благоухают.

Всю ночь он пробродил вдоль черной реки, а утром подошел к церкви. По снежной площади наискосок, огибая паперть, протряхала сонная тройка: по бокам висели гроздьями шесть пьяных офицеров и дам. Очевидно, жаловаться было некому и думать не о чем.

Он решил вернуться домой, пока она спит.

– По вечерам я всегда обхожу сад. У заднего забора есть такое место между рябиной и боярышником, где днем особенно греет солнце. Но по вечерам я уже несколько раз видел на этом месте...

– Что?

– Там копается в земле какой-то человек, стоя на коленях, спиной ко мне. Покопавшись, он складывает руки рупором и говорит глухим голосом в открытую яму: «Эй, вы, торопитесь».

– Так что же?

– Дальше я уже не смотрю и не слушаю: так невыносимо страшно, что я бегу без оглядки, зажимая уши.

– Да ведь это – садовник.

– Раз ему даже ответили; многие голоса сказали из ямы: «Всегда поспеет». Тогда он встал, не торопясь, и, не оборачиваясь ко мне, уполз за угол.

– Что же тут необыкновенного? Садовник говорил с рабочими.

Тебе все мерещится.

– Эх, не знаете вы, не знаете.

*19 марта 1921*

## Пушкинскому дому

*Имя Пушкинского Дома  
В Академии Наук!  
Звук понятный и знакомый,  
Не пустой для сердца звук!*

*Это – звоны ледохода  
На торжественной реке,  
Перекличка парохода  
С пароходом вдалеке.*

*Это – древний Сфинкс, глядящий  
Вслед медлительной волне,  
Всадник бронзовый, летящий  
На недвижимом скакуне.*

*Наши страстные печали  
Над таинственной Невой,  
Как мы черный день встречали  
Белой ночью огневой.*

*Что за пламенные дали  
Открывала нам река!  
Но не эти дни мы звали,  
А грядущие века.*

Пропуская дней гнетущих  
Кратковременный обман,  
Прозревали дней грядущих  
Сине-розовый туман.

Пушкин! Тайную свободу  
Пели мы вослед тебе!  
Дай нам руку в непогоду,  
Помоги в немой борьбе!

Не твоих ли звуков сладость  
Вдохновляла в те года?  
Не твоя ли, Пушкин, радость  
Окрыляла нас тогда?

Вот зачем такой знакомый  
И родной для сердца звук —  
Имя Пушкинского Дома  
В Академии Наук.

Вот зачем, в часы заката  
Уходя в ночную тьму,  
С белой площади Сената  
Тихо кланяюсь ему.

11 февраля 1921

# Примечания

«Ну, малыш...» (*франц.*).

[^^^]

Яков Верный (*франц.*).

[^^^]



Красноречие (*франц.*).

[^^^]

Музыке (*франц.*).

[^^^]

# 5

Здесь и далее в написании фамилии сохранена орфография оригинала.

[^^^]

Эта самая подробная автобиография Блока была написана им в октябре 1909 года, а в июне 1915 года отредактирована и значительно дополнена. Печатается по изд.: Блок А. Собр. соч. в 8 т. Т. 7. М.—Л., 1963.

[^^^]

До света (*лат.*).

[^^^]

# 8

Неписанные догматы (*греч.*).

[^^^]

Впервые эта юношеская анкета Блока была опубликована в книге: *Бекетова М. А. Александр Блок и его мать* (Л., 1925). Здесь печатается по изд.: *Блок А. Собр. соч. в 8 т. Т. 7. М. – Л., 1963.*

Своим девизом Блок сделал несколько измененные строки Пушкина из стихотворения «Добрый совет» («Пусть чернь слепая суетится, // Не нам безумной подражать...»).

[^^^]

Многоточие – в рукописи.

[^^^]



Арлекино – Лесного царя (нем.).

[^^^]

# 12

Ни в слове, ни в числе (*греч.*).

[^^^]

Обеда (нем.).

[^^^]

После обеда (нем.).

[^^^]

«Детское» (нем.).

[^^^]

«Вечная слава» (*лат.*).

[^^^]

Будь на страже, Академия, да не потерпит разум в чем-либо ущерба (*лат.*).

[^^^]

Полет, порыв (*франц.*).

[^^^]



Воспоминание (*греч.*).

[^^^]

«Ты видел Джиоконду? Она нашлась! – Десять сантимов!» (*франц.*).

[^^^]

«Джиоконда! Ее улыбка вместе с конвертом – все за десять сантимов!» (*франц.*).

[^^^]

Ботаническом саду (*франц.*).

[^^^]

Чувствительного воспитания (*фр.*).

[^^^]

Концом века (*фр.*).

[^^^]

Улица в Варшаве. (*Примеч. А. Блока*)

[^^^]

Чувствительное воспитание (франц.).  
«Education sentimentale» – заглавие романа Г.  
Флобера.

[^^^]



В полную меру (*лат.*) – лозунг Бранда, героя одноименной драмы Г. Ибсена.

[^^^]

Ужь – в старой орфографии.

[^^^]

Дорогой (*фр.*).

[^^^]

См. далее статью И. Эренбурга с одноименным названием, написанную как ответ Блоку.

[^^^]

«Не тронь моих кругов» (лат.).

[^^^]

Разделяй и властвуй (*лат.*).

[^^^]

Веселой науке (*ит.*).

[^^^]

Возвратился в свою землю, откуда пришел (*лат.*).

[^^^]



См. стихотворение Пушкина «Поэт и толпа».

[^^^]

Неточная цитата из манифеста футуристов  
«Пощечина общественному вкусу».

[^^^]

Слова А. С. Пушкина.

[^^^]

Эта цитата и нижеследующее четверостишие из стихотворения Пушкина «Поэт».

[^^^]

Вольная передача слов из стихотворения Ф. И. Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной...».

[^^^]

Излагаются идеи заметки Пушкина «О вдохновении и восторге».

[^^^]

Из стихотворения Пушкина «Поэт».

[^^^]

Из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа».

[^^^]



Эта и следующая стихотворная цитата Пушкина. <Из Пиндемонти>.

[^^^]

Из стихотворения Пушкина «К Н. Я. Плюско-  
вой».

[^^^]

Из стихотворения А. А. Фета «Псевдопоэту».

[^^^]

Из стихотворения Пушкина «Герой».

[^^^]

Слова короля Филиппа из трагедии Ф. Шиллера «Дон Карлос».

[^^^]

Из стихотворения Пушкина «Пора, мой друг, пора!...».

[^^^]